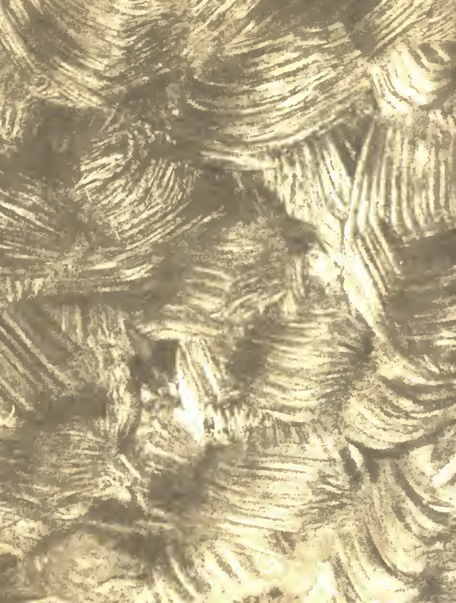
Горизонты свободы

ПР

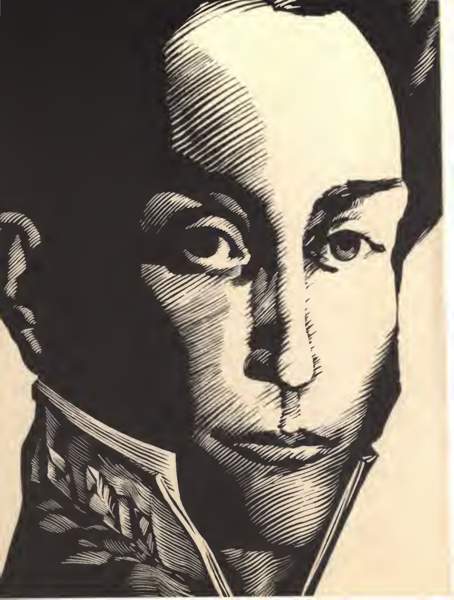
ВЛАДИМИР ГУСЕВ







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1972



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

Владимир Гусев

ГОРИЗОНТЫ СВОБОДЫ

ПОВЕСТЬ
О СИМОНЕ БОЛИВАРЕ

Р2
Г96

Владимир Гусев — прозаик, критик, кандидат филологических наук. Он автор литературоведческой книги «В середине века», прозаической — «Утро и день», повестей «Душа-Наташа», «Жизнь. Двенадцать месяцев», множества рассказов, около двухсот статей, рецензий, очерков.

Для Гусева-писателя характерен интерес к духовным проблемам в социальном их выражении, к вопросам ответственности человека перед собой и перед обществом, взаимоотношений человека и природы.

Новая его книга посвящена Боливару — руководителю и герою борьбы за независимость латиноамериканских народов в начале XIX века.

Повесть пронизана пафосом революционного подвига, в ней находят отражение проблемы отношения революционера к народным массам, революционного действия к нравственному началу жизни.

$\frac{1-6-3}{338-72}$

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Он знал, что завтрашний путь его будет нерадостным, и все эти дни вызывал из глубины сердца свое мужество.

Он сидел в тростниковом кресле, опершись локтем о голую доску, и без мысли глядел напротив. Нехитрая утварь трудового мулатского жилища мозолила взгляд, не проникая в сознание. Было лишь чувство белого, точек и линий на этом белом. Бесшумно гудело и ныло в душе, в груди. Болезнь, которая смутно клубилась в легких, давала о себе знать? Нет, это было другое... Вдруг, как бывает, он пробудился взором и ясно увидел все то, на что он смотрел. Это была беленая глиняная стена, и на ней, на ржавых костыльках, висели скрученное лассо, черный кушак и уздечка с латунной выкладкой. Он посмотрел, вздохнул, опуская голову. Вставать не хотелось.

Он сам не знал, что творится с ним эти последние месяцы, дни, недели. Вернее, он сердцем знал, но не ведал, как оно называется, и если и побеждал это, то все же будто волок за собою на шпорах.

Но нечего делать — вновь требуется усилие.

Он встал, отодвинул пяткой легкое кресло — оно поползло неловко по земляному полу — и крепко

повел плечами. И, как всегда, физическое движение, действие неуловимо взбодрило дух.

Он нарочито стукнул шпорой о шпору — с ботфортов эфемерно порхнула бурая пыль,— придержал тяжелый походный палаш и поддернул вперед свой душный черный мундир, запыленный по швам и складкам. Он оглядел эту пустынную комнату с плотным земляным полом, белыми стенами, утварью на гвоздях — и вышел на улицу.

Двое гренадеров у дверей стукнули каблуками; он поглядел на них исподлобья, угрюмо — черные и кустистые брови совсем уж соединились в одно — и, заложив руки за спину, медленно пересчитал каблуками четыре каменные ступеньки. Шпоры нестройно пели.

Он отошел от дома и начал смотреть прямо перед собой.

Было, как обычно, не слишком легко дышать — высокое, высокое место! — но воздух был все-таки свеж и великолепен, и в темно-вишневом цвете вдали рисовались прекраснейшие, чужие, но и родные горы. Там, вдалеке, гремит Текендама. Но ближе и в стороне — вот он, сначала Фонтибон, а дальше сам тихий и смутно белеющий город.

Это Богота — столица великой его Колумбии, его детища. Позади тридцать лет поражений, побед; впереди — встреча. Он возвращается из нового похода.

Что же так странно на сердце?

Зачем вся прошлая жизнь маячит перед глазами?

Какое прекрасное, желто-зеленое, ровное поле, какие круглые, темные, четкие горы там, на краю! Нет. Хватит мыслей, хватит, довольно.

Он вдруг резко, слегка даже присев, повернулся к крыльцу — руки за спиной, но лицо живое, и тон-

кое, и дрожащее, с выпуклым черным взором,— и крикнул:

— Того, каракового. Сюда!

И все же в лице его было и то, что минуту назад. Оно не ушло...

Гренадер, давно уж привыкший ко всем таким выходкам дорогого Освободителя, крепким шагом и с невозмутимым лицом пошел за угол и вскоре вернулся, ведя в поводу танцующего коня, косящего нервным — лиловым и чистым — глазом на хилую пальму и дуб, торчащие у крыльца, на желто-зеленые дали и на примеривающегося всадника, стоящего руки назад. Сухая и хрящеватая голова на изогнутой гибкой шее, широкая грудь изобличали породу, выносливость и легкую стать этой лошади. Будет хорошо.

Боли́вар с привычным изяществом прыгнул в седло и чуть изогнул свой крепкий некрупный торс, потрогал поводья. Смуглый усач стоял рядом, слегка одобряя взором своего повелителя. Боливар кивнул ему и скупым движением чуть потряс поводья. Жеребец резво, упруго прянул с места.

Он выехал на дорогу и поскакал среди плоской равнины, держа путь к холму вдалеке. Лошадь шла крупным галопом, легко и просто бросая вперед свое мускулистое, блесткое в палевом солнце, темное с подпалиной тело и вместе с ним всадника — черный мундир, красные лосины, красное седло. Боливар представил все это со стороны, еще раз прислушался к свежему и сухому ветру, летящему мимо плеч и волос назад, к тому дому в Боготе, посмотрел с высоты коня на ровное плоскогорье, чуть дымное, желтое и зеленое в предвечернем солнце, полюбовался на горы, на холм, к которому ехал, на бледно-синее небо в золоте — и спокойное, тихое чувство вошло ему

в душу и отделило ее от вчера и от завтра,— наполнило полнотой сегодня, свежестью, безмятежностью этого незабвенного и неповторимого мига.

Как хорошо, что никого нет.

* *
*

Он повернул на каменистую боковую дорогу; острые пемза и вымазанный глиной песчаник хрустели под мощной подковой, постепенно лишали лошадь веселой легкости. Она бежала по-прежнему споро; и все же наездник всем существом своим ощутил, как напряглись ее мускулы, как неуловимо натянулись ее спина и шея. Стало заметней для тела всадника мощное и стальное перемещение ее мышц и работа скелета. Дело было не только в камнях: дорога забирала все круче и как бы втягивалась на блекло-зеленый холм. Солнце блестело, уходило за скалы и за деревья и вновь блестело впереди и чуть справа: дорога шла к юго-западу от предместий города.

И вместе с течением времени, с усилиями красавицы лошади, ходом кремнистой дороги и приближением гор и ущелья душа начинала уходить от этого мига, от поля, и ветра, и гор, от сегодня, не в завтра — о нет! там уже все было медленно и кристально ясно! — а в прошлое, во вчера.

Да, этот легкий и более тяжкий бег, эти дни, эти месяцы, эти мгновения жизни — они все крепче, все яростней требовали и взгляда назад.

Но что же? Что же он помнит из тех фантастических дней?

Он мало что помнил подробно — он просто лишь нес их, те дни, в душе. Нес, не расплескивая.

Быть может, собрав свои громкие манифесты, как голуби, реявшие над тихими улицами Каракаса,

квадратной площадью Боготы («гражданам города и провинции Санта-Фе-де...»), над славным мрамором Картахены, он и восстановил бы воочию и в подробностях дни и ночи той розовой, белой, жемчужной юности.

Но зачем, да и где они, манифесты?

Они развеяны, как птицы при юго-восточном ветре.

Он вдруг заметил, что сам с собой начинает говорить парадно, и, улыбаясь болезненно, глядя в далекие горы, покачал головой.

Но и кто же вспомнит те дни?

Он сам не вспомнит; так кто же?

Но ведь была же, была же истина этих дней, независимая ни от него, ни от кого-то другого, истина, верная лишь сама себе.

Юность вставала перед глазами...

2

Тяжелая и витиеватая мебель времен австрийской династии до сих пор коробила взор. Все эти кресла, лежанки с обивкой цвета осенней зари или перьев жар-птицы, эти изогнутые, в орнаментах ножки, эти претенциозные пирамидки и вензеля на вершинах стульев, с тяжеловесным изяществом говорящие о соперничестве с величествами,— все это было не по душе обитателю дома. Но делать уж было нечего: смена мебели... о, нет, нет. Это не для него.

Куда же, однако, девался мальчик? Невеста вот-вот появится.

В фигурном окне виднелись красные крыши Мадрида.

Что-то в нем есть, в их консуле-генерале, который

скоро останется один на один со своей милой Францией: не этим людям, его друзьям по триумвирату соперничать с его обаянием и военной звездой. Но он чудовище.

Наши умные люди — и Эль-Мораль, и Льоренте задумчиво смотрят за Пиренеи. Пример заразителен. Они забывают: мы не Европа, мы — Африка, дикий юг. Нам нужны перемены, но мы не Франция. Там все иное, даже тирания. Ах, лучше о другом: оно ясно и очевидно.

Да что таить, оно и волнует больше. Стар я, сплетник, и вся эта политика...

(Не притворяйся. Она заботит тебя, старика.)

Премилые дети.

Как весело на старости лет наблюдать вечно свежую и простую комедию жениховства! Как грустно и весело видеть томленье Симона, его неуверенность в чувствах девушки! Как прекрасно, как хорошо! Она уже влюблена в него, но он никак не увидит этого: он боится унизить свою незрелую гордость, боится несчастия, поражения. Он боится отказа. Как радостен Купидон, расточающий стрелы таким сердцам!

Как же увлекательно следить за интригой комедии, которая вот-вот разрешится благополучным концом! Здесь не место Шекспиру, Камоэнсу — здесь фосфорический Кальдерон ранних лет, здесь авансцена смеха и юности, здесь невинный, благоуханный обман сердец, завершаемый счастьем.

Но, как и у Кальдерона, тут все же есть и другое: дело в самом Боливаре. Нет, совершенства в мире не будет. Но все прекрасно; почти.

Да, прекрасно.

И этот брак; он хорош для Боливара по всем статьям.

У него, Устариса, наметанный глаз.

Он, мужчина, седоволосый старик, соплеменник юного каракасца,— они родились по соседству, хотя с промежутком чуть ли не в полвека — вполне видит, кто перед ним.

Он, может, преувеличивает? Чувствительность, размягчение мозга на старости лет? Чрезмерное чтение женоподобного Стерна, божественного Жан-Жака?

Нет. Он знает, он видит; давно он ждал этого человека.

Как только он усмотрел его в доме развратного Мальо — наложника престарелой суки, бурбонши Марии Луисы,— в обществе дяди, этого безмозглого карьериста и прищепки для юбок; как только узнал он, что юноша только что прибыл из Каракаса, что он впервые в Мадриде; как только увидел он эти угли глаза и услышал имя Руссо из уст заокеанского чудо-младенца,— так тотчас же понял он, что эта птица не из того же гнезда.

Он поселил юного Боливара рядом с собой.

Он объяснял ему, в чем сила Дидро, Монтескье и фернейского старика. Он сумел доказать ему, каким подлецом был Лойола и как подлы ученики его — мелкие черти иезуитства, именем христовой любви поджаривающие, будто каплунов, своих ближних; именем христовой любви исповедующие черное правило жуликов: «цель оправдывает средства». Он объяснил ему, почему двусмысленна и привередлива слава великого Гойи. Он рассказал ему об Аранде, о Ховельяносе — просвещенных министрах, страдавших за свои убеждения. Он сообщил об экспедиции молодых Гумбольдта и Бонплана: это он, пожилой Устарис, добился разрешения на их поездку в Новый испанский Свет, с тем чтобы положить начало и про-

свещению, и хозяйственному расцвету колоний. Он говорил с ним о просвещенном абсолютизме.

И мальчик слушал внимательно.

Он слушал внимательно, но вопросы его, его сияющие угли глаза — все это более тревожно, более пенится и клокочет, чем следует для глаз и вопросов истинно государственного деятеля. Чувствуется: он начитался о тех, о бешеных. Спаси его, боже. Он молод, ему еще не понять, с какими людьми и землей он имеет дело.

Впрочем, он слишком молод, и все его вопросы, его излишний огонь — от этого.

Женим — возмужает. Женить — это очень верно.

Недаром бестия Бонапарт так усиленно женит своих офицеров и голоштанных маршалов. Верно он говорит: родине нужны женатые генералы. Эти не споткнутся, не сделают лишнего; не опрокинут котел. Они повара, а не корсары, не флибустьеры.

Женим, невеста прекрасная. Тихая, неазартная девушка. Тихий, глубокий взгляд. Дети, дети.

Как нам нужны мужчины; как нам нужны спокойные, зрелые, смелые люди.

Но что же он не идет?

А... вон шаги, голоса.

Эта чертова мебель, райские зори и перья. Вертушки и паутинки. Да ну их, терпеть не могу возни, торгашей, чужого народу в гостиной.

Я и перед собой элегантен, а не естествен. Я и перед собой как перед зеркалом. Ну, ничего.

Да вот он.

* *
*

Юноша бойко вошел, потирая руки, блистая ажурным жабо, атласными панталонами и чулками цвета стерильного мела. Он был в темно-сливовом

фраке; через миг торопливо стащил светло-кремовые перчатки под цвет жабо.

— Извините, маркиз,— пропел он высоким, приятным тенором-баритоном, изящно чуть приостановившись на четверть секунды.— Я задержался с Мальо, я встретил его на улице, звал на мяч к наследнику, это такая честь, не правда ли? — Он улыбнулся иронически, как-то чуть резко и очень живо.— Ну, а Марии, конечно, нет?

— Ее еще нет,— смеясь, отвечал белоголовый маркиз, не вставая из кресла и поменяв лишь местами скрещенные ноги в загнутых кверху туфлях, торчащие из-под голубого халата.

— Я так и знал,— бормотнул Боливар, идя по фигурному бордовому паркету к лукавому старику, краснея и неловко скрывая свое огорчение.— Я думаю, она все же придет? — полуспросил он, с ловким вывертом пожимая худую, но крепкую руку.

— Придет, придет,— примирительно отвечал Устарис.— Я вижу, ни Кондильяк, ни героический Альфьери...

— Нет, вы неправы,— быстро, досадливо отвечал черноволосый, смуглый креол с его юными, как бы недопрорезанными чертами лба, губ и скул, с острым, слегка неровным и еще детским носом, с этими глазами, блестящими плавлено-смоляным огнем; мускулы около губ и ноздрей дрожали, подергивались, отчего все лицо — в согласии еще с блеском иль с потуханием опускаемых, расширяемых, вскидываемых, сужаемых глаз — то и дело меняло не только выражение, но и общее свое целое, и отдельные вехи-черты.— Зачем вы? — Он нервно, мгновенно ушел от Марии в другое: оттого так сменилось в его лице нечто главное. Бывает, вдруг солнце заходит за малое белое облако, и местность уж как бы другая.—

Конечно, Мабли, Монтескье и Локк мне приятней Поиа, но... не в Марии тут дело, а...

— А Сервантес? — смеясь, поддразнил маркиз.

— Алонсо Кехана серьезней, чем думают многие,— пышно вымолвил юноша, со свойственным ему резким, но грациозным тактом меняя «вы думаете» на «думают многие»: он любил старика, не хотел бы задеть его. Маркиз понимающе улыбнулся и кивнул головой: и на мысль, и на этот изгиб его фразы.— Он хотел идеала здесь, на земле.

— Да, да,— рассеянно поддержал Устарис.— А как, между прочим, с поездкой? Ты не раздумал? Прекрасные взоры Марии Тересы... Они еще сочетаемы с книгами, но поездка... Садись же, садись.

— Нет, нет, я не раздумал,— быстро ответствовал юный Симон, довольно резво бросаясь в багряное фамильное кресло с вензелем и коронкой на пирамидальном орнаменте.— Я не раздумал, нет. Да и Мария... она, по-моему...

— Что? — посмеиваясь, подтолкнул Устарис.

— Она... страшно сказать... она, наверно...

— Что? Что?

Устарис с особенным любопытством смотрел в лицо юноши, в задумчивости уставившегося куда-то в угол с темной картиной Мурильо, с очередной экстравагантностью Гойи. В лице Боливара не было такого уж страха; в нем была тихая мысль и — как бы это сказать? — мгновенная тень, печать чего-то, недоступного этому разговору. Он скажет сейчас, что боится, будто Мария не любит его,— это ясно; но он не видит при этом себя, своего лица. «Поедет... поедет»,— вдруг четко решил Устарис.

— Я боюсь, что она не любит меня.

— А ты бы спросил ее.

 — Я спрошу,— медленно и не сразу ответил

юный креол, вдруг пристально поглядев на старого вольтерьянца и как-то чуть подозрительно смерив его глазами от белых волос до загнутых носков туфель. Он почувствовал тот немой вопрос, интерес в старике. Что за юноша!

— Скоро она придет,— мягко и улыбаясь проговорил Устарис.— А ты, брат, сын мой,— ты поезжай, поезжай в Париж. Не люблю я торговцев и санкюлотов, но дело не в этом. Тебе следует, следует побывать во Франции,— как-то печально, с каким-то чувством судьбы молвил старец.— Там жизнь, там бурлит новый мир. Там ныне сердце и нерв вселенной. А знаешь, как оно важно — понять и увидеть все то, где ныне — сердце и главная жизнь! Поезжай, мой друг! Будь я моложе... А Мария Тереса — что ж. Она еще молода. Да и болезненна: ей бы окрепнуть. Семейная жизнь, она, знаешь...

— Ее болезненность, слабость невыразимо приятны мне. Вы помните «Эмиля», главу о Софии? В ней есть и родственное, и противоположное моему сердцу. Но и несходство — это родство. От мужчины и женщины, созданных друг для друга, природа требует разного. Ее слабость...

— Да... да. Сила женщины — в слабости; словом, она подождет, это даже полезно; хотя ты не очень тяни и с женитьбой,— закончил старик в задумчивости.

— Я поеду.

— Французы — удивительный народ. Я люблю их, хотя это странно для человека испанской крови, пусть креола. Как у них все воздушно, во всем — чувство формы. Они даже бога отвергают грациозно — так, что это не внушает страха. Есть народы, как и люди, тяжелые, а есть легкие. Испанцы — не легкий народ. У нас во славу бога пытали женщин огнем и

ржавыми крючьями, а француз — он и атеист, и деист, а все равно добродушен, тщеславен, ребячлив, светел, легок, остер. Они нас не любят — чувствуют наше угрюмство и тяжесть, зной и африканизм; а мы — их. Впрочем, варфоломеевская ночь — это почище заповедей святого Игнатия. Ах, друг мой, все обобщения ложны; мы так привыкли к Декарту, к дедукции. Во всех народах, как и в самой Испании и во Франции, есть «французы» и есть «испанцы».

— А как вы полагаете, насколько в Америке, в нас, креолах, важен индейский момент? — улыбаясь, любезно спросил Боливар для поддержания диалога; впрочем, он с удовольствием слушал старого диалектика.

— Нет, дай закончить; потом отвечу. Вот как бы тебе сказать? Вот твой учитель Родригес; он тоже, хотя и не житель Кастилии, Андалусии... Кстати, а как он, Родригес, половинный однофамилец дамы твоего сердца? Не было писем?

— О, Робинзон — он по-прежнему одержим и бодр. Вы же знаете, что он величает себя Робинзоном?

— Да, да. Вот видишь, ты сказал «одержим»; «бодр» — не в счет. Это первое слово, которое ты вспомнил.

Но в это время вошел седоватый слуга в строгой черной и золотой ливрее и объявил, что Мария Тереса Хосефа Антония Хоакина Родригес, дочь благородного дона Бернардо Родригеса дель Торо, просит разрешения благородного дона маркиза де Устариса войти к благородным сеньорам.

Маркиз торопливо сбросил халат, втиснул руки в свой синий фрак, поднесенный арабом-слугой, поднялся и с несколько нарочитым изяществом встретил милую гостью.

* *
*

Они стояли на белом балконе у лестницы с плоскими и широкими ступенями, уводящими в сад, и оба смотрели во тьму.

И Боливар чувствовал всей душой, что и слов — не надо, что все уже сказано этим незримым, тихим, этим покорным и слабым дыханием у его груди, этой головкой, склоненной к его сердцу, этой рукой, которая — в светлом батисте — совсем и не касается его руки, но согнута в локотке так, что коснись, коснись ее пальцев, хрупкого ее локтя — и Мария не отнимет, нет, не отнимет своей руки, не отнимет, он видит, он знает. Так это ясно, прозрачно сегодня, ныне.

Он тронул ее за локоть, и они медленно побрели по ступеням во тьму.

В заповедном саду пахло старыми олеандрами, черным кипарисом, маслинами, поздним лимоном, и было черно и черно, как в фамильном склепе; но было таинственно, и тепло, и кристально легко на душе.

Они шли по аллее; лавры касались ее одежды своими жесткими, крепкими листьями; оливы как-то задумчиво, мягко пахли, курчавились беззащитно-беспомощными листиками, мерцали их серебряными изнанками; как много их... Он вдруг остановился и повернулся к Марии.

Ее бледное личико с мелкими и родными чертами, ее широкие, и глубокие, и совсем черные во тьме глаза были тихо обращены к нему,— и не требовалось, не надо тут было тревожащих слов.

— Мария! Ты будешь ждать?

Она быстро приопустила ресницы и две минуты стояла молча. Наверно, она не того ждала все же.

— Но я не знаю, зачем, зачем это,— проговорила она наконец — и умолкла.

— Я должен ехать,— ответил в лимонной, звенящей и черной тиши Боливар.

— Но расскажи мне зачем.

— Я не знаю, как рассказать тебе,— сказал он с задушенным вздохом и отвернулся, слегка с досадой.— Тут нет никаких до конца правдивых причин.

— Нет, я не думаю, что это нас разлучит навеки,— печально сказала Мария, несколько помолчав.— У меня чувство другое, но все равно.

— Что же?

— Я не знаю, но это, что начинается прямо с разлуки, которая непонятна... ты не сердись... в тебе есть неясное... У меня странное чувство: мне кажется, если ты не уедешь, все будет хорошо. А если уедешь, потом все равно судьба вспомнит.

— Это не судьба. Это я такой,— сказал он, глядя в сторону и во тьму. Лица его совершенно не было видно. Лимоны и олеандры дурманили голову, навевали тайну и милые сны наяву; с далекого Прадо — бульвара и площади при дворце,— как с того света, бежали неясные гулы...

— Но ты-то и есть судьба,— еле слышно сказала она.

— Мария! Мария Тереса! — сказал он, беря ее за слабые локти.— Ведь я приеду! Приеду. Я скоро приеду.

— Я знаю, милый,— сказала она утешающе и печально, задумчиво пригладив его упавшие на лоб темные волосы.— Да и нельзя нам: ты знаешь, отец считает, что ты еще молод. Так что дело и не в твоем отъезде. Ты знаешь.

— Мария. Ты мне напомнила мою мать,— сказал он, целуя ее ладони.— Ее звали Мария. Как давно она умерла.

— Зачем ты? — вдруг отодвинулась Мария Тереса.

И тут же она опять наклонилась к Симону.

3

Великое это дело — когда человек на пути домой.

Боливар случайно попал в матросский кубрик. Он прогуливался вдоль палубы, увидел люк и трап, спустился от праздного любопытства, увидел фанерные двери, за ними — койки в два этажа; в помещении был загадочный полусвет, горело лишь несколько сальников в мутных банках; не было ни души,— все матросы еще не освободились от палубных, верхних забот, связанных с уходом в дальнее плавание. Было тепло, смутно и тихо, пахло потом, пенькой и свежими соломой и войлоком из моряцких матрацев, еще не лежалых.

Боливар вдруг испытал тепло и покой, невиданные за последнее время. Он прилег на матросскую нижнюю койку, сунул руки под голову. Сильнее запахло войлоком, перед глазами, поскрипывая, моталась фанерная дверца тесной каюты. Качало едва заметно; слегка трещало близкое днище судна — будто бы мышь скреблась под порогом, цикада пилила у крыши.

Все хорошо, и он едет домой; там, в удобной и светлой каюте, спокойно уснула его подруга, юная жена Мария Тереса; и едет он в Каракас, в Венесуэлу, в свою Америку, домой, домой, домой. К старым книгам, к «Эмилю» и «Новой Элоизе», к Вольтеру, к их золоченым, домашним, с детства привычным корешкам («Общественный договор» — с собой). К диванам отцовского кабинета. К старому дому на

узкой знакомой улице — к большому, просторному дому с его полутора этажами, балконами и мансардами, выходящими не только во внутренний дворик — патио, но и на улицы. Так что всякому молодому другу можно, приложив небольшие усилия, проникнуть через балкон прямо в гости — не так, как в Европе... в Париже, в Амьене, в Байоне, где он бывал за последние месяцы. Лишь домá в Бильбао — еще в Испании — чем-то напомнили ему родные строения... Другу... Ну, а врагов у него и нет. Он представил заплаканные и радостные лица родни, встречающей их, молодых, в стесненной горами Ла-Гуайре, представил родные пальмы и белые камни, зеленые холмы Каракаса.

Так будет. Так будет. Он едет домой — он везет жену. Она мантуанка, дочь баска; она не будет чувствовать себя одинокой, чужой. Он же больше двух лет не был в Америке,— а пора. Пора.

Это четкое слово вдруг пробудило еще более свежие, сильные и благие чувства, кипевшие тайно в его груди, но в этот миг, в этот покойный час побежденные думой о доме, о близком тепле и покое.

Да, там родные дома и забвение.

И там же все то, что волнует его особо. Оно наполняет тайная тайных души чуть льдистой тревогой и свежим ветром, оно не дает забыться, заснуть даже в этот прекрасный и тихий миг, час отплытия к милой и дальней родине. Оно разрушает тишь, но это и хорошо. Хорошо. Вечерняя свежесть в августе лучше томлений, и зноя, и лени февральских дней в душных зарослях Ориноко.

Но все увиденное исподволь бурлило в душе; в тишине, и покое, и полутьме подвижной, нежно несущей его каюты оно вдруг вспыхивало языками пламени, цветисто сияло, клубилось в сияющей мгле во-

ображения, впервые оторванного от плотных и бурных зрительных, слышимых — материальных образов.

Он видел Париж. Он видел первого консула, венчанного на славу народом. Какой плебисцит! Три с половиной миллиона против десяти тысяч. Вот это любовь народа! Свобода прежде всего. Свобода. Свобода, единство земли и любовь народа — что может быть выше в мире! Он слишком суров на вид, этот Наполеон. И мал ростом — гораздо меньше его, Боливара, а ведь и он не высок. Он усмехнулся: так ясно, так четко, так само собою он уж давно — все эти два-три года — мысленно ставит себя у самой руки, у плеча Бонапарта. Что бы ни делал, куда бы ни шел прославленный генерал — хитрил ли в Италии, горел ли в Египте, сваливал ли Директорию 18-го брюмера, громил ли демагогов, воров,— Симон был незримо рядом; он, когда надо, отделялся от Бонапарта и невидимо отходил в сторону, он, когда надо, как тень, как призрак входил в самого Бонапарта, сливался с ним.

Да, были минуты, когда он и отделялся. Да, Наполеон интриговал вместе с хитроумным своим братом Люсьеном. Да, он громил якобинцев. Этот король шпионов Фуше, эти казни. Но что делать? Надо сломить демагогов, хилых блох революции. Зачем, зачем он отослал прекрасного генерала, «соперника» своего Моро в Америку?

И вид у него не таков, как думал о нем Боливар. Не то что он слишком уж мал, но нет уже молодости во взоре.

Суровое время — суровые взгляды.

Он понимает, что Наполеон — это уже не свет и не идеал. Устарис прав в своей настороженности.

Надо, как и всегда следует, взять лучшее, что дал

миру Париж, и отбросить худшее. Мы — молодые люди.

«Наполеон, Наполеон»; довольно.

Честолюбие? Зависть?

Родина как в фиолетовом тумане...

Все ясно, да. Ясно.

Вперед!

Хорошо и тихо... качает... тепло и дрема...

Хорошо же. Хорошие мысли. Там, наверху, в каюте, спит его милая, милая, все знающая Мария Тереса. Венчание было в мае. Цветы. Свежая, яркая, светлая зелень. А верно, прекрасно, что все же я побывал в Париже. Как верно, как надо, необходимо душевно мне было там быть, видеть. Как будто новый заряд электричества, этого волшебства Франклина, прошел через мое светлое сердце. И вот — невеста, и вот — венчание, май.

Море тихо качало висячую лампу, с ее колеблемым светом и мутненьким колпаком. По-прежнему пахло душистой соломой и свежим войлоком. Было полутемно и так тихо, тихо. Поскрипывало уютное днище.

Там, подо дном — голубая волна океана. Опи, вероятно, прошли уж последние желтые скалы Кастилии, все время торчавшие в дымке слева по курсу. Прошли — и ринулись в необъятный, пустой океан. Порт Ла-Корунья от совершенно открытого океана — каких-нибудь тридцать морских лье. Не может быть, чтоб уже не вышли... Да, вышли, вышли... Просторное и синее море.

Его разбудил смущенный матрос в серых портах, рубахе и с ночником в руке.

— Вставай, господин, все уже спят.

— Ах, прости, милый. Я случайно в кубрике.

 Старый матрос слегка усмехнулся молодости, за-

спанности, детской пухлости и розовости щек этого чудо-американца.

Боливар поднялся по трапу и вышел на палубу.

Было совсем черно. Шумела фосфоресцирующая волна за бортом, неспешно качая судно; реи грота и фока чуть пели под полными парусами. На тихой корме отдыхала чуть видимая лебедка, нос задирался в небо.

Вокруг в свежем и темном пространстве не было ни огонька, ни пятна, ни зарницы. Мир был огромен — и одновременно невиден, лишь ощутим дыханием, мыслью, кожей. Небо, подернутое тихими облаками, бог знает где и когда сливалось с пространством моря: все было о д н о — огромное, свежее, черное.

Лишь потусторонним светом мерцали волны.

* *
*

Ярко-зелены плавни угрюмых рек Апуре и Ориноко, развесисты пальмы у матовых берегов Карибского моря, сиренево зеленеет Силья у города Каракаса; в саванне и зарослях — сельве — медленно движутся люди под навесами из пальмовых и банановых листьев.

От границ Гвианы поднимается оранжевое, самоуверенное солнце, и начинается день в саванне, на берегах моря, в городах Каракасе, Калабосо, Валенсии и прочих, и во многих селениях, издали пестреющих тростниковыми и лиановыми крышами и сквозными «стенами». Выходят метисы, мулаты, самбо и белые из невезучих — выходят на грудь бесконечного поля, степи, окаймленной горами и пальмами, и сгибаются в тихом поклоне земле; далекой светлой Европе и всему свету требуются какао, индиго, табак, тростник, зелено рвущиеся к небу из недр здешних

красных и тучных почв. Запевает убогую песнь пробитый дождем и солнцем льянеро, вывешивая на ветер тончайшие прозрачно-багровые полосы и ремни тасахо — сушеного соленого мяса, давно уж ожидаемого в прожорливом жерле гаванского порта, в тавернах Флориды и Порт-о-Пренса. Встают на работу кожевенники, канатчики и жестянщики Калабосо, Кароры, Валенсии, Каракаса и других городов.

Вместе с ними встают приказчики, надсмотрщики — невеселые кастильцы, баски и канарцы, и одинокие их фигуры в широких сомбреро и узких белых штанах издали маячат на тихих, просторных плантациях; время от времени тускло блеснет на солнце воловьей кожей извечный приятель, единственно надежный друг надсмотрщика — длинный кнут. В лавках и мастерских городов, позевывая, ходят хозяева.

Позже встают мантуанцы — креольская знать, потомки конкистадоров, хозяева, богачи, короли какао, индиго и прочих великих радостей жизни. Они идут в патио, прогуливаются у внутренней колоннады, выходящей в сад, идут на поля, в конторы, в церкви, садятся за книги и за конторки; их лица тоже угрюмы и насуплены.

Быть может, они насуплены просто после плохого сна — влажно, москиты; а быть может, и оттого, что счета, конторки, банковские листы, таможенные списки, друзья, коррехидоры и моряки говорят одно: так работать нельзя, доходы велики, но доходы ничтожны, земли богаты, но земли бедны, какао много, но денег мало, прекрасны блестящие степные кожи, но нет того изобилия пиастров и реалов, которое было бы под стать голубеющей прелести моря, тенистости пальм, многопудовости бананов и грузных плодов авокадо, сочной, брызжущей влагой зелени тростника и кустов какао.

Надсмотрщик бьет, жжет, калечит метиса и мулата, чиновник-писака допрашивает креола, чиновника допрашивают служители генерал-капитана. Торговая шхуна отчаливает от мола Ла-Гуайры, и — если на долгом туманном и голубом пути команду не успевают допросить флибустьеры, пираты — капитана допрашивает сначала таможенник где-нибудь в Ла-Корунье, Бильбао или Гибралтаре, а после уж — мадридские интенданты и алькальды.

Богаты, но бедны земли. Ропщут на унижения, грабеж и поборы могучие мантуанцы — испанская гордая кровь. Мрут с голоду печальноглазые смуглые дети.

Кто виноват? Кто последний в трагической, злобной цепи?

Испанец.

Испанец — «год».

Просвещенный министр Аранда советует королю: «...опасения вполне обоснованны... нам остается одно — освободить все наши колонии, оставив за собой только Кубу и Пуэрто-Рико и кое-какие острова...»

Смеется в ответ король; власть имущие не ведают предчувствия грома — они только слышат его, когда он гневно грохочет над головой.

Кто враг?

Кто последний?

Испанец...

Испанец.

Он плох не только тем, что грабит, калечит и жжет; он плох и тем, что несет с собою, в себе, на себе груз свинцового прошлого, грозной древности: тупоумие громоздкой монархии, злобу, обман, власть чиновников и коррупцию.

Между тем далекая праздничная Европа давно

кипит событиями; здоровые люди требуют власти, рушат все то, что считалось незыблемым.

Что ж наши народы? Чем трудней они европейских? Да, воины восставшего индейца Тупак Амару были почти голы, но они сложили головы за свободу, за то, чтобы работать на себя и на Америку, а не на заокеанских грандов, маркизов, и быть в сообществе равных людей; да, вершитель нового бунта креол Хосе Мария Эспанья был смел, но, как и Тупак Амару, он был из первых,— а первым суждено пасть, как положила извечно судьба; но где вторые, где продолжатели?

Страна Венесуэла готова к свободе, к борьбе, страна готова к тому, что идет из Европы, и готова к тому, чтоб освободиться от Европы; хозяйство падет, станет выморочным, люди перемрут и уйдут с земли, если не только Венесуэла, но вся Испанская Америка, этот угрюмый гигант, не поведет плечами.

Такие дела были, такие речи звучали там...

Но жизнь говорит сама за себя.

Ярко-зелены плавни Апуре и Ориноко, тенисты пальмы у берегов Карибского моря, синеново зеленеет Силья; в саванне и сельве медленно ходят люди.

* *
*

Бесчисленные цикады пилили в ночной тиши за огромными окнами — в зарослях розово-нежной мимозы и грубо-зеленого, крутого бамбука, ныне не различаемых и лишь шелестящих там, за балконом, листьями и ветвями. Гигантские мягкие бабочки и шершавые летучие мыши глухо стукались в стекла.

Мария Тереса сидела в углу на старинном и слишком твердом, еще непривычном стуле и с жалкой, заученной, чуть печальной улыбкой слушала разговор.

Ей как-то необъяснимо нездоровилось; было то состояние, когда человек не знает, болен ли он или еще здоров — так, ломота какая-то, сон, томление, тяжесть в руках и ногах,— и от этого еще хуже душе: уж лучше болезнь настоящая, постель и определенность. Она смотрела на лица, слегка освещенные тонкими свечками в старых серебряных канделябрах, и все лица друзей Симона виделись ей как бы смутно и чуть во сне; четко и ясно она различала лишь тонкое, раздраженное лицо мужа, с этими сияющими и блеском и тьмой глазами, с этими подвижными крыльями носа и будто голыми нервами рта, с густо-черными бровями и бакенбардами, в белом высоком воротнике. Она не следила за нитью спора — все политика и политика,— но она видела, что Симон опять мечется, раздражен, беспокоен, что внутренний огонь пожирает его подвижную душу, и что не знает, не знает он, где и куда ему выплеснуть этот огонь, и что он жаждет освободиться от этого пламени и обрести покой, но какие-то незримые волны относят его все дальше и дальше от берега — все дальше и дальше в бурю.

Она любила его и, улыбаясь, страдала и тихо следила за этим пламенем.

Они говорили:

— А как же,— кричал Алонсо,— ты думаешь, что де Торо и вся эта братия, ты думаешь, они распрощаются со своим какао, ты думаешь, они простят аренду мулатам и освободят от колодок негров? Но как же...

— Ясно, это все ясно,— воздевал пальцы длинный Франсиско, будто бы собираясь смахнуть невидимое сомбреро с затылка.— Но это и надо помнить: мы не можем ничего начинать, не учитывая таких, как Торо.

Единственное, что она четко слышала — знакомый звук обострял ей слух,— они упоминали Торо; но это был не ее отец, а местный богач, и было снова неинтересно.

— Учитывая?!? Учитывая! Да ты знаешь, что это значит — такие, как он. Коли уж их учитывать до конца, так и не следует сейчас начинать. Не следует. Об этом и разговор. Где вождь? Кто возглавит?

— Постойте! Постойте! — весь раздраженный, розовый, морщился, поднимал ладони Симон, ее дорогой Боливар.— Вы спорите не о том. Вы спорите не о том,— повторил он тоскливо, весь сморщившись.— Вы спорите лишь о том, как бы почетнее для себя, для своей совести остаться всем на своих местах и делать что делали. Но тогда нечего обсуждать, ломать голову. Надо быть честными хотя бы с самими собой. Или покой и довольство — или борьба за свободу и лучшее устройство общества. Надо решить это для себя, а потом уже думать обо всем остальном... Я решил это для себя,— сказал он, вдруг блеснув на свечи бешеными глазами и погрозив в окно кулаком.— Я решил, я этого не скрываю. Здесь мой старинный уют, я один из самых богатых людей в Каракасе и всем генерал-капитанстве, но я решил, что это не для меня... как сказать? Даже то, что я говорю вот это, что я хвастаюсь своей жертвой, своим богатством, которое я презираю,— даже это в душе противно мне. Я, видно, еще мальчишка, что произнес те слова... Человек! он создан свободным. Свободным! Люди должны быть свободны, едины в своей любви друг к другу, а ненавидеть должны лишь насильников. Цепи, насильников. Я много думал... я думал о крови, которая впереди. Я понимаю, что это — против заповедей Христа. Но это лишь ответ на насилие, и не более. Если насильники уйдут с миром — мы их от-

пустим и еще дадим маиса и сладкой маниоки на дорогу. Но если они не уйдут!!! Человек свободен!!! Я не знаю, как выразить это дикое, это глубокое чувство, которое зарыто у меня в груди и рвется наружу, но не находит оно выхода из этого бренного, из этого бедного тела; не знаю, как выразить... Человек свободен, он должен быть близок своей могучей, прекрасной природе, которую судьба послала нам в Америке, он должен быть един со всеми людьми в любви, а не в рабстве, и тогда на земле...

— Но, Боливар, зачем ты вновь и вновь повторяешь все то, во что мы и так изначально верим. Мы, жители всех этих Новых Испаний, обеих Индий, Эспаньол, генерал-капитанств,— мы уж и так обрели общенациональную черту, которой лучше б не быть: мы слишком любим слова, и притом очень общие и трескучие. Мы тщеславны без действия, темпераментны без характера. Посмотри на этого немца, на этого Гумбольдта, который плавал по Ориноко, а после копался на Кубе и в Андах: посмотри на его дотошность и деловитость. Он поднял все списки в таможнях, потрогал каждую ветку и камешек, он облазил Чимборасо и Котопахи, к которым коренные жители наших провинций так и не удосужились за годы приблизиться на пол-лье. Вот у кого учиться! К нашему бы пафосу и тщеславию — немецкую деловитость! И если мы вспомним о ней, то увидим, что не готовы к войне с Испанией, не готовы к свободе, к самостоятельной жизни,— заговорил сутулый, длинный Франсиско, чуть пошевеливая усами, загнутыми, как у индейцев-муисков.

Его слова будто разрезали волшебное покрывало очарования, царившего во время речи Симона. Как тут сказать? Он, Симон, и верно говорил вещи, давно знакомые и простые; но такая сила искренности и

молодости сияла в его лице, глазах и словах, что они, эти слова, звучали с особой свежестью и невольно, как детская сказка, очаровывали собравшихся вокруг стола — слушающих говорящего. Или она это думает оттого, что любит Боливара? Она спокойно — все улыбаясь в пространство неизвестно кому, забытая и не шевелящаяся, не напоминающая о себе,— взвесила в душе эту мысль. Еще посмотрела на лица, как бы на миг проступившие из тумана. Нет, дело не в том, что она его любит. Он и так, без ее любви пленяет людей особым огнем, недоступным словам и действиям. Что же это за сила? Она от дьявола или от бога? Кто он, ее Симон? И куда он зовет людей? Он поведет их к чему-то страшному. Но это не он поведет — его самого ведет неведомое и зовущее, неизбежное — но что? Светлое или черное? Огонь или пепел? И как выразить, как назвать это? Он — голос, он — арфа какого-то мощного, но незримого урагана, пока еще медленно пробегающего по струнам.

Она посмотрела на Хуана Висенте, брата ее Боливара; он молча улыбался («пусть горячатся юноши»).

Между тем заговорил доселе молчавший Хосе — как и другие, молодой мантуанец, креол, сын владельца плантаций индиго. Он сказал:

— Я не понимаю, о чем мы болтаем. Все это чушь и вздор, истерика или вялая рассудительность. Существуют дела, которые надо делать и которых никто не сделает — если не мы. Мы — цвет нации. Мы — молодые люди. Франция подает нам сигнал, показывает пример. В нашей воле — учесть урок и не довести дела до Робеспьера, но в нашей же воле и внять голосу оттуда, из-за океана, с востока, и внять голосу, гулу и стонам своей же, здешней земли, черт возьми. Ведь — проклятие! — Он перевел дыхание; его во-

лосы с рыжим отливом распались на две равные пряди,— или мы действительно неполноценный народ? Или Вашингтон был сверхбогом, а мы ниже обыкновенных людей? Позор! Тысяча проклятий! Северные колонии, они боролись с куда более сильным зверем, чем здешний, наш,— перед ними была Британия с ее флотом, с ее войсками, с ее пехотой, которая в красных мундирах идет на выстрелы и не падает! А мы! Проклятая сука Мария Луиса, проклятый кобель, временщик Мануэль Годой! А сам Карл, этот мерин!

— Послушай, ты же призывал к делу,— с искусно воспитанной невозмутимостью, долженствовавшей обличать отпрыска древних кастильцев, промолвил Пабло — коренастый и очень смуглый юноша с правильным, резким лицом, дымивший длинной, витиевато изогнутой трубкой.— А ругань тоже не дело. Кроме того, здесь дама.

Все замолчали и с мальчишеской виноватостью покосились в угол, на Марию Тересу. Она шевельнула на коленях вязание и сказала, улыбаясь мило, слабо и просто:

— Нет, продолжайте. Не смотрите на меня.

Они ощутили искренность ее слов, и все же минуты две царило смущенное молчание.

Боливар быстрым взглядом смерил жену и, видимо, хотел спросить ее о здоровье; но, явно подумав, что это будет выглядеть нарочитым, вновь отвернулся, вновь посмотрел — как бы хотел уверить себя, что спрашивать и не надо,— и опять отвернулся. У нее потеплело в душе, она была благодарна мужу за эти взгляды.

— Я говорю одно,— нарушил тишь комнаты и пение цикад за окном темпераментный Хосе, сидевший в расстегнутом сюртуке, из-под которого пылала

малиновая сорочка.— Нам нечего говорить о том и о сем, черт возьми; нам нужен руководитель.

Все помолчали и как-то отрывисто и загадочно повздыхали, как будто пряча эти вздохи друг от друга.

Она улыбнулась опять в безмолвии; ей нездоровилось, нездоровилось. Мелкий и пыльный, почти незаметный, но едкий туман витал для нее в этой полусумрачной комнате, освещенной пучками слабых огней; и по-прежнему лица друзей были смутны, только лицо Боливара маячило и металось резко и беспокойно. Ей нездоровилось, ныло в груди и в коленях, во рту было сухо; и — кто его знает? — было оно, это что-то сверх ломоты и сухости, что было особенно тихо, печально и как-то хрустально-прозрачно — ясно и грустно, грустно... Она жалела и очень любила Боливара и его друзей — раз они друзья и знакомые его, ее мужа; пусть они спорят... она все равно жалела, любила их всех ради него; она бы хотела, чтоб все они кончили наконец разговоры, и сели пригубить свое пальмовое вино (с Кубы опять не завезли испанской малаги, а старое бургундское кончилось, вот досада, стыдно принять гостей) и поели бы тыквенное пюре, белую вязкую маниоку, румяные лепешки тортильи, ее прекрасный острый сыр и орехи; но нет, никто и не вспоминал о еде, а она не хотела прерывать неоконченные разговоры; она себя ощущала их матерью, которая видит беды, капризы детей и ничем не может помочь.

Она и сама не знала, в чем же причина этого чувства, которое в ней плывет и царит сегодня больше, чем раньше... она не знала. Она не беременна, нет... но что же тогда за болезнь, что за спокойное, тихое чувство владеет сегодня ее душой?

— Но Миранда в Европе, и он не знает нашей

страны, наших стран, нужен...— будто сквозь дымку, донесся до Марии Тересы резкий возглас Франсиско; и снова все опустилось во тьму, в полудрему, и только жесты, лицо Симона... лицо Симона...

Она не знала в чем дело; она чувствовала себя намного взрослее и выше — даже физически выше — всех этих прекрасных, горячих мужчин — и она не знала в чем дело.

Она ощущала близость чего-то большого и тихого — но чего?

— Свобода, свобода. Какая, наконец, свобода? Что значит твоя свобода? — врезался в розовый, дымный туман острый, режущий луч — голос Алонсо.— Ведь это слово не много весит. Ныне все говорят о свободе. Испанцы толкуют: «свобода, свободная империя, раздавим Англию»; мы говорим: свобода; негры кричат: свобода; Северные Штаты кричат: свобода...

Симон перебил его:

— Наша свобода — это прежде всего свобода от испанцев, колониальной власти, взявшей за горло Америку. Потом это — свобода от монархии, введение республиканских институтов правления, основанных на разуме, на активности человека. Потом... да, потом...

— Что же? Что же потом?

— Еще не знаю. Разве мало?

— Общие слова! «Республиканские институты!» В Венесуэле! Ха-ха!

— Это не решается сразу; надо видеть, как пойдет жизнь. Будем знать. Сейчас важно — главное.

— Может, и так.

— Возможно.

— Но сколько у нас людей?

«Святая Мария, моя заступница, не лиши меня своей вечной любви. Даруй и мне силу вечно лю-

бить... вечно любить... даруй им покой, утешение...» Вдруг она вспомнила древнюю молитву, слышанную в Испании: «Боже, дай мне силы перенести то, что я не в силах изменить. Боже, дай мне силы изменить то, что я не в силах перенести. Боже, дай мне мудрости, чтобы не спутать первое со вторым».

Она тихо, растроганно улыбнулась своей молитве, которая, растворяя слова, как бы глухо и мягко растаяла где-то в глубинах ее души, слилась со всем тем, что уже не нуждается ни в словах, ни в иных особенных знаках. И, улыбаясь, проговорила:

— Быть может, все же накрыть на стол?

Мужчины — капризные дети — снова умолкли на миг и несколько бестолково стали глядеть друг на друга,— не зная, что отвечать на этот простой вопрос, оборвавший растянутые паутинки их блестких слов.

Один лишь Симон сидел, неподвижно глядя перед собой, и не слышал вопроса.

Он, видно, и сам не понимал, какое облако сошло на него.

* *
*

Привязав лошадей к пальме около заметного издали светлого камня и попросив угрюмую негритянку, выглянувшую из-за железной ставни одинокого дома, присмотреть, гуляющие Симон и Хуан Висенте пошли по каменистой дорожке, ведущей в ложбину и после — к Силье. По сторонам и сзади — когда они оглядывались — белел родной и тихий Каракас, прямо перед глазами вставали округлые ярко-зеленые холмы и возвышенности. По одной из таких продутых ветром и плоских возвышенностей они и шли, не торопясь, заложив руки за спину и пиная носками дорожных сапог белеющие кусочки известняков и пестрые россыпи порфирита. Вдали за холмами кури-

лось туманное марево, и весело было сознавать, что войди туда, на ту кругло-зеленую лбину — и вдруг откроется блесткое, и лазурное, и туманно-застылое море, мелькнут внизу крыши Ла-Гуайры — порта, океанских ворот их Каракаса...

— Ты что не пришел на другой день?

— Я был в деревне. Пабло, разносчик, в тот день не приехал — не передал приглашения.

— Фанни пишет тебе?

— Нет. А что?

— Родственница! Как ей — в Европе?

— Ну, тебе она тоже родственница.

— Это так. Но...

— Да, да, ты женат.

— Это все равно. А другая сестрица...

— Смотри: лошадь без всадника.

— Это часто.

Они замолчали, ощутимо набредя в разговоре на то, о чем скрыто помнила душа. Все же Хуан сказал:

— Опять засекли, а конь вырвался.

Но Симон не ответил, тем самым давая понять, что все ясно, все ясно, и только...

— Мне только неясно,— сказал он глухо,— как люди позволяют это. Я не могу понять. Я не представляю себя без свободы, без этого пламени в сердце. Я искренне пытаюсь и не могу понять людей, позволяющих над собою насилие.

— Ты это много раз говорил уже,— улыбаясь в закрученные усы, отвечал Хуан; он был чуть повыше Симона, сутулей и сдержанней в жестах и более застылый и крепкий в чертах лица.— А тех, кто насилует, понимаешь? — не удержался и поддразнил он.

— Не вижу повода для шуток,— быстро и сухо ответил Боливар-младший.

— Что зря кипятиться? От этого ничего не изме-

нится; лучше делать дело. А эти сборища, разговоры...

— Это я уже слышал. Только дела никто не делает.

— Что ж, а ты?

Симон кипяще молчал, щурил глаза и дергал углами рта; Хуан примирительно потянул его за рукав. Симон не разжал рук, сцепленных за спиной.

— Не валяй дурака. Нашел врага. Со мною сражаться просто.

Симон вдруг просто сказал:

— Я понимаю, со мной тяжело. Я все говорю одно и одно, а это надоедает, люди хотят жить.

— Не ты один озабочен свободой, но ведь не обязательно сгорать от этого каждый миг. Так и на суть ничего не останется... когда она подоспеет.

— У меня огня хватит.

— Ну, ну...

Они помолчали, стоя у родного города, глядя на зелень, на синюю долину между возвышенностью, на которой они стояли, и цепью холмов.

— Это что же! изо дня в день, из часа в час эти испанцы не просто притесняют, но не дают жить; я уж не говорю о хозяйстве, рабах, о том и об этом — я говорю о самом очевидном: они рубят головы, четвертуют, вешают, привязывают младенцев к спинам связанных матерей и заставляют их умирать с голоду и от москитов — сначала младенцев, потом самих матерей,— и народ принимает это как должное. Принимает это как очевидную жизнь. Я не понимаю этого. У меня есть чувство, что кто-то должен им сказать, что это не так, что это не отвечает природе... сказать, крикнуть, и люди проснутся. Я убежден, что это не жизнь, а сон. Иначе я... я не понимаю ничего.

— Ты совершаешь ту же ошибку, что многие,—

задумчиво отвечал Хуан.— Тебе в твоем гневе и пламени кажется, что вокруг только резня и стоны; а между тем большинство людей каждый день только спит, ест, обнимает жен, ласкает детей, пасет скот и работает на плантациях...

— Где по спинам гуляет плеть?

— Да, где гуляет плеть; но, однако, пойми мою мысль. Мало того, что гуляет плеть, но каждый знает, что через день, через час, быть может, могут войти, перерезать его детей, его самого заковать в кандалы и послать на галеры — и все это без всяких объяснений и за какую-нибудь ничтожную провинность, о которой он сам, виноватый, и догадаться не может; все так. Он головой знает это. И все же каждую минуту, пока он еще не бит и не резан, он спит, ест, ласкает детей, работает и ни о чем не думает. Таков человек; он не может не забываться, не жить.

— А Тупак Амару? Не смирившийся Мануэль Гуаль? А Хосе Мария Эспанья?

— Вот, ты сам подсказал; звук их имен отрицает еще одну твою мысль. Тебе кажется в твоем гордом запале, что ты один бредишь свободой; меж тем было — и есть! — много людей, которые жили тем же и даже, как видишь, отдали силы, жизнь.

— Смерти я не боюсь. Ты знаешь, мы с тобой сироты с самого раннего детства; у нас огромное состояние; нам не о ком...

— А Мария? — смеясь, возразил Хуан.

— Мария меня понимает, она сочувствует... хотя...

— То-то, хотя. Эй, Симон, не размахивай кубком, расплещешь вино. Не сносить тебе головы, да и прочим людям, которым ты...

— Я все знаю. Все знаю,— отрывисто произнес Симон.— Все знаю и не могу, как вы.

— Тише, тише,— смеясь, добродушно погладил брат Хуан Висенте его сухое и твердое, злое плечо.— Мы вместе, ведь это известно. Ведь мы не только братья, но и друзья. Бойцы. Просто я, ты... как бы тебе сказать...

— Да, да,— отвечал Боливар, повернувшись на каблуке и неловко обняв брата.

* *
*

Облокотившись на розовые холодно-мраморные перила, он стоял на обширном пустом балконе и смотрел то в заросший сад, то на голые плиты камня, бывшие у его ног. Весь этот вид на миг напомнил ему тот вечер, когда они впервые были душа с душой, тот балкон,— но он насильно вытравил эту мысль, это воспоминание из больного сердца: нечего сыпать на рану соль, благо она болит не остро и раздирающе, а как-то тускло и тупо.

Он покосился на двери в комнату: там в глубине виднелись еще одни открытые двери, а за ними в палевом полумраке — черные пятна мантилий, сутан и траурных сюртуков; слышалось бормотание. Полога с постелью не было видно.

Он вновь отвернулся; лицо его, если бы кто-то видел его в тот миг, имело вид незначаще-отчужденный от мира; казалось, в груди у него тяжелый металлический шар, и он ощущает его тихую и круглую тяжесть и — глядя на листья, и розовые цветы, и козленка, зачем-то приставшего к пеньку спиленной толстой пальмы,— не понимает, как листья могут так призрачно и легко шевелиться, как в мире может быть легкость и свет.

Но на лице его не было ужаса и отчаяния.

 Он не смог бы выразить одним словом свое душев-

вое состояние этих часов, этих минут. Он чувствовал себя вдвойне виноватым. Он чувствовал себя в чем-то глубоко виноватым перед Марией и неизвестно пред кем еще за то, что не ощущает того ужаса и раздирающей и саднящей боли в сердце, которых он ожидал все эти дни, когда все уже было ясно. Не понимая, как, он ощущал и себя виновным в смерти Марии. Лихорадка изматывала ее. День за днем желтело и как бы уменьшалось ее лицо и глаза становились все больше. Тело ее тоже уменьшалось, ссыхалось; было чувство, что плоть ее тает и на глазах обращается в душу,— тем более что все ширились, сияли эти скорбные взоры. И все-таки дело было как будто и не в болезни. Вернее, сама болезнь словно пришла не случайно, а не могла не прийти... Священник и ладан, казалось, ничего не изменили рядом с ее постелью; казалось, происходит то самое, что и должно, чему и следует быть и что шаг за шагом оно идет весомо, неумолимо, естественно.

Они переговаривались с Марией:

— Тебе дать ту ветку самшита из нашего сада, родная?

— Нет, милый. Я уж вчера держала ее; не надо.

— Тебе неудобен муслин.

— Да, он немного скользит под головой; но ничего.

И каждый смотрел в глаза другому, и оба понимали — все.

В обоих росло глубокое, странное чувство приближающейся свободы, особой сердечной воли, неотделимой от той усталой, теплой любви, которая тихо сияла в ее глазах и тревожно и неуютно клубилась в его туманном сердце. Великой, ширящейся свободы. И оба видели неизбежность, невозмутимую предрешенность всего идущего.

Когда она умерла, он долго смотрел на ее лоб и немного впавшие углубления тихо закрытых глаз; слезы текли по щекам, но он не ощущал их как слезы, он просто чувствовал на подобранной коже скул их влажную тяжесть,— и не было, не было в сердце безумия, ужаса. Была лишь свобода, была вина — да, вина — и была от этого всего и суровая бодрость, свежащая, морозная бодрость невозмутимого отчаяния и разрешения, ясности и разрешения от смут и недоумений.

И над всем царила спокойная, мерцающая серебряными иголками грусть и всезнание — светлая тяжесть.

Он отвернулся от двери, стал опять смотреть в неподвижный сад и в своем оцепенении не заметил, как подошел старый каноник.

— Не думай, сын,— сказал он, коснувшись его локтя.

Симон повернулся.

— Нет, я не рожден для счастья,— сказал он, суживая ресницы, пристально глядя в глаза монаху и в то же время не видя, кто именно перед ним: он выговаривал своей душе то, что в ней было и тайным и несказанным.— Как я мог не знать этого? В девять лет — круглый сирота, в девятнадцать — вдовец. Счастье — не для меня. Это мне напоминание, знак. Это... ох, боже мой.

Он уныло умолк.

— Слова твои — от юности сердца, от горя.

— Да, слова суетны,— как бы очнувшись и увидев монаха, даже чуть отшатнувшись, моргнув, как от света,— сказал Боливар.— Да... слова суетны и нелепы. И все же они правдивы.

— Мир придет и к тебе.

 Молодой мантуанец взглянул утомленно и тяжко-

невозмутимо — и снова уставился в темную зелень сада.

Меж ними витала спокойная и глухая печаль.

На лице его было выражение вымученного отдыха, утомления и свободной, простой пустоты.

4

Три года спустя он снова сидел у окна в своем старом доме.

Да, вновь Сан-Матео, усадьба, дом на горе, вблизи города. При подходе виден Каракас, площадь Сан-Игнасио, где он родился; видна дальняя круглая Авила — высокая часть Сильи, гор, отделяющих Каракас от моря и порта Ла-Гуайра.

Все так же отсвечивал в блеске дня голубоватый камин в углу: придуманный на английский манер, никчемный в этой стране; и рядом с решеткой валялись закопченные, не отчищенные слугой щипцы. Все так же краснел брасеро — тазик с тлеющими углями. Все так же сияли витиеватым золотом переплетов его молчаливые книги — друзья, и враги, и советчики. Все так же стоял — равнодушный и голый — тот темного дерева стол, за которым неутомимый Робинзон-Родригес давал ему уроки любви к свободе, природе и разуму и встречал восторженный отзыв в его душе. Все так же стояли старинные канделябры, висели подпорченные ретушером, темного колорита картины; все так же тускло блестел узорный пол, все так же...

Когда-то казалось: да не приснилось ли мне лазурное и умильное детство, ранняя юность — пасмурный кабинет с камином, уроки ворчливого, но нестрашного Робинзона? Да не приснились ли это окно,

выходящее на долину, и то, выходящее в тихий патио, и щипцы, и угрюмый стол? Слишком бурная, пестрая, резкая и слепящая жизнь проходила вокруг — жизнь, идущая будто в ином измерении, в ином мире и царстве, чем его детство.

Париж, та поездка, женитьба, Ла-Гуайра и родственники, и новый, сверкающий, белый, чужой и парадный дом с молодой женой — дом, приятный и радостный ради Марии, но дом без тайны, без предрассветного и глухого призрака отрочества, прошедшего в дворике, на деревьях, за книгами, с Робинзоном-Родригесом, в гамаке и на чердаках... Дом — жена... Нет жены. И снова — Мадрид. Неприветливый, неуютный Прадо. Запрет пребывания иностранцев ввиду «трудностей в снабжении столицы продовольствием». Усталый и вялый Устарис. Унылые толки с ним и с иными о тайных масонских ложах, французских просветителях... «Свобода печати». И безнадежность, и безнадежность во всем. Самоуверенная полиция, самоуверенный Карл Четвертый, все прежние лица, все прежние интриги при пышном дворе; довольные, мягкие подбородки придворных, лакеев. «Мы не развратная Франция, мы прочный народ». Бегство в Париж.

В Париже сначала — веселье и суета, отдых от тяжкой мадридской благопристойности, тупости, скрытых пороков. Откровенность разврата — уже не такой разврат; худшее в мире — это гниение в тишине, когда смрада от язвы не чувствуется за швами и за одеждой; но тем быстрее идет само разложение, ибо болезнь не признана и лечения нет.,. Нет, в Париже сиделось лучше. Там, правда, тоже печально: революционный генерал Бонапарт стал императором... о, прелестно, прелестно звучит... Давно к тому шло, да все же и зябко душе. Как бы и что б ни пред-

видел, но человек — он всегда человек: какая-то теплая часть души все-таки надеется на лучшее, полагает: пу-ну, обойдется... а нет, не обходится.

Трудно теперь вспоминать ту особую бесприютность, которую он ощутил при известии о «венчании» Бонапарта. Он вдруг впервые отчетливо почувствовал себя лишним человеком в этой бездумной, светлой вселенной, нелепым и странным созданием, которое лишь по глупой ошибке явилось на свет, и уходить вроде жалко и страшно, нехорошо, а что делать, как же существовать — неизвестно. Он понял, что вся его юность, все его раннее возмужание шло под знаком Наполеона, этого гения, этого прекрасного феникса, рожденного из черного пепла якобинских и термидорианских терроров; он был олицетворением разума, смысла великих событий, он был живым воплощением мысли, что все — не зря... Все эти годы Боливар видел и старался не видеть, замечал и старался не замечать, куда идет Франция, куда идет жизнь, куда идет Бонапарт; и вот — свершилось. Надеяться больше не на что. Разве лишь на самого себя. Миг пронзительного, больного возмужания.

Дураку полковнику дю Вийяру, который тогда — как раз перед коронацией — крайне кстати попал ему под руку со своими восторгами по адресу Бонапарта, он написал: «Я преклоняюсь, как и вы, перед его военным талантом, но разве вы не видите, что его единственной целью является захват власти?.. И это еще называется эрой свободы?.. Будьте уверены, правление Бонапарта станет в скором времени более жестоким, чем правление тех маленьких тиранов, которых он свергнул». Написав эти слова, он поставил точку не только в письме, но и в собственном своем сердце.

И все же в Париже было гораздо лучше, о, много

лучше, чем в бесконечно темном и беспросветном Мадриде. Живые, приветливые французы, которым и революции, и мрачные гении нипочем — все смеются да пьют лафит. Родные венесуэльцы, сплотившиеся в чужих краях и тем не менее вечно кипящие в мимолетных ссорах друг с другом. Жена Вийяра, кузина, стройная, милая Фанни, проводившая старого дурака в поход и забывающая свои туманные, влажные взоры на юном твоем лице, рдеющем жгучим румянцем предчувствия. Безумная болтовня Симона Родригеса-Робинзона, ныне уж очутившегося в далекой Вене, и властно зовущего своего ученика к дунайским брегам, и встречающего его, и внушающего с порога, что химия, и ничто иное, спасет этот глупый мир. И твердящего о науках по дороге в Париж, и подбившего, наконец, Боливара совершить торжественно-пешее путешествие путем своего великого учителя Жан-Жака Руссо. Впрочем, он и до сих пор не жалеет об этом походе: темно-зеленые горы, чуть изжелта блещущие там, на покатых вершинах, где солнце коснулось их первыми золотыми бликами; и темные, и голубовато-туманные снизу, в долине, где зелень еще влажна и угрюма, где она еле-еле пробивается сквозь туман, и тьму, и голубизну. И старинные скалы, и речка, и деревенька — красные крыши, часовня... Нет, нет. Здесь, в Америке, дикий мир куда громче, куда величественней... и все же незабываем он, этот поход: молодость, беззаботность, тень грусти на сердце, и сумасбродный, сосредоточенный, вечно ведущий вперед и стучащий где надо и не надо своим суковатым посохом Симон, и удивленные взгляды равнодушных, ленивых крестьян и горцев, и светлая, благоуханная тень великого создателя «Эмиля» и «Общественного договора» — над этим над всем. И Ита-
 лия, Рим, где Боливар взбесил тупоумных церковни-

ков и посла Испании, сделав, в сущности, самое естественное — отказавшись поцеловать крест, вышитый на туфле папы; и изнуряющий, демагогический с обеих сторон диалог с послом после этого, тогда как без объяснений тут все яснее ясного; и опять — Париж, и Неаполь, и приветливые Гумбольдт, актер Тальма, Бонплан, академически вежливый физик Гей-Люссак, и мелодии Гайдна, Моцарта, Глюка, Бетховена («во Франции нынче родная музыка не в почете, мы чтим чужих. А как вам споры Жан-Жака и Глюка?»), и снова цветущая «сестрица» Фанни, и креолы-сородичи, и разговоры, и разговоры, и вечера — и Шатобриан.

Как тень, не коснувшаяся души, но заставившая ее почувствовать близость холода, прошел он мимо Боливара — и растаял как облако.

Что за гостиная? Где разговор? Что за раут? не помнит, не помнит; но помнит тяжелый взгляд, насмешливо-укоризненное кривление губ, и глаза, и слова:

— Что? что, молодой человек? Не нравятся клерикалы? Ненавидите тьму, сутаны? И обожаете барона Гольбаха? Ламетри? Погодите, они вас научат. Кончился восемнадцатый век! Разве вы не видите? Кончился этот век! Кончено с надеждами! Просвещение! Разум! Ха-ха... ха-ха... Революция! Царство разума на земле! Ха-ха... ха-ха-ха...

Он смеялся спокойно и как-то задумчиво и все смотрел, смотрел исподлобья в глаза, и Боливар вдруг ощутил, что, обычно живой и резкий в споре и в обществе, он, Боливар, обмяк, опустился куда-то душою... но это было одно мгновение — тень не коснулась, нет, не коснулась, только пахну́ла холодом,— и уж нет перед ним ни лица, ни кривящейся полуусмешки, ни губ, ни морщин над бровями, ни глаз, ни

огромного неуклюжего лба — ничего; и снова приятные встречи, и разговоры, и тайная леность, печаль, и растущая жажда действия, действия, действия — в этом, да, только в этом выход душе, что бы ни говорил.

Зачем эта встреча... или коснулось его крыло... та тень? Коснулось... а он не заметил — он ощутил лишь холод, лишь тайну прикосновения... а может, не холод? Может, наоборот? Может, смущенье и трепет души он принял за холод, за тьму, за враждебность?

Он поднялся, быстрым взором скользнул по рядам своих книг; скоро держал он на теплой ладони маленький новый, прохладный томик — недавно в библиотеке — и приоткрыл его наудачу.

«Я блуждал по обширной равнине, поросшей вереском и лесом. Как мало было нужно для моих грез! Сухой лист, гонимый передо мною ветром, хижина, дым которой подымался над безлесной вершиной, мох на стволе дуба, трепетавший от дуновения северного ветра, обрывистая скала, пустынный пруд, где шептался поблекший тростник! Одинокая колокольня возвышалась далеко среди долины... Нередко я следил глазами за перелетными птицами, которые пролетали над моей головой. *Я представлял себе неведомые берега, далекие страны, куда они летят,* и мне хотелось быть на их крыльях. *Воздымайтесь же, желанные бури, и унесите Рене в пространства иной жизни!* Говоря это, я шел большими шагами; мое лицо пылало; ветер со свистом развевал мои волосы; я не чувствовал ни дождя, ни холода, очарованный, взволнованный, точно одержимый демоном моего сердца... Мне казалось, что жизнь удвоилась в глубине моего сердца, *что я обладаю могуществом создавать миры...»*

Боливар оторвался от строк; глядя в сторону, подумал и еще раз перечитал их. Недаром он никому не рассказал и никуда не записал свой разговор с этим автором, с Франсуа Рене де Шатобрианом, язвительным и печальным бретонцем, чей суровый пейзаж напомнил ему картины высокогорных плато его собственной грустной родины. Да, в нем было неясное и тревожащее. Будь он действительно тем квадратным католиком, клерикалом, легитимистом, прелатом, которого он, кажется, время от времени корчит из себя в гостиных,— он не сумел бы так написать о вереске, о безлесных вершинах, об одинокой церкви среди холмов и лесов; в этой любви к природе, к свежести, к ветру, к лесам виден скорее Жан-Жак, которого он, Шатобриан, так яростно отрицает, считает глупым. Что-то извечно тревожное, заунывное в этом его порыве к неведомым берегам, «иной жизни», темным и светлым, мерцающим потусторонним мирам. Тут нет успокоения... В нем — тайна, загадка, а не кристальная и сахарная ясность католика... Будь он «прелатом», он, Симон Боливар, ни на минуту не заинтересовался бы им, «Рене»: все это — из музея, все это — хлам после 89-го и 93-го годов, и только по недоразумению эти живые мумии, эти движущиеся тени еще ходят по свету, руководят Испанией и прочими странами... Дух идет впереди, ему неинтересно все то, в чем жизнь безнадежно отстала от его подвига,— он уж решил все это («Дух?» Но что бы сказал Дидро в ответ на употребление этого слова?). Шатобриан — не Лойола, он что-то, что... позже революции.

Они — молодой народ. Они не повторят ошибок Франции; у них не будет Шатобрианов. Они на земле построят неведомые миры.

Главное — действие, действие, действие. Иначе

этот огонь, защемленный в груди,— он сожрет, он пожрет его самого.

Он положил книжку поверх других — она так и лежала, места уж не было,— подошел к окну.

Старый двор... старый дом...

Да... чего-то он недодумал...

И вот теперь, после этих новейших и новых странствий, после всех встреч, разговоров, Милана, Вены, Рима и Альп, зеленых и солнечных, после Парижа и вновь океана, и обещания другу-учителю Симону Родригесу посвятить свою жизнь борьбе за свободу, обещания, которое можно было и не давать — так крепок, невыносим и властен огонь в груди, огонь, давящий и раздирающий грудь,— он возвратился в свой старый... в свой старый дом...

И вот нелепый камин, и щипцы, и стол, и двор с золотисто-голубыми цесарками за окном, и само окно, и паркет, и книги, и старая пыль, шелест листьев, скрип половиц под ногами старого Пабло...

Да что это? Уж не эти ли годы, которые бурно и грозно шли, кипели вокруг,— уж не они ли приснились душе? Не они ли?

А это — и комната, и дворы, и шорохи — это явь, и... и не было ни Марии, ни Мальо, ни океана, не было ни Парижа, ни Бонапарта, ни Вены...

Нет.

И тут же, как уж не раз бывало с его душой, она вдруг четко и ощутимо узрела все будущее, всю жизнь, все дела и заботы, которые ждали ее — и его, ее властелина и обладателя! — впереди.

В этой жизни, в Венесуэле.

И он запомнил тот день.

* *
*

Годы шли, и кипела жизнь.

Отважный и деловитый Миранда думал за многих. Он путешествовал по Европе, он усиленно пробовал почву в Англии; он готовил оружие, командиров и волонтеров. Меж тем Карл Четвертый, о котором уж думалось, что он неизбежен и вечен, в одно прекрасное утро исчез: использовав народные волнения, его низложили сторонники его собственного сынка, Фердинанда, и провозгласили последнего королем, ожидая от его молодого рассудка и воли новых поблажек придворным и одновременного упорядочения финансов — что, как известно, несовместимо. Обиженный и исчезнувший Карл объявился тем способом, что призвал на собственное чадо Наполеона. «Революционному императору» было только того и надо: он давно замышлял разгром Англии и поход на Восток; но для этого требовались фрегаты Испании, прочные крепости и тылы на юге. Испанцы судили иначе, и началась война; народ вставал с вилами и с воплем «Да здравствует Фердинанд!» бросался на синих гусар и мортиры; кастильские женщины, распустив до пояса смоляные волосы, с нечеловеческим визгом кидались на раненых парижан, провансальцев, гасконцев и добивали их, протыкая ножницами сразу два глаза. Положение осложнилось; французская армия втягивалась в войну, испанской армии вообще не существовало — да коренные испанцы и презирали регулярные армии! — но герилья, народная война, росла, и войско в 80 тысяч улан, гусар, гренадер, таяло с каждой минутой и часом: выступ скалы, узкая улица с поворотами, балконы, сады и лестницы не сулили ничего доброго. Наконец произошло более или менее официальное сражение,

и никому не известные испанский бирюк Кастанос и человек с сомнительной фамилией Рединг разбили блестящего генерала Дюпона. Конечно, разбили не они сами, а эти головорезы с повязками на лбу, которые с воплями кинулись на штыки и, не обращая внимания на стрельбу и убитых товарищей, резали ножами европейцев-французов во имя своих раскаленных от полуафриканского солнца скал, своих виноградников, сыра, коз и овец, неприкосновенных для проходимцев с востока. Конца этой истории не было видно: 80 тысяч есть 80 тысяч, но и кастильцы и баски есть кастильцы и баски.

Меж тем в южных колониях царила растерянность. Слухи один другого нелепее приходили в ранге последней и окончательной, не терпящей сомнений истины, и рушились тут же. Как-то в порт Ла-Гуайра вошел французский корабль. Оказалось, что ныне законный король «обеих Испаний», заморской и здешней,— брат корсиканского императора, пьянчужка Жозеф, а вице-король, губернатор южной Америки — маршал Мюрат, этот индюк на тощем коне. Жители Каракаса вышли на улицы: «Да здравствует законный король Фердинанд Седьмой! Долой Пепе Бутылку!» Они мгновенно забыли испанские издевательства: покой дороже. Французы прыгнули в лодку и налегли на весла, спеша на корабль, ожидавший под сенью крутых прибрежных гор бухты Ла-Гуайра. Вскоре они повстречали английский корвет, который спешил им на смену и прихватил их в плен. Его капитан сообщил в порту, что в Севилье правит испанская хунта, которая провозгласила законным королем Испании и обеих Индий Фердинанда Седьмого, вступила в соглашение с Англией и объявила войну французам. Так продолжалось до бесконечности. Генерал-капитан бездействовал. Вяло внимал он сло-

вам французов и англичан, словам представителя хунты, прибывшего вслед за корветом. Но наконец он признал Фердинанда.

Молодые креолы бесились, но ничего не могли поделать. Казалось бы: что, как не объявление о независимости, могли принести эти смутные дни, смешавшие всё устои, правительства и законы? Но нет. Ни народ, ни маркиз де Торо — негласный наставник всех патриотов — на деле не помышляли о переменах и лихорадочно, тупо искали, кому бы подчиниться — только бы не самим себе.

Все эти речи немолчно кипели в Эль-Палито — пригородном поместье Боливаров, «креольском конвенте». Речи кипели, но толку не было.

Наконец терпение лопнуло. 19 апреля 1810 года народ Каракаса низложил испанского наместника и отдал власть Патриотической верховной хунте — национальному правительству.

Незабываемые события!

...Обращение хунты ко всем городским управам — кабильдо — Испанской Америки, ко всем ее жителям, «в которых долгая привычка к рабству не смогла ослабить моральных устоев». Миссия Боливара в Англии, где он вместе с верительными грамотами своей ненаглядной хунты в рассеянности вручил маркизу Уэлсли тайные предписания этой хунты. Небрежность, восторг и туман в голове!.. Хунта была патриотическая — но называлась, однако, «Верховной хунтой по охране прав Фердинанда VII». Печальные, бестолковые, но и внутренне бодрые времена. Все кипело, кружилось, боялось, ленилось, хитрило, надеялось; а крови при этом не было.

В декабре 1810 года Симон Боливар опять вернулся в Венесуэлу, предварительно в Лондоне уговорив Миранду приехать на родину. Через несколько

дней веселое население Каракаса с весьма легкомысленным воплем восторга встретило убеленного снежными сединами, красивого, представительного, серьезно настроенного Миранду. Время шло. Одни были за испанцев, другие — за национальную хунту. Дело не двигалось, нет. Патриотическое общество увязало в спорах. Маракайбо, Коро, Гвиана кричали: «Да здравствует король!» — даже не зная уже, какой король необходим их душе: Карл, Фердинанд или деятели регентского совета в Кадисе. Каракас требовал независимости и объявил начало конгресса. Конгресс заседал, ничего не решая.

4 июля 1811 года в Патриотическом обществе держал речь Боливар.

Он говорил:

— В национальном конгрессе спорят о том, какое принять решение.— И тут же он напряженно возвысил голос:— И что же говорят нам? Что, прежде чем объявить независимость, надо объединиться в конфедерацию.— Он особенно ударял на первую половину фразы: «прежде чем». Лишь бы, мол, не спешить.— Как будто мы все не едины против иностранной тирании! Какая разница, продаст ли нас Испания Бонапарту или будет впредь владеть нами как рабами... Эти сомнения показывают, что над нами все еще довлеет старый порядок. Нам говорят, что большие решения следует принимать, хорошо поразмыслив. Разве трехсотлетнего господства испанцев было недостаточно для размышлений? Конгресс... должен прислушаться к голосу Патриотического общества... Заложим же бесстрашно краеугольный камень южноамериканской свободы! Проявить нерешительность в этом вопросе равносильно поражению... поражению!— повторил он, и все увидели то, что уж знали за ним, за Боливаром.

Слова были общие, но лицо, но глаза, но весь вид его говорил: «Скорее, скорее... скорее! Уж будет поздно! Скорее! Промедление смерти подобно! Я горю... мы горим... скорее! Вперед! Не успеем! Для чего нерешительность, толки, раздумья? Ведь это так просто — действовать! Жизнь коротка! Коротка!.. Ведь это так просто — прийти и взять! Действие — проще всего! Действие — всегда облегчение, бодрость, свежесть, ледяная вода в жару; нерешительность — всегда тяжесть, томление, зной и пыль, и тяжелые сапоги... Скорее, скорее! Там свет, там сияние, там вода с мириадами радуг, с покоем и свежестью, и прохладой».

Так говорило его лицо, говорили его пылающие глаза, взмахи рук,— пока он произносил свои радостные, порывистые, свои простые слова.

* *
*

И они пошли — понесли это пламя в конгресс.

И конгресс был словно бы взорван и подожжен этим тихим, незримым, бесшумным пламенем: он почти единогласно — без одного — голосовал независимость милой Венесуэлы — ту независимость, которая родилась еще год назад, но еще не была законна — как дитя счастливой, но позабывшей условность любви.

И крови не было.

И против был только один — поп Мануэль Висенте Майя. Проклятый раб Ватикана; но пусть, пусть будет жив.

Конгресс утвердил государственный флаг — флаг республики и свободы: желтое, синее, красное.

И он взялся за конституцию: федеративная форма правления. Исполнительная власть — три лица, ежемесячно сменяющие друг друга. Свобода печати,

свобода собраний, отмена феодальных повинностей, титулов, привилегий церкви. Конец работорговле; индейцы, метисы равны с креолами и испанцами и со всеми белыми.

Работорговле конец, но рабство еще осталось. И земли у мантуанцев, и...

Ладно. Долой подробности. Не все сразу. Дойдем и до этого... мы дойдем.

Радость! Сон! И ни капли крови! Да нет, капли были... но нет! Почти нет! Радость! Сон!

Главное, что осталось от этих дней,— чувство, что ты не сам по себе: не тело, не кости, не тот Симон, не Боливар, а некий радостный, взбалмошный человек, на коего кто-то смотрит со стороны и завидует его легкости, милому разуму и веселью...

5

То блаженное, утреннее настроение в сердце, которое посещает во дни пасхальной недели, как-то не клеилось в эту весну. В чем было дело, неясно; впрочем, все жаловались на особенную духоту, царившую в пропаренном за эти месяцы воздухе.

Наступил страстной четверг; утро занималось сухое и ясное, люди выходили на улицу, лениво и както задавленно топчась у стен, вяло упирая руки в бока, прижмуренно, недовольно поглядывая вокруг:

— Как месса?

— Капеллан уж к среде охрип — то ли от латыни, то ли от рому.

— Ну да. Эти попы. Но бог, он все видит.

— Конечно, конечно.

 — Да, поздравляю: в четверг, на Пасху, два го-

да назад, появилась хунта. Два года назад в четверг мы стали свободными.

— Да?

— Точно.

— Что за чертова духота. Святая Мария, прости меня.

— Да. Небывалое небо, необычная духота.

— Сегодня из Калабосо приехал племянник, рассказывает...

— Что? Что?

— В Валенсии, там совсем не так уж спокойно, как пишут в «Гасета де Каракас». Монахи призвали к сопротивлению республике.

— Но что они могут знать — в Калабосо? Валенсия далеко.

— Нет, друзья, ведь это неважно. Слухи идут кругами, они не летают, как кондор.

— Хватит, Люсино. Знаем мы твой язык. Ему бы жернов крутить.

— Да, сухо.

— Ну что в Валенсии?

— Мятеж не подавлен. Боливар расколотил их раз пять, но толку нет. Миранда не знает...

— Да что, уж если они и здесь, в столице, устроили ту резню, помнишь, в начале года?

— Еще бы. У меня зятя стукнули палашом по башке — хорошо, хоть плашмя. А он, полоумный, приносит хоругвь, говорит, отнял у монаха, который орал «Смерть предателям». Я говорю: отнеси, дурак! Отнеси назад в церковь! Сегодня тут хунта и все такое, а завтра...

— Да... хунте два года, а церкви — тысяча лет.

— Больше, брат.

— Разве больше?

— Ладно. Пойдем, поздно.

— Но что же в Валенсии?
— Привязался. То самое.
— Но чего им надо?
— Чего! Короля, мирной жизни.
— Испанцы дадут им жизни! Заманят, а после? Они что, вчера родились?
— А ты-то когда родился?
— Я?
— Ха-ха-ха.
— Эх. И напрасно все это... Худой мир лучше доброй ссоры. Порежем друг другу глотки, а после там разбирайся: испанцы, креолы или канарцы, а льянерос? О, вы не знаете этих людей из степи.
— Да, льянерос, люди степи...
— Почем просо?
— А полтора реала.
— Ого!
— А что им, в своей Боготе?
— Ну, там тоже не сладко.
— У них поумнее хунта.
— Когда же Лолиту замуж?
— Да вот, пора.
— А жених? Мантуанец?
— Нет, приезжий; индиго на Кюрасао.
— Ого! Это что же? Уж не голландец ли, не датчанин? Не наш?
— Нет, почти наш. Из Тунхи.
— Ну, это ничего. Свои. Оба привыкнут.
— Привыкнет. Она спокойная, любит работу.
— Да, хорошо, коли такая дочь; а моя племянница юбку в руки — и фи-и-ить...
— Ха-ха.
— Да что за погода! И солнце, а вроде... чего-то ждешь.

 Небо сияло резко и ослепительно.

Оно казалось не голубым, а белым и вроде хрустальным и сбоку политым лучами расплавленно-бледного, жесткого солнца. Сквозь эту нежную желтизну виднелась невыразимая и тоскливая глубина; все небо, весь купол, насколько его охватывал глаз, казался пронзающе, заунывно прозрачным, он втягивал, всасывал душу своим замученно-белым сиянием, и мерещилось: только вглядись, вглядись еще раз и поглубже в это — и что-то увидишь. Жара, и сухость, и духота незримо сгущались, бесшумно ползли на город. Издревле зеленые холмы и Силья, окружившие белый город, были по-прежнему ярки и сочны на взгляд, но взирали печально и отчужденно; они как будто бы нечто знали, они говорили своей густой и задумчивой зеленью: «Нам-то что — нам это все равно; но вы-то — смотрите, смотрите... Смотрите. А впрочем, нам все равно». Улицы, белые одноэтажные дома с балконами и мансардами — все дремало, все было тихо, все ждало чего-то; сбитые с толку люди бродили по хмурым в сияющем солнце улицам, смотрели на небо и друг на друга, придушенно говорили и не могли дознаться в чем дело.

Белое, в глубину уходящее, грозное небо. Плотная и бесшумная духота, сгущение тайных сил. Зеленые холмы Каракаса. И небо, небо, небо. И улицы, и дома, и пальмы; и аккуратно мощенные патио.

В четыре часа, на первом склоне к вечеру, небеса неожиданно посерели и потускнели и капнуло несколько освежающих, бодрых и крупных, как денежки, капель.

И тотчас же, будто в ответ на этот коварный, тайный сигнал, небо немедленно потемнело и вздрогнуло два-три раза неслыханной, непонятной и несомненной дрожью. Во всех дворах дружно заблеяли овцы и козы и замычали коровы; уныло и низко

завыли собаки. Раздался протяжный грохот, как будто на город со всех сторон валились крутые холмы во всей своей остро-зеленой зелени; но они спокойно стояли в растущей тьме, и среди заметавшегося народа никто не знал, откуда же грохот. Из комнат, в которых неистово закачались зыбки на их крюках, подвесные цветы в горшках и светильники, побежали, прижимая к себе младенцев, собак, ягнят, петухов, цесарок и кошек, те люди, которые еще оставались дома; они столкнулись с теми, что ринулись с улиц по своим домам, патио, под тростниковые навесы; тут же образовался водоворот толпы, людей закрутило, послышались первые, будто звериные, крики, и стоны, и плач детей; немногие опытные и хладнокровные люди, сообразившие в чем дело (не первый день в Америке!), тщетно призывали к порядку: их крики лишь усиливали общий истошный вопль; взвизгивали, лаяли и выли собаки, мычал и блеял скот, ринувшийся на улицы сквозь треснувшие заборы, поднялась буро-желтая пыль, и во мгновение ока стемнело; и сквозь шумы, и смрад, и мглу глаза различили, как два-три раза шатнулся вправо и ужасающе накренился узкий и стройный купол со шпилем — и с величественным, протяжным грохотом, сопутствуемым верхним и мелким треском дерева, черепицы и кровельной жести, рухнула церковь у первого перекрестка от площади. Толпа и животные смутными волнами кидались то в ту, то в другую сторону — и откатывались, встречаемые бурой пылью и громом. В пыли, полутьме под ногами зияли неизвестно откуда взявшиеся рваные, грозные трещины, дышащие и жаром и свежим, мощно разодранным и перевернутым незримой чудовищной силой влажным нутром земли; люди, коровы, собаки падали в эти трещины, которые порою тут же сходились, наглухо

замыкались над жертвами. Иногда, как отрезанный с двух сторон, ровно оседал вниз длинный ломоть земли; и дико было видеть какую-нибудь зеленую, розовую и фиолетовую клумбу меж двух отвесных и рваных глиняных стен, с клубами дыма и пыли над розовым и зеленым — и тут же стены смыкались, и дыбилось место их шва — и бежал прочь обезумевший человек. Рыжая корова провалилась под землю двумя ногами и, хрипя и ревя, карабкалась передними копытами по обрыву, пытаясь выбраться; ходили вокруг лопаток ее невиданно напряженные и лоснящиеся мускулы. Вдруг стены снова сошлись, и верхняя часть коровы застыла, выкатив остановленные зрачки. Но тут же послышался раздирающий, сочный треск дерева: складки земли и вывороченных из нее камней мощно сплющили чью-то повозку с верхом из гнутых прутьев, и треск основы ее слился с мелким и суматошным треском тысяч тоненьких веток. Густая пальма застряла меж двух искрошенно-известняковых, в плавленой глине глыб, выступивших из самой середины улицы, и образовалось нечто вроде моста над нею; но глыбы вздрогнули, разошлись, и пальма, упав, придавила ребенка, ползшего на карачках по юрким, колеблющимся булыжникам. Сквозь искрошенные дома туманно виделись патио, в которых, наезжая одна на другую, выворачивались каменные плиты. Фонарь на своем столбе весь трясся, ходил ходуном, ронял стекла, вращался туда-сюда, но почему-то не падал, маячил сквозь дым и пыль, как черный скелет во сне. Дома и дворики с их камнями вздымались и корчились, как соломенные: они послушно повторяли в своих изгибах и корчах изгибы волнующейся почвы; порою казалось: гигантский змей или червь проснулся под Каракасом и начал ворочаться, изгибаться и рваться на волю, к свету,

забыв, что над ним и холмы, и дома, и дворы, и люди. Вечность за вечностью длились тьма и грохот; рушились и дома и церкви, на островках твердой земли, где собирались кучки обезумевших граждан новой республики, вдруг со страшным рычанием возникала трещина где-нибудь в самой средине надежной и твердой, казалось незыблемой, почвы; и с громким рыданьем толпа бросалась куда-то прочь, и под бегущими ногами что-то тряслось, бурлило, и клокотало, и дыбилось, и дико и странно было смотреть, как земля, твердая, бурая и рассыпчатая, пузырилась и корчилась под подошвами, словно протухшее и болезненное болото.

Когда улеглось клокотание и небо слегка разведнялось, голубеюще прояснилось, нереальное и ужасное зрелище оказалось перед глазами тех, кто остался жив. Вместо церквей и домов лежали уродливо разодранные груды обломков стен с пустыми глазницами окон. Странная сила перекорежила камни и кирпичи; некоторые из обломков были как бы заверчены, перекручены, и все они были обломаны и оборваны не по естественным швам жилища — углам, соединениям, а совершенно случайно и беспорядочно: наискось, треугольником, поперек стены. Кругом торчали мерцающими, острыми и живыми краями камни, разбитые посредине. Казалось, кто-то хмельной и праздный прошел среди жалких жилищ — и ломал, не соблаговоляя соразмеряться с удобством ломки и экономить силы. Торчали гнутые стропила и балки, запыленно и бледно глядели предметы домашнего и церковного скарба, придавленные камнями и мелким щебнем. Там уголок клавесина, там темная бронза люстры, там канделябр и стальная чаша. Развалины вкрадчиво, тихо дымились, земля еще дрожала и колебалась. Душеразди-

рающие крики и раненых и людей, глядящих на свои бывшие дома и замечающих руки и запыленные головы бывших детей, бывших родных, торчащие изпод хлама, камня и щебня, и невыносимый шум уцелевших животных полнили смутный воздух. Дымилось, дымилось... дымилось. Светлело небо, которое за этой полукоричневой дымкой было опять голубым, как ни в чем не бывало. Люди ходили молча, опустив руки и не узнавая друг друга, глядя один другому в лицо неподвижно и исподлобья, бессмысленно останавливаясь один перед другим — как бы не зная, как обойти это непонятное, неизвестно откуда взявшееся препятствие.

Наконец кто-то догадался взглянуть на свои уцелевшие луковицу-часы. Было двенадцать минут пятого. Землетрясение продолжалось около десяти минут. Первый толчок (минута) разрушил почти весь город.

— Господи-и-и,— донеслось с исковерканной площади.— Господи Иисусе, пресвятая дева Мари-и-и-я-а-а-а...

И в торжественном, радостном, горестном, праздничном пробуждении люди заголосили, запели на разные голоса:

— О святая дева Мари-и-и-я-а-а-а, прости грешных.

О, осквернили мы, осквернили святой четверг.

Мы несчастные, мы безумные.

Что мы делали, что мы делали тогда, два года назад, перед закатной божьей молитвой.

Перед закатом...

* *
*

Через час-два непонятно как стало известно, что в столице погибла треть жителей; что Ла-Гуайра мер-

тва наполовину; что разрушены многие города и общее число жертв — раненых и убитых и пострадавших — 120 тысяч; что армия республики потерпела большой урон; что города Коро и Маракайбо, оставшиеся под властью испанцев, под властью короля Фердинанда VII,— целы и невредимы.

Земля еще дымилась, дымилась.

На площади, влезши на чей-то стол, извлеченный покорными слушателями из-под руин, черный францисканский монах в запыленной сутане, с окровавленным лицом учил молчаливых и робких республиканцев:

— Дьяволова слава Содома и Гоморры ждет вас. На что посягнули? Вы думаете, на генерал-капитана и на его слуг? Вы думаете, вы посягнули только на всемилостивого короля Фердинанда? О легкомысленные! Не ведаете, что творите. Вы посягаете на вечное, как мир, на вечное, как вселенная. Вы посягаете на такое, чем держится ваша бренная, ваша земная жизнь. Пошатните устои сегодня — и вы уж не будете знать никаких устоев. Вам все будет шатко, противно и беспокойно. Вы будете вечно в поиске — и ничего не найдете. Земное сообщество несовершенно, оно целостно только памятью, и преданием, и верой... А вы? Чего вы ждете? Куда вы идете? Вы, беспокойный и темный народ — вы не успокоитесь в море, отчалив от берега. Берег, он, может, плох, он скалист, но он — берег. А море, даже если оно день-два сияет голубизной и багрянцем,— оно море, море. Куда вам, грешные! Господь бог, наша дева Мария в последний раз вам напомнили ясно и грозно: остановитесь, они напоминают вам ради вашего же блага...

Монах пошатнулся; в следующий же миг, взмахнув полами, подняв облачко пыли, он куда-то исчез:

невидимая для стоявших пред ним, но уверенная рука стянула его со стола. Стоявшие там, сзади, тотчас же подхватили его на руки, но уже было не до него: на столе стоял Боливар, бледный, взлохмаченный и едва не рыдающий от горя, от бешенства, от желания что-то выразить в бедных словах. Он расставил ноги в ботфортах, в грязных белых лосинах; офицерский черный мундир его был изодран под мышкой, лицо перепачкано; бурая грязь четко выделялась на бледной, зеленовато-желтой коже. Он поднял руки, будто желая охватить толпу,— и заговорил, глотая и обрывая голос, и полный бессильного и невыразимого будто, но тем самым и зримого, и огромнейшего желания убедить, доказать ту правду, в которую верил он безоглядно; и все это видели:

— Граждане! Соотечественники. Республика...— Он не мог говорить; ручьи пота катились по щекам, размывали грязь; он глотал, задыхался.— Я... я сейчас оттуда; мы раскапывали тела, помогали... тем, мы... все, все... мы все сделаем, чтобы помочь... О это землетрясение! — голос его ожесточился, сверкнули белые зубы из-под темных усов, мелькнули бронзовые кулаки.— О это землетрясение! Природа!! Бог!!! — Лицо его побледнело до нестерпимых пределов; казалось, его вот-вот задушат истерика, сумасшествие или удар.— О!! О!!! Граждане!.. Я ничего не могу сказать... Я... Но если природа против нас — мы будем бороться с нею... Мы будем бороться... против самого бога, коли он — на нашем пути!.. Нет его!..

Земля вокруг дымилась, дымилась тихо и равнодушно; лежали руины церквей и домов, молчали угрюмые «республиканцы» вокруг, в зачарованной задумчивости глядя на говорящего,— и стоял, стоял над ними небольшой и худой человек, произнося

свои страшные, замученные слова, грозя кулаком и глядя поверх голов.

Руины дымились, дымились.

* *
*

Миранда молча, с великолепным испанским достоинством встал, повернулся, размеренным шагом вышел из комнаты, негромко, но четко хлопнув простой деревянной дверью этой нехитро обставленной конуры.

За столом помолчали минуты две. Все собравшиеся понимали умом, что Боливар был прав в своих остротах, наскоках на генерала революционных войск, усмирявших попов и испанцев; но душою невольно сочувствовали спокойному, убеленному сединами Миранде. Но вот Мануэль произнес:

— Ну что же.

Они опять помолчали, глядя в какую-то общую точку посредине этого голого стола и не сговариваясь, выложив сцепленные руки перед собою. Один Мигель сидел развалясь, задумчиво положив локоть в темно-синем рукаве за низкую спинку кресла, да Пабло покачивал ногой под столом, что слегка пошатывало стол, рождало пищащие звуки и увеличивало нервозность.

— Перестань ты качать ногой,— сказал Боливар, но ни Пабло не перестал, ни Боливар, как и никто другой, не обратили на это внимания. Свеча слегка трепыхалась в узком и длинном подсвечнике ближе к правой от входа грани стола; тени ходили по гладкому дереву.

Было жарко и влажно; но многие сидели в мундирах. В любой миг они были готовы вскочить, бежать на корабль, скакать, стрелять, кричать; и бес-

сознательно были внешне расслаблены, экономя силы: расстегнутые мутно мерцающие латунные пуговицы, обвисшие плечи.

Быть может, в немногие эти минуты в умах и перед глазами шло, трепетало, бесилось многое, что они пережили в последние дни, в последнее время.

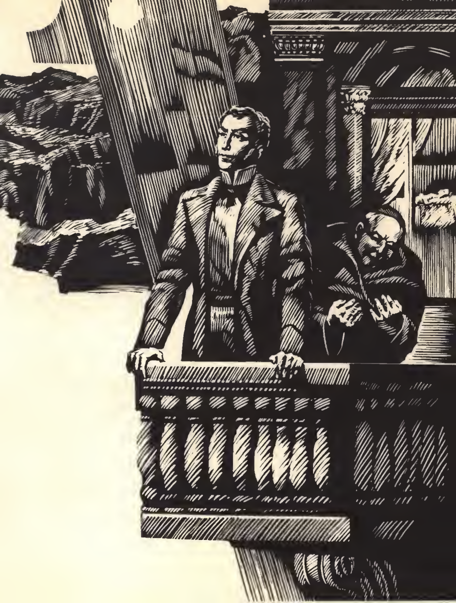
Паника после несчастья. Уговоры и разъяснения для народа, ораторы от хунты, ораторы от Патриотического общества. Чем больше заискиваний и разговоров со стороны правительства, тем больше озлобленность, раздраженность, угрюмство со стороны населения... «Декрет против предателей, бунтовщиков и противников правительства»: смертная казнь за панику и сопротивление свободе. Смерть за сопротивление свободе? Но что это за свобода, которая... такие слова тотчас же зазвучали среди самого правительства, среди патриотов — этих воспитанников Просвещения. Декреты не проводились в жизнь. Тем временем на Каракас вел полки испанец из ненасытно выслуживающихся и потому рьяных в войне выскочек — Монтеверде. «Полки» — это сильно сказано (при начале похода у капитана Доминго было лишь 230 разбойников да сутана-Торрельяс для поддержания духа), но дело тут было не в цифрах. «Республиканцы» Венесуэлы, жаждущие надежного, прочного быта, надежного, прочного и понятного короля, ненавидящие богатых креолов, министров какао, индиго и табака, укрепленные в своих чувствах после грозного чуда — землетрясения,— приветствовали Монтеверде и легко уступили ему города и селения, имевшие глупость стоять на его неуклонном пути к столице. Индейский вождь Рейес Варгас со всеми своими воинами, в боевом снаряжении похожими на попугаев и индюков, присоединился к испанцам — которые вот уже триста лет расстреливали, вешали,

кормили кипятком с жидким перцем, сшивали спинами, потрошили его бабок, прабабок, дедов, прадедов, матерей, отцов — и обратил свои копья и оперенные стрелы против неистовых горожан-каракасцев, ведущих речи о равенстве, о природе, о разуме: для чего они прогневили бога? Зачем засеяли берега Ориноко непонятными, злыми растениями? Для чего ополчились на короля, на владыку? Зачем говорят о равенстве белых с цветными, о братстве и о природе? Все ложь. Долой! Эти — хуже наместников короля: те ясны и понятны, а эти — нет. Кровь и смерть.

В Кароре, Сан-Карлосе и Валенсии Монтеверде вырезал где поголовно, а где почти поголовно все население, но этим не отрезвил новоявленных граждан республики, а вызвал восторг у льянерос — людей из степи. Сержант Антоньясас прибыл в районы льянос, занял город Сан-Хуан де лос Морос, где лично участвовал в поджоге домов и резне женщин и детей. Затем он отправился в степи. Льянерос повально вливались в его отряд: в городах, которые будут завоеваны, их ждут алмазы, золото, волшебные женщины и настоящее, а не пальмовое вино, и они отомстят проклятым владельцам земли, проклятым помещикам, мантуанцам: кровь, кровь, кровь и больше ничего — за вечную нищету и звериную жизнь.

Между тем Миранда сдавал города без боя. Его поведение было необъяснимо. Нельзя же считать за объяснение те странные, малодушные и пустые слова, которые твердил он молодым офицерам:

— Пусть они успокоятся. Пусть поймут... успокоятся сами. Не надо гражданской войны. Вы не понимаете, какие силы мы выпускаем из кувшина. Мы страшный народ. Пусть они успокоятся. Валенсия не стоит несчастия и крови всей нации. Пусть.



Наконец его вынудили, и он дал сражение у Виктории.

И победил. Монтеверде бежал в растерянности. Офицеры наседали на генерала, генералиссимуса, но он наотрез отказался преследовать разгромленного врага. Тот, оправившись от первого ужаса, вновь собрал силы — немалую роль тут сыграли льянерос — и снова двинул их на Миранду, на патриотов. Снова ручьями полилась республиканская кровь, и погибло людей во много раз больше, чем погибло бы, если бы Миранда добил отряд Монтеверде. И притом людей своих — честных, искренних, молодых, или просто убогих — старых, и малых, и женщин. В воздухе возникло слово «предательство». Миранда объявил всеобщую мобилизацию. Но какую мобилизацию проведешь среди парней, любой из которых в течение полутора минут может выпрыгнуть из окна, плюхнуться па скаку на бегущего своего скакуна (чует волю хозяина) и исчезнуть в облаке рыжей пыли в направлении льянос или диких зарослей близ Ориноко?.. Миранда объявил свободу рабам, но после десятилетней службы в армии; а какому рабу охота менять веревку на шее на красный воротник, жертвовать жизнью во здравие своего же помещика — мантуанца? Да и какой же раб останется равнодушен, когда сержанты Монтеверде твердят ему, что король Фердинанд — там, в Мадриде,— жалеет раба, нéгра, самбо или мулата, а креол, мантуанец, обманывает его? Нет, это все не меры.

Миранда послал гонцов к англичанам на остров Тринидад, но факсимиле и печати маркиза Уэлсли и лорда Кэстльри выглядели смешно, когда за окном виднелись огромные густо-зеленые массивы Карибских Анд, поднималась пыль под копытами тысяч коней голодранцев из льянос.

Ничего не выходило в этой стране: она не подчинялась никаким обычным законам; или ничего не выходило у Франсиско Миранды — хваленого генерала, генералиссимуса. Но как могло не выходить у Миранды — умного, тонкого, опытного, убеленного сединами? У Миранды — победоносного генерала французских революционных войн, старого конспиратора, заговорщика, революционера?

Предательство?

Предательство...

Но это слово несоединимо с Мирандой.

Молча сидели они, опустив свои лохматые черные головы, глядя в одну точку посередине стола и не продолжая разговора даже после дурацкой фразы мычащего Мануэля.

О чем было разговаривать? Все было ясно. В этот таинственный, влажный, мерцающий, пронзительный вечер все они молча и ясно чувствовали, что какая-то неодолимая сила влечет их — куда, неведомо, «будем надеяться, что вперед»,— и они, готовящиеся к решению, такие гордые, сильные, волевые, в сущности, не властны над этим решением и «принимают» его лишь формально, словесно. Оно дано заранее. Кто дал его? Боливар?

Да, он отважно сражался в Пуэрто-Кабельо, он с кучкой верных свободе мулатов и негров шесть дней боролся за крепость, заранее обреченную благодаря предательству Винони, договорившегося с испанцами, поднявшего население против патриотов и захватившего арсенал. Да, он тщетно слал за помощью в ставку к Миранде: генерал остался невозмутим. Да, он имеет право оскорблять Миранду и требовать ныне его ареста.

Но, кажется, он и сам теперь не уверен, что хочет этого.

А кроме того, все они, сидящие здесь, все они в сердце своем уверены, что Миранда ни в чем не виновен и в худшем случае — лишь уставший и изнемогший в борьбе старик, достойный сожаления, но не кары.

Так что же?

Что же мешает им встать, улыбнуться друг другу, пойти и позвать Миранду: мол, генерал Франсиско, вы не доели вашего сыра. И, видимо, он там, в тишине, в зловещем молчании и покое той комнаты,— он напряженно ждет их мирных, мягких шагов, их улыбающихся, доверчивых лиц.

Так что же?

Нет. Нет.

У них было чувство, что все решено заранее. Умом они понимали, что могут противиться этому чувству, что все зависит от них самих,— но не могли противиться.

Долго они сидели, переговариваясь о незначащем.

Они понимали, чуяли обнаженными в тот вечер сердцами, что сила, которая предварила решение,— великая и алмазная сила, что свеже-морозный, могильный ветер блуждает в потемках этого душного, влажного, тихо мерцающего в безмолвии вечера. Какая-то третья, более глубокая, более могучая сила в их сердцах, чем две другие,— более могучая, но и более беспомощная и бесплотная, некрутая, неощутимая,— говорила им, что решение их заунывно, морозно. Но они ничего не могли поделать.

Боливар видел их настроение, чувствовал их тоску и при этом думал, что собственная его тоска в этот пронзительный миг сильнее, чем у его товарищей, вместе взятых.

Но невыразимое пламя жгло, пожирало его дыхание, его незримо кипящую душу.

Вдруг оп почувствовал, что тоска его пасмурно рассосалась и кончилась — будто не было... он сам поразился и удивился: куда же она ушла? и где причина? и нет причины, была и нет.

И он тут же забыл и об этих вопросах, и вдруг — о знакомое чувство! — ощутил он себя молодым, и здоровым, и радостным, и физически сильным, и невыразимо спокойным внутренне, несмотря на внешнее возбуждение, пасмурность и нервозность... как ждал он этого мига...

— Что ж, хватит,— сказал он, вставая, кидая вилку на голую середину стола и грациозно, легко опираясь сухими, белыми пальцами в перстнях на край доски.— Мы все понимаем, что делать. Этого не избегнуть.— Он оглядел собравшихся, их унылые, но уже посветлевшие лица, и слегка усмехнулся.— Я беру это на себя.— Лица еще более посветлели, а Боливар еще презрительней усмехнулся, но никто не возмутился этим оттенком в его усмешке, в его лице.— Но один я не обладаю подобными полномочиями. Мы как-никак республика, демократия, мы свободные люди, а не тираны, не дикари.— Все вдруг одновременно чуть опустили головы.— Да, я настаиваю на этом,— спокойно сказал Боливар, глядя на их взлохмаченные, темнеющие в тусклом свете затылки. В позе его, в его голосе что-то было от самого Миранды, когда он встал и ушел из комнаты.— Мы — свободные люди, и поступим мы соответственно. Преступная медлительность и бездействие генерала Миранды стоили венесуэльской свободе бесчисленных жертв. Мы все ученики Миранды, мы долго терпели, но дальше мы не можем терпеть. Страдают другие люди, страдают женщины, старики... свобода. Если не можешь, то не берись за дело, но если взялся, то должен отвечать за него. К тому же он

запятнал себя этим золотом — никто теперь не поверит, что это деньги его товарища; так и останется: Миранда схвачен на корабле с казной республики. Это мнение народа, и с этим ничего не поделаешь. Надо было потерять всякое чувство освободителя, всякий разум, чтобы пойти на это. Такой человек не может остаться безнаказанным. Необходимо арестовать Миранду, и вы это знаете. Мало того, его необходимо расстрелять. Он сам поставил себя в такое положение. На нем кровь тысяч людей, и этого уже не изменить... Но законность будет соблюдена. Я выражаю лишь собственное свое мнение. Надеюсь, у нас никогда не будет доморощенных Бонапартов. Если вы не согласны — пожалуйста. Но если вы и согласны, я один не имею права арестовать Франсиско Миранду.

В словах его была полная искренность и уверенность в этом действии, действии, которое все спасет и все прекратит — только вперед, вперед... только вперед. Он посмотрел на лица; в них отражалась полная уверенность в его искренности, в том, что он знает что-то такое, чего другие не знают, и тайное облегчение, радость, что он берет на себя и дело, и первое слово. Он вновь усмехнулся чуть грустно; но в общем он в этот миг был строг, как светлый кристалл, и это было в его глазах и в глазах у всех.

Встали комендант порта Ла-Гуайра Мануэль Мария де лас Касас и губернатор города Мигель Пенья.

— Столица в руках проклятых испанцев, в крови и позоре благодаря Миранде,— пышно сказал де лас Касас.— Я готов подписать приказ об аресте Миранды.

— Я тоже, — угрюмо вымолвил Пенья.

В четыре утра в комнату, занимаемую Франсис-

ко Мирандой, вошли Боливар, суровый воин Монтилья и француз Шатильон — участник борьбы за чужую свободу.

— Вы арестованы,— глухо произнес после паузы ученик Миранды Симон Боливар, уверенно, молодо выдерживая прищуренный, тяжкий взгляд белоголового генерала, который, конечно, не спал.

— Вы способны лишь на бесчинства,— отвечал Миранда, брезгливо морщась и еще более суживая глаза.— Несчастные люди! Вы слепы. Когда-нибудь вы еще вспомните эти дни. Не мне убеждать вас, но счастья вам не добиться. Впрочем, не время для разговоров.

Его повели в тюрьму.

* *
*

...Комендант де лас Касас выдал Миранду испанцам. Боливар скрылся у маркиза Каса-Леона. Друг семейства Боливаров канарец Франсиско Итурбе уговорил Монтеверде дать Боливару разрешение на выезд из Венесуэлы...

* *
*

И вот республиканец и патриот Симон Боливар стоит перед столом улыбающегося, чернявого, скромно-великого Монтеверде — этого плебея из гор Кастилии. Слова, которые говорит Монтеверде, конечно, тщательно продуманы и, в сущности, не могут быть неожиданными:

— Вам дается паспорт, чтобы выразить благодарность за оказанную услугу в поимке врага короля — Миранды. Король великодушен, хотя зло, содеянное вами, не достойно прощения. Это вы, вы и такие, как вы, повинны в крови тысяч и тысяч ваших сограждан — жителей генерал-капитанства Венесуэлы. Если

бы не ваши вздорные идеи и истерическое подстрекательство, если бы не ваши споры и суета, крестьяне так и растили бы свой тростник, льянерос возили бы в город сушеное мясо, чиновники и священники исполняли свои обязанности, а горожане выделывали кожи, ковали железо и занимались другим полезным и мирным трудом. Дети играли бы, а невесты выходили замуж. А ныне...

Вся тактика, вся политика уплывала к черту; сердце гудело, огонь горел, и Боливар — презрительный, покрасневший и весь прямой, как шест,— гордо произнес:

— Я арестовал Миранду, чтобы наказать его за измену родине, а не для того, чтобы услужить королю.

Монтеверде, плебей, вовсе не был воспитан, как гранд или знатный креол Боливар: первейший закон этикета — при всех превратностях жизни хранить покой и невозмутимость — не полнил его кровь, не был растворен в его сердце. Он побледнел, как-то опустил углы губ, выкатил каштановые глаза и наморщил лоб; перо с заветной каплей чернил задергалось над бумагой. Минуту они смотрели в глаза друг другу: прямой, даже прогнутый назад, и задиристый как петух Боливар в свежем жабо — и нахмуренный Монтеверде в испанском угрюмо-синем мундире, весомо пригнувшийся над столом.

— Не принимайте всерьез этого шалопая, дайте ему паспорт, и пусть он убирается из этой страны,— послышался сзади внутренне испуганный, напряженный голос Итурбе.

Плебей Монтеверде очнулся... и усмехнулся. Непробиваемый здравый крестьянский смысл и слова Итурбе сказали ему, что лучшее — это...

Он вновь усмехнулся и опустил перо на бумагу.

* *
*

Оплеванный милостью капитана-испанца, оглушенный его словами, своим «участием» в деле Миранды со стороны испанцев, без состояния, некогда первого в этих землях, без чести и без друзей, без реальных надежд,— уезжал из Ла-Гуайры Симон Боливар.

Без этого без всего, но с легкостью в сердце, с тайным огнем в душе — и звездой впереди.

Какой? Он и сам не знал; он не видел ее ни в небе, ни — четко — в воображении, в сердце своем.

Он знал, что она незримо, но — есть. И все.

Кроме того, свежая, прочная, буйная злоба на Монтеверде, на испанцев — с в е ж а я, буйная злоба полнила его душу.

Кроме всего, он полон был ярости за судьбу Миранды; он, Боливар, не был виновен по умыслу, но был виновен по существу, и с бессильной (пока) злобой и жаждой мести в душе он сознавал это.

Однако же главное — нет, не в Миранде.

Кристальная жесткость в сердце.

В Европу? как бы не так, черта с два... поближе. Поближе. Скорей. Скорей.

Кюрасао. Да, Кюрасао.

Действие, действие; все впереди.

Все впереди, все ясно.

Скорее.

Рассказывает Миранда

Я не принадлежу к числу людей, полагающихся на случай. Конечно, в жизни вселенной много чудесного, но человеку не следует рассчи-

тывать на чудеса, не подготовленные его собственным разумом, его деятельностью и энергией.

Я каракасец, сын Венесуэлы, хотя за годы, десятилетия странствий я мог бы и позабыть об этом. Нет, верно, такой страны в цивилизованном и полуцивилизованном мире, которую я не посетил бы, где не имел бы бесед с людьми наиболее просвещенными, представляющими честь и силу, разум народа. И я не только говорил — я действовал. Много я видел, много я думал и узнавал. Но везде оставался я все-таки сыном Венесуэлы — сыном зеленых холмов Каракаса. Пусть говорят, будто я даже не видел реки и сельвы.

Не знаю, в чем дело. Есть дикая, странная власть в этой зеленой, в этой туманной стране, в ее полуденном солнце, пальмах, в зеленой и желтой воде Ориноко. Жизнь подтвердила впоследствии, что не я один заражен этой тайной, этим магнетическим чувством.

Весь разум свой, все силы своего сердца направил я на заветную, главную цель своей жизни. А разум мой был широк и велик и деятелен, и энергия, силы мои — велики. И я ничего не хотел совершать наобум — я все подготовил, продумал, я посвятил этому жизнь, энергию, состояние.

Где был я, с кем говорил, что делал? Англия и Германия, Вена, Италия и Россия. Я не гнушался иезуитами, я хитрил с Потемкиным. Я стал французским генералом и русским полковником, я ползал по карте мира, расстеленной на полу, стукаясь лбом с Питтом-старшим и Питтом-младшим, я имел дело с прелатами и пиратами, контрабандистами и масонами, Наполеоном и чиновниками Кастилии. За мою голову всемилостивейший король давал 30 тысяч песо, но этого не хватило бы, чтобы расплатиться с моими долгами. Я истратил свое состояние, я делал эти

долги и рисковал, рисковал, рисковал своей жизнью ради одного: подготовиться, все предусмотреть. Я стал величайшим из конспираторов. Аминдра, Мартин, Меерофф, вообще полтора десятка тиранoборцев, революционеров, при имени которых ежились всякие фуше, фердинанды и талейраны,— все это я, Франсиско Миранда. И все ради одного, одного.

Я закупал оружие, я вербовал волонтеров и снаряжал фрегаты, корветы и бригантины. Я крепко надеялся на англичан, но они подвели меня: они сами хотели владеть моей родиной, а не видеть ее независимой. Глупцы! Они не знают льянос, они не знают креоло-испанской, индейской, короче, американской расы! Впрочем, чего же хочу я от питтов, уэлсли, кочренов и прочих, если и сам я — американец, венесуэлец — не знал своей родины... Вернее, я знал ее, но как-то забыл об этом в своих скитаниях...

Второго февраля 1806 года я отплыл на своем «Леандро», названном в честь моего сына, по курсу Венесуэлы.

Я не забуду этих недель в океане, между Северной и Южной Америкой. Свободные волны гуляли вокруг до самого горизонта, сияли небо и солнце, прекрасный и свежий ветер трепал мои волосы, овевал мне грудь, и сердце мое умиленно кипело от радости, бодрости, ожидания. Цель моей жизни, к которой я шел всю свою жизнь столь долгими и кружными путями, казалась близка. Все было хорошо. За спиной были сотни волонтеров и поддержка Англии и Соединенных Штатов, трюмы отяжеляло оружие и новое снаряжение, впереди была родина и сражения за правое дело, которое я надеялся отстоять. Увы!.. Как быстро рассеялись эти надежды... Только и остается в моей душе, что светлый и солнечный отблеск тех дней в океане — дней света и ожидания...

Я не забуду пустынный Коро — первый город родины, в который ступила моя нога после стольких лет. Лишь потом я узнал, что священники «объяснили» народу, будто я продал родину англичанам, и заставили жителей оставить дома и улицы, уйти в степи и горы, пугая их английской расправой. Впрочем, кто знает... В жизни не перестаешь умнеть, и теперь я достаточно умен, чтобы понять, что эти жители, может быть, вовсе и не боялись расправы — а просто ушли, ушли, не желая видеть ни англичан, ни освободителей. Но это потом; все это было потом — мои мысли, мои прозрения. А тогда... до последнего мига жизни — а он, увы, недалёк — я буду помнить эти минуты отчаяния, потусторонней тоски, одиночества и бессилия, которые пережил я, стоя посередине пустынной улицы, глядя на мертвенные булыжники, фонари и тихие белые стены, прислушиваясь к задумчивой тишине и шуршащему ветру. Вот она, родина, вот я, освободитель, вот мой отряд; вот мои мечты о свободе родины и о том, как въезжаю я во главе благодарных сограждан на гордом коне в Каракас (я так был уверен, что плод созрел, что одно лишь мое появление бросит в объятия моего отряда всех моих дорогих креолов!). И вот он, город,— пустынный, белый и равнодушный. Солома на улицах. Вот он, мой приговор. Всякое предстояло еще в те дни — бывали впоследствии и победы, и радости. Но, думаю, поражение родилось в моем сердце именно в те минуты.

Странные люди испанцы! Никто не постигнет эту особую душу. Правда, я не испанец, я уроженец Венесуэлы; но все же во всех нас, креолах, метисах и прочих, течет испанская кровь — мы потомки конкистадоров, мы американцы, но мы и испанцы — те самые, с кем воюем... Так вот, я говорю: странные мы

люди — и мы, то есть американцы, и сами испанцы. Мы с удовольствием покоряемся силе, жестокости, тупости, грубости, козням, иезуитству. Мы с удовольствием покоряемся людям, которые во всех отношениях ниже нас. Но только лишь заходит речь о просвещении и свободе, как мы проявляем ненависть, недоверие и упрямство, переходящие в зверство. Мы покорились маврам и перебили французов. Или мы неполноценный народ? Но в сторону эти мысли. Они продиктованы личным несчастьем, а истинные причины моих неудач, видимо, и сложнее и глубже. Одно лишь могу сказать: они и во мне самом, и в народе.

Мои ребята угрюмо расклеили на заборах заранее заготовленное обращение к креолам, «добрым невинным индейцам, смелым мулатам и свободным неграм» о наступлении эры «гражданского порядка и счастья», и мы удалились на корабли, не желая освобождать людей, бегущих свободы как черта. Вскоре я возвратился в Европу.

Тем временем Англия, обманув мои ожидания и подтвердив мои худшие подозрения, отправила в Южную Америку Берисфорда и начала захватывать земли в районе Ла-Платы. Испанские официальные власти немедленно струсили, но возникло ополчение патриотов и тотчас расколотило всю экспедицию. Предупреждал я этих безмозглых булей: американцы — не Индия, здесь такое население, что его невозможно завоевать французам или англичанам. Я послал поздравление в кабильдо Буэнос-Айреса. И вновь в душе возродилась надежда... О народ, думал я, как мне разгадать твою душу? Как мне понять, почему ты в лугах Ла-Платы геройски уничтожаешь захватчиков-англичан, но не можешь сбросить тиранов внутри страны, всегда предпочитая покой свободе?

Но все-таки искра, да, вновь возгорелась в сердце.

Меж тем события в метрополии шли своим чередом. Страна вела войну с войсками Наполеона. Это было правое дело самой Испании, но у нас, у американцев, было свое правое дело. Не хочешь быть рабом другого народа, не порабощай другие народы — вот что могли мы сказать испанцам. Момент был благоприятный. В Лондон, где жил я в то время, приехал Симон Боливар, этот мой сумасшедший земляк 27—28 лет. Я сам пришел к нему в гости, и он в те дни встретил меня с восторгом. Он захлебываясь описывал легкую победу хунты и горячо убеждал меня вернуться в Венесуэлу. Я вгляделся в него: ни тени принужденности, лицемерия я не видел в его молодом, подвижном, нервном лице; он был искренен. Я и теперь считаю, что Боливар — искренний человек. Это одно из немногих реальных его достоинств. Впрочем, достоинств ли...

Я вглядывался не зря. Я знаю, что такое Испания, я знаю, что такое наша Америка, еще и вот с какой стороны. Идет ли все это от традиций идальго или еще от чего-то, но испанский человек (или человек пусть частично испанской крови) политически невероятно тщеславен. Ему непременно надо быть сеньором, первым, он властолюбив. Когда эти безумные продолжат свою борьбу — уже без меня,— одной из главных проблем у них останется проблема вождя, руководителя. Они все хотят или в первые, или уж просто в солдаты, то есть хотят неограниченной власти или покоя — что с разных концов одно и то же,— но не хотят во вторые и в третьи. Они не хотят забот, дел, полуподчинения, полувласти; они во всем хотят полноты. Не знаю, похвально это или ущербно, но знаю, что для здешней, земной жизни народа это весьма неудобно.

Так вот, я слышал об этом Боливаре как об одном из первых сорви-голов, горячих людей, этих молодых вождей молодой свободы, которая появилась в Южной Америке. Я слышал, что он богат, умен, просвещен. Я хотел своим взглядом проверить его: не из тех ли он честолюбцев? Не лжет ли он, приглашая меня в Венесуэлу? Ведь он не мог не знать, что мой авторитет был выше, чем их. Я смотрел, я вникал: нет ли в душе Боливара этих мыслей? Я не нашел их. Кто знает, может, отчасти они и были — даже наверно были,— но он был искренен в своем приглашении. Я видел, что дело свободы ему дороже, я видел, что этот юноша понимает: родине нужен авторитетный, и просвещенный, и опытный руководитель — и ставит дело превыше всего, вопреки своим юным мечтам. Я внутренне поздравил его и родину: никому, как Америке, не нужны сейчас люди, которые думают прежде о своем назначении, деле, о людях, а потом уже о самих себе. Всякий человек эгоист, но мера его и достоинство не в этом, а в том, каково у него соотношение эгоизма со всем остальным: больше или меньше. У Боливара было намного меньше. Но все-таки этот человек безумен и чем-то страшен.

Но нет, не хочу об этом: все дело не в нем самом, а в ином — и в иных.

Я вернулся в Венесуэлу.

Не знаю почему, по весь путь домой, где — я знал это — меня ждали торжествующий и ликующий Каракас и слава, мне было грустно в глубинах сердца. Белые стены, пустынные улицы Коро все не шли вон из головы. Странное существо человек: я весело ехал — первый-то раз — в те штормы и неизвестность и тоскливо спешил ныне в верные объятия дру-
 зей. То ли досадно мне было, что без меня... без

меня, а я еду лишь на готовое? Может быть. Дело, конечно, не только в этом, но было и это.

Меня встречали прекрасно. Я прибыл в середине декабря, через несколько дней после Боливара, он успел подготовить весь город, и не было предела восторгам. Было хорошее время года, когда уже кончились длительные дожди и не началась еще январская сушь; ослепительно зеленели холмы в отдалении, воздух был свеж и ясен, люди... Нет, не хочу, не хочу вспоминать. Слишком это бередит душу.

Прошли восторги, начались будни. Я возглавил Патриотическое общество, мои молодые друзья горячо помогали мне и, казалось, забыли о собственных выгодах. Может быть, такая жизнь началась потому, что душой всему был Боливар, который горел делом. (Им нужен был мой авторитет, а остальное они имели сами.) Я, однако, не мог на него положиться полностью: он иногда спешил, торопился, возбуждался до одурения и в жажде слепого действия способен был потерять рассудок. Я вынужден был его сдерживать, контролировать и, так сказать, возвращать в упряжку. Я не могу сказать, что он слишком болтлив (хотя он болтлив) и неделовит, но в нем и тогда уже было это свойство то ли гения, то ли безумца — терять ощущение реальности и все ставить на карту. Ему везло, он выигрывал — признак гения! — и все-таки для политика все это, по моему глубокому убеждению, не достоинство. Всегда наступает похмелье. Каков Боливар в э т о й ситуации, мне неизвестно; и догадаться трудно. В его победной деятельности есть что-то раздражающее, нервозное и даже надрывное; а вот каков он при поражении?

Я не могу не думать о нем; я предчувствую: в будущих грозах страны будет витать его имя.

Мы утвердили государственный флаг, его цвета

предложены мною. Мы отстаивали унитарную форму правления: в данный момент единство — главный залог успеха. Испанцы еще сильны; они коварны, жестоки, пойдут на все... Но тщетны были все наши речи: провинции требовали федерации. В каждой, конечно, сидел свой доморощенный атаман, который мнил себя будущим Бонапартом; все было ясно, но от этого не становилось легче. Все это, однако, подробности, а главное, основное сияло светло и радостно: свобода, свобода... свобода. Но не было спокойствия в моем сердце. Дело не в бунте в столице; он оказался не силен. Дело в ином.

Да, не было спокойствия в моем сердце; я говорю это не задним числом — я говорил, я чувствовал и тогда.

И когда сообщили о мятеже в Валенсии, я принял это как должное: всякое разрешение лучше, чем тоскливое, неопределенное ожидание. Теперь, по крайней мере, перед глазами было что-то известное... Я предчувствовал, что это только начало, но не могло же все сразу свалиться на голову. Дело за делом, беда за бедой — быть может, как-нибудь и распутаем.

Я предчувствовал многое, но, разумеется, я не мог предвидеть землетрясения. С другой стороны, думая теперь об этом ужасном и роковом событии, заставившем вновь листать Апокалипсис, я прихожу к выводу, что и оно не стоит в стороне от моих ошибок. Как бы сказать? Это сложное чувство; но когда имеешь дело с такой землей, как Америка, нужно все учитывать, все предвидеть. Землетрясения и вулканы и мощная, девственная, невиданная в Европе природа оказывают там колоссальное влияние на жизнь народов, входят в нее как ее непременная составная, ее выражение, символ, ее стихия и даже причина. Многие там, в Америке, убеждены, что

войны и мир народов связаны, например, с периодами извержения Котопахи; и можно сколько угодно смеяться над этим, сидя у книжных полок в Вест-Энде и глядя на ровные газоны, но поезжайте в Америку, посмотрите на белые Анды в черных, бессонных, тихих, неутомимых дымах — и сердце зайдется.

Да, и землетрясение следовало предвидеть в этой стране... или уж и не затевать дела.

Перед этим я объявил амнистию разбитым мятежникам злополучной Валенсии. Я хотел тихо, осторожно прививать народу гуманность и уважение к личности, к человеку... тщетно. Города Коро и Маракаибо, воспользовавшись моим промедлением, укрепили свои гарнизоны, а мои молодые друзья тут же обвинили меня в малодушии.

Помню, я глубоко задумался как-то в одиночестве в эти дни и принял в душе решение: как бы меня ни пытала судьба — не отступать от своих годами, десятилетиями лелеемых принципов гуманизма и разума. Я чувствовал: настало время проверки. Я сын восемнадцатого столетия; я сын Просвещения, и мне ли, революционеру и старику, конспиратору, тысячу раз рисковавшему жизнью и даже честью своей ради родины,— мне ли меняться на старости лет, лезть в Бонапарты, позорить свои седины? Ради чего я жил, с тем и уйду в могилу, не отступлю от себя. Свобода ценой бесчестия, крови — обман, не свобода; все это — гуманизм, свобода и разум,— все это неделимо, не живо одно без другого. Я чувствовал, что погибну, и шел на это.

Мятежи против республики следовали один за другим, и, как я и ожидал, в них все чаще, все больше участвовали не только испанцы, но и американский народ — метисы, индейцы, мулаты, самбо и даже сами креолы, богатые мантуанцы. Правда, этих по-

следних среди мятежников было немного, и это понятно: от свободы житейски, корыстно выигрывали больше всего они... Но выгода баронов индиго и королей какао — плохое утешение для свободы и не законное ее детище... Я давно уже чувствовал, что не разгадал своего народа и поплачусь за это — и готовился к своей горькой участи. И я, повторяю, не суетился, не дразнил судьбу, не играл собой — я остался тем, чем был: гражданином братства, разума, справедливости. Я не обагрил рук кровью своего народа, я только защищался, не нападал. Я миром тушил мятежи, я отпускал пленных... но мятежи вспыхивали с новой, невиданной силой, а отпущенные пленные вступали в отряды льянерос и сшивали спинами моих верных солдат, некогда отпустивших их.

Меня добили льянерос.

Да, верно: добили меня не испанцы, а наши степные люди, народ, наши люди; они, конечно, бандиты, и загубленные ими люди молча вопиют о мщении; пусть их, однако, наказывают иные; я не хотел им зла и не понимаю их зверств. Я не понял своего народа, но я не мог способствовать усилению кровопролития в этой стране. В этом мое «испанское честолюбие». Еще в прошлом веке меня насторожил опыт Санто-Доминго. Я и тогда чего-то не понял. Этот остров, он стал ареной кровопролитий и преступлений под флагом борьбы за свободу. Если нельзя избежать этого, пусть они будут еще сто лет под варварским и тупым господством Испании. Когда народ не проснулся, никто из людей не может его разбудить, даже гений.

Как много я понимаю. Как много я понимаю ныне...

Что ж меня мучит это землетрясение, отчего же я не могу забыть... забыть...

Эти бешеные, эти безумные юноши, да поможет им рок,— они не поняли, они оскорбили меня, но мне уже все равно.

Вдалеке от родины, в этой кадисской тюрьме, после издевательств, без перьев, бумаги и без друзей, я думаю лишь о близкой смерти и о том, что судьба, если она справедлива, рассудит меня с народом, с Боливаром, с изуверами «Ла Каррака»; а если...

Тьма уравняет всех.

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Он чувствовал, что приближается к селению Суача и землям Каноас. Но это еще не сам водопад...

Дорога вновь стала более пологой, пространство ширилось, теснины будто бы равнодушно, разочарованно пошли налево, направо, вперед, будто бы отвернулись и от дороги, и от него, от его коня — и тем самым давали дороге, взору и сердцу волю и расстояние.

Вот она, плоская и просторная высота Чипы. Невдалеке тут каменноугольные копи; надо бы расширить их, но сейчас не о них думы. Ярко-палевое, сочное солнце, сияющие поля.

Окружающий мир вновь отвлек от прошлого; но оно все же продолжало тревожить последними багряными искрами.

Сегодня январь 1830, Патриотическая хунта родилась в апреле 1810; двадцать лет. Завтра ему, Боливару, быть в Боготе; завтра — тяжкая проверка перед собой, перед всеми; завтра он совершит поступок, быть может, внутренне наиболее трудный за эти долгие годы.

Даром ли мучает память о юности, о первых шагах свободы, революции?

Недаром; и могучая природа, которая вновь окружает его сегодня, как бы подтверждает это.

Молодость, первые шаги — это не все; требуется окончательно, в последний раз пройти, обдумать и все дальнейшее, бывшее в жизни.

Он придержал устало дышащего коня и тронул поводья, чуть поворачивая вслед за дорогой, снова в теснины; и вот пред глазами уж снова было и темное, и угрюмое — мощные песчаниковые скалы,— но между взором и этим камнем как бы еще стояли и зелень, и свет, и небо, и желтизна, и прозрачный простор, и не было на душе ничего, кроме свежести, света и умиления.

Он чуть пришпорил коня и, не очень спеша, поехал по равнодушной, неутомимой дороге; он ехал, и камни стояли с обеих сторон, и было на душе простое и доброе ожидание — ожидание грозной, великой и милой картины, которую он увидит вскоре. И нехотя, мелко носились в душе обрывки мыслей, видений, на некое время освобожденные из своих цепей, из общей стройной лазури истины, целого; но в общем в сердце, в уме было темно и тихо, и ждал он, ждал Текендамы.

И она появилась.

Еще задолго он слышал немолчный густой и торжественный шум; он все ширился, рос, густел — и вот водопад появился зрительно, весь, воочию.

Всадник знал, что подъехать к самой воде почти невозможно, да он и не жаждал сегодня подобных подвигов. Он остановился шагах в двухстах и начал задумчиво глядеть на ревущую бело-голубую, и радужно-блесткую, и сияюще-рваную лаву.

Было по-прежнему солнечно, день клонился к

вечеру, и зрелище Текендамы было величественно и трогательно. Сферы молочно-жемчужного пара вставали над гулкой, широкой, с краев поросшей кустарником, древовидными папоротниками и цепкими дубами трещиной в каменном фундаменте Санта-Фе. Река Фунсха, несколько сузив свое каменистое русло перед разбегом, вся будто затаившись, бросается вниз, на террасу. Справа и слева мощные горизонтальные пласты глыб, изрезанных трещинами. Невообразимый грохот — густой и глубокий, сочный. О террасе и прочем он просто знает заранее, а в общем отсюда, да и вблизи, там, внизу, если спуститься по узкой тропке,— ничего такого не видно: одно молочное, эфемерное облако; и под ним это густо-синее и таинственное, извилистое, меняющееся, гудящее, непонятное — зримое и незримое, белое и небелое, синее и зеленое; и сверху, в облаке, между облаком и водой, в воздухе и везде — блуждающие, рождающиеся, уходящие, приходящие радуги, блеск, переломы, изломы алмазов, жемчугов, изумрудов, яхонтов — и все в стремлении, в жизни, в мгновенном и гулком схлесте, разрыве, бурлении. Солнце восторженно, благодарно врывается в излом водопада — какая жизнь, какая роскошь лучей! Пурпурное, синее, красное, и зеленое, и фиолетовое, и белый блеск, и воздушная, выпуклая сиреневая завеса... И облако, жемчужно-молочное облако над всем, над всем — и вновь блуждания багряного, и розового, и таинственно-синего внутри него... И белое, белое, пенное и кипящее...

Текендама кажется больше, глубже, чем она есть. Зеленые берега, и скалы, и мощная масса воды, и крутое падение — все это соединяется и дает взору картину слишком торжественную. Впрочем, и то, что есть, без всяких обманов, настолько величественно

и мощно, что воображение могло бы и не трудиться, дополняя и укрупняя картину.

Он растроганно повел плечами, как бы возвращаясь в себя, в свое тело — из этой кипящей, торжественной, белой, и красной, и синей радости: несколько минут душа была как бы растворена, забыла себя в том сиянии.

Да, природа.

Ты помнишь, женевец, как в юности мы согласно мечтали об этом великолепии, возвращенном в лоно человеческой жизни... как ясно нам было обоим — мне и тебе, в твоих книгах,— что человек венец естественного бытия, что он велик, что он всемогущ, что стоит только ему вернуться вот к этой сияющей, радужной сфере, к природе, вселенной и к небу — и все вопросы, и все загадки разрешатся.

Как прекрасно: и свежесть, и блеск, и мощь; и багрянец, и белизна, и синь...

Да, и Вольтер — величайший разум, и — Шатобриан...

Как устал я.

И как по-прежнему несомненна и равнодушна природа.

Но солнце и радуга входят в меня. Входят, и растворяются, и могуче и радостно освежают душу и тело.

Стой еще. Стой, караковый. Жди и не торопись. Дай глотнуть...

О, прекрасно. И небо, и белое, и багряное, и гудение, неумолчное бдение мощи... и зелень...

Муиски считали, что водопад покорил все блага зеленой земли: он соединил собою, своим бушующим белым столбом, бушующим хрусталем всю страну. У подножия — пальмы, а тут — дубы и сосна. И происхождение его божественное... великий, таинствен-

ный, триединый Бочика, Немкуэтхеба, Зухе, человек-бог другой расы, длинная борода, сын Солнца, пришел в долину Фунсхи, Боготы и научил людей делать одежду, строить дома, любить землю. И жена его, злая триединая Чиа, Юбекайгуая, Гуйтхака, затопила долину. Но Бочика, добрый бог-человек, сломал могучей рукою скалы, которые загромоздили долину со стороны Каноаса и Текендамы,— и вода нашла этот мощный, этот торжественный, бело-алый, зеленый и синий исход. Нашла... Люди вновь стали радостны, вновь возвратились к земле и к дому. А злая Чиа стала Луной...

Какая неустранимая жажда легенды. Непобедимо. И тут же — какая вера в могучий разум и творчество. О народ!

Как великолепно, свежо и бело.

...Ах, старый Миранда.

Франсиско Миранда...

Немолчно, торжественно пенился в радугах и ревел водопад; витало белое облако, зеленела зелень, синело небо.

Он тронул поводья, но вновь на миг приостановил коня.

2

Невесело вставала со смертного ложа больная, обессиленная свобода.

Еще в казематах Ла-Гуайры сотни людей надрывались в «железных ботинках», под раскаленным железом, еще стояли на площадях Каракаса вожди республики, закованные в колодки, еще волокли храпящие лошади привязанных к хвостам людей, еще не довезли Миранду до смертного для него Кадиса, еще не успокоились океанские волны над телом Хуана

Висенте, брата Боливара, еще делили конфискованное имущество и поместье Боливаров сподвижники Монтеверде, еще хохотали чиновники Кюрасао, поглядывая на отобранные вещи и лежащие на столе последние пиастры Симона Боливара (победитель испанского короля! Ха-ха!),— а сам он, Симон Боливар, беспечный и беспричинно радостный сердцем, ходил по желто-пылящим улицам Кюрасао, заглядывал под навесы, думал и бормотал, улыбался чему-то.

Невыразимую легкость он чувствовал в эти дни на душе. Все было потеряно — и все было впереди. Если он сей же миг, сейчас ляжет в землю, то не оставит на ней ничего, о чем следует думать, страдать, беспокоиться, что было бы жаль покинуть на чуждых и посторонних людей. Жаль только солнца, и неба, и этих деревьев, но что же? Ведь с этим, рано или поздно, все равно расставаться... Он легок, он совершенно свободен. Друзья не дают ему умереть с голоду, что же, спасибо; это неудобно для гордости, но что тут сделаешь? Если он умрет, земля уравняет всех; если он будет жив... все еще впереди.

Да, все еще впереди.

Прекрасное время — нечего терять, если и есть еще какая-то возможность в жизни, то только приобретать, завоевывать — не для себя,— о нет! — но все же только приобретать, и ничего больше. А не захочет — не будет и этого, кто волен ему запретить что-то? Захочет — останется легок и пуст, свободен до пустоты, беспредельности, и не все ли равно? Не это ли — лучший жребий? Ведь все равны перед роком, перед землей...

Но нет... нет, нет. Он не один на земле. Да и не сможет он просто жить.

Это — будет. Это не может не быть.

А сейчас он идет по улице и тихо улыбается лю-

дям, насмешливо поглядывающим на него («Освободитель, борец с королем! Ну и освободитель!» — «Вы погодите. Еще буду Освободителем»), заглядывает под тростниковые навесы, трогает кулаком корявую, шерстистую шкуру пальм, любуется аквамариновым небом; он легок, он весел.

О, какие силы в душе!

Он прибыл в Картахену, северную провинцию вице-королевства Новая Гранада, в конце 1812 года. Вице-королевство вело войну с Испанией более крепко, чем генерал-капитанство Венесуэла. Но и Новой Гранаде приходилось туго, и ее республиканцы были рады всякому человеку с военным опытом, изъявившему добрую волю стать под их безнадежные боевые знамена.

И все же, когда Боливар, его дядя Рибас, суровые братья Монтилья и их сотоварищи прибыли в Картахену, командующий «свободной армией» француз Лябатют начал бушевать, требовать расстрела, повешения, изгнания и презрения:

— Как? Мы принимаем к себе Боливара — предателя генерала Миранды? До чего мы дошли? Во имя чего мы сражаемся?

Диктатор Родригес Торисес, человек, более понимавший страну и дело, заспорил и настоял на своем. То есть не то чтобы настоял, но смягчил разбушевавшегося. Равнодействующая двух воль была: в забытую богом деревню Барранку, к границе Венесуэлы. Ничтожное войско, глухие берега Магдалены, вдали от реальной войны. Пусть чахнет.

...В Барранку? К границам Венесуэлы? Тем лучше...

Перед отъездом — шум: Боливар не из тех, кто молчит. Он сочинил манифест к правительству и народу Новой Гранады, объясняя причины победы го-

дов в Венесуэле (не было единства да заговорщиков не давили) и призывая вступиться за свою родину.

Гм, манифест. Что ж, манифест. Во многом Боливар прав. А впрочем, пусть едет в Барранку — и никакого самоуправства.

...Вы уверены? Никакого? Ладно.

22 декабря командир отряда Симон Боливар, вопреки дисциплине и приказаниям, рискуя быть повешенным по ту и по эту сторону фронта, погрузил на плоты свой гарнизон, свою армию, состоящую из... 200 человек.

Правда, он перед этим их муштровал и гонял между двумя десятками сквозных лачуг без единой стены, покрытых пальмовыми листьями. С нижних и верхних нар глядели суровые жители. Правда, он заставлял очумелых, голопузых обитателей этого селения днями и ночами вязать и скручивать пальмовые плоты, готовить сушеное мясо и маниоку. Правда, он часами убеждал и наконец убедил нерешительных подчиненных в разумности мероприятия: Монтеверде тоже начал с двухсот... Мы топтались и сомневались, а нужно — вперед. Лябатют? К черту. Скорее. Скорее.

Словом, подготовка была.

Однако же — двести? По непроходимым лесам? Без надежд, без помощи?

Но Боливар был весел и легок, как в день причастия, как в утро счастливой свадьбы.

Вот он идет, улыбающийся и сверкающий сахарными зубами; он невысок и крепок, сухопар и уверен в себе, и, главное, светел и весь внутри себя, внутри своего непонятного, легкого знания; он и сам не может это сказать, четко выразить в речи, в слове, но только за всяким его словом, даже незначащим по смыслу, видны вот эта свобода и лег-

кость. Он бьет по желтой пыли свежим, зеленым бамбуком — аккуратненькой палочкой, пообточенной с двух концов; он потрагивает свои черные запущенные бакенбарды, отливающие суровой медью в лучах прямого солнца; он в белой сорочке, но, несмотря на его рассеянную улыбку, есть чувство, что он в мундире; он что-то понял такое, чего другие не понимают, не слышат в гудении душного и дремотного воздуха. Стоят и спят тяжелые темные пальмы, опутанные светло-зелеными, яркими в солнце лианами; изредка в невидной из-за деревьев речке плюхнет хвостом неопасный крокодил-кайман, будто пустую бочку кто хлопнул с нависшей над омутами разлапой бегонии; извечное что-то делят зеленые, голубые и белые попугайчики, тихо и костянисто шуршит зеленый, крепкий бамбук; и нет особой тревоги, сияния во вселенной, все мирно и сонно.

И люди пошли, поплыли, заторопились.

Да, подготовка была, и 22 декабря армия Боливара, числом до двухсот человек, отправилась вверх по течению Магдалены на грузных плотах, подталкиваемых бамбуковыми шестами, а где глубоко — под вопли и стоны тащимых веревками и лианами с почти непроходимого берега, вверх да вверх, против течения да против течения — паруса почти не помогали,— курсом на селение Тенерифе, занятое испанцами. Кайманы торчали тупыми рылами из зеленобурой воды и ныряли при виде шеста, норовящего зацепить по шершавой, но нежной коже на брюхе.

Через день на довольно крутом берегу, на поляне, открывшейся слева у поворота, возникли белые домики, некоторые на сваях, под зелеными крышами; в отдалении встала резко выступающая гора.

Все тревожно и молча смотрели на краснокожего практико — проводника, жителя этих мест.

— Тэпэрифе,— неловко сказал он, слегка приподняв растопыренную пятерню и вновь безмятежно опустив ее на колено.

У всех одновременно возникло желание стать незримыми и бесплотными или совсем маленькими.

— К оружию,— негромко и как-то мягко сказал Боливар.

Секунду помедлили и начали разбирать свои длинные ружья, и пистолеты, и толстые серые шпаги, и просто ножи. Спокойный и мягкий голос Боливара вдруг отчетливо, резко довел до ума, что уснуть, раствориться, стать горной птичкой колибри нельзя, что они заметные люди и что дело неспешно, и как-то сонно, и как-то само собой (казалось, все еще далеко) дошло до того, что надо и правда надеяться только на себя: добыча, победа и продолжение рискованного, но чем-то бодрого этого похода — или немедленная смерть, тьма.

Увидят или не увидят до высадки?

Через минуту всех занимала лишь эта мысль. Хотелось поторопить толкающихся шестами, но люди понимали: нельзя. Нельзя не только потому, что те и так уж толкались из последних сил. Нельзя нарушать молчания и всего того плавного, уверенного, что возникало во всем этом деле.

Молча они приблизились и («На берег!» — внушительный, тихий голос Боливара) стали высаживаться с плотов, причаленных тесно один к другому, оступаясь по бревнам, карабкаясь на сыпучий обрыв. Они взбирались наверх в своих серых, белых рубахах, со шпагами наголо и длинными ружьями, поглядывали на близкие хижины. Между стенами, сваями начали появляться встревоженные кучки людей, и

вот — долгий крик: «К ору-у-ужию!». И тут же слова Боливара: «Тихо. Сейчас».

Он подождал людей с еще одного плота, не стал ждать других и, вытащив шпагу, со словами «Вперед... вперед!» выстрелил из пистолета и не торопясь побежал к домам. За ним ринулись остальные, и кое-кто обогнал его. Не просохшая от дождей и разливов почва хлюпала под ботфортами и сандалиями, мешала разлапистая трава. Впереди послышались выстрелы, бегущие тоже стреляли, из-за дыма ничего не было видно. Бухнул тяжелый выстрел, нечто хрипяще просвистело между людьми и грохнулось, взрывши грязь. Ого! У них пушка...

Когда они добежали, в селении уже не было никаких испанцев; у стенки ближайшей хижины уныло сидела, поджавши под себя ноги, старая, почти голая, очень темнокожая индианка с рыхлым животом и приплюснутым носом и тупо смотрела в землю, склонив черно-седую голову с вплетенными в волосы красными бумажными лентами от давнишнего серпантина, с пятнами красной краски — полоски, точки — на скулах и на руках, на плечах. Она даже не взглянула на победителей, впрочем, тоже глядевших на нее как во сне или в мгновенном оцепенении. Потом уже подскочили какие-то более живые люди и принялись обнимать прибежавших, кричать, становиться в позы, махать руками и танцевать то ли кумбию, то ли хоту; тогда и солдаты Боливара опомнились, увидели, что они воевали и одержали победу, нашли своих раненых товарищей и стали кричать неистово: «Вива! Вива наш командир! Да здравствует наш Боливар! Он — каракасец, но он достойный патриот Новой Гранады!»

Он вяло махал руками и улыбался с таким видом, будто все знал заранее, и ему грустно немного, что он

не может до конца разделить непосредственность общей радости.

Первая победа — ну что же, это само собой.

И снова — вверх по реке.

Но уже другие думы и чувства.

Впервые переплыв реку, ягуар познает, что вода холодит и щекочет шкуру, но не уносит в таинственное, туманное царство зеркал и духов.

Через две недели после выхода из Барранки Боливар послал почтальона-гонца, который, по старым обычаям, заимствованным в Перу, голый бросился в реку с письмом, вместе с ножом-мачете, заткнутым в повязку-тюрбан, и, обняв бревно, безбоязненно минуя кайманов и шарахаясь от остромордых, резко шныряющих крокодилов,— вплавь добрался до Картахены быстрее, чем всадник и кто угодно по джунглям. И Торисес с восторгом услышал, что Магдалена освобождена от испанских войск вплоть до Оканьи.

Невиданно! Чудеса. Пока они ждали...

Празднично бушевала суровая Картахена; весь розовый, пылающий Лябатют требовал выдать Боливара военному трибуналу; а Торисес внимательно и сочувственно слушал, кивал, улыбался и одновременно строчил благодарность Боливару, обещал ему подкрепление и приказывал выйти на помощь гранадскому полковнику Кастильо в обороне Памплоны.

Что может порядочный, добросовестный Лябатют, когда маятник невозмутимо перешел свою середину, свою вертикаль — и пошел к небу?..

* *
*

Кастильо оборонял Памплону.

Превосходящие силы испанцев готовились подойти под стены: старый вояка Корреа муштровал

войско у Кукуты, в спокойном месте, надеясь бить профессионально, наверняка. Боливар предложил перейти горный хребет и неожиданно помешать испанцам в их тренировочных драках, атаках и сражениях. Кастильо лишь поворчал раздраженно, настолько дурацким, тщеславным и невоенным был план Боливара. Только стены Памплоны могут помочь, да и то вряд ли; ну а в открытом поле — верная гибель. Да еще через горы... Боливар скомандовал построение своему небольшому отряду и двинулся к горному кряжу, немногословно отсылая назад гонцов от Кастильо, время от времени догонявших его с записками о расстреле, о трибунале, повешении и так далее. Дорога вскоре исчезла: брели вверх по руслам горных ручьев; шел дождь, вниз по ущельям дул сырой ветер, по мере восхождения становилось промозгло и холодно, десятки солдат теряли сознание из-за сороче — горной болезни, падали в пропасти, умирали от голода и усталости. Они не привыкли к горным напастям. Это был первый переход Боливара через Анды — не самый страшный, не самый головокружительный, но самый первый... Рассказы о Бонапарте и Альпах не вдохновляли новогранадских и северовенесуэльских крестьян и граждан великого города Боготы; разъяснения на тот счет, что французы шли угнетать Италию, они же освобождают родину, тоже не помогали. О разных высоких материях — о свободе, долге и справедливости — хорошо слушать, сидя в тени под пальмой, грызя орехи и сонно, растроганно глядя на какого-нибудь молодого полковника с белым воротничком, надрывающегося там, в двадцати шагах, на сияющем солнцепеке: пойдем, победим. А глотая скругленным, как у морского ската, ртом сырой и разреженный воздух, глядя на серые хляби небесные, чувствуя стон, ломоту и страдания во всех жи-



лах и сухожилиях, в костях и суставах, чавкая размочаленными подошвами по очень плотной, хватающей за ноги грязи, забираясь все вверх и вверх,— не очень охота слушать болтающего начальника. И как у него хватает сил? Богач, родовитый, а тащится и еще болтает... ну ладно, идем. Когда-то ведь кончится это. А, черт! Внизу сияние, зелень, солнце! Вон она, Кукута. И там — «проклятые годы». Мы столько страдали — и они еще думают, что мы станем ловчить, церемониться. В бой!!! Режь! На штыки!

Кукута свободна, жители приветствуют победителей.

Конгресс восторженно жалует Боливара званием бригадного генерала и гражданина Новой Гранады. Кастильо с отрядом — ему в подчинение. Армия в 700 человек идет в глубь Венесуэлы, одерживает победы. Будто сам дьявол играет в кости, отдыхая от важных дел: мол, толкну-ка я этого вот Боливара — на тех. Ха-ха! Забавный. Как он их там — ха-ха. Наступает, да, наступает армия. Сдаются селения, и городишки, и гарнизоны испанцев. Не нравятся эти игрушки серьезным и важным офицерам. Кастильо и некоторые другие офицеры уходят в отставку. Сдаются испанцы. Пали Мерида, Трухильо — уже венесуэльские города. Мелькают минуты, цифры побед, маятник движется вверх, задумчиво замедляя бег.

Испанцы — не такой народ, которому все равно, чьи и какого цвета тряпки болтаются на шпиле городской ратуши. Ах, вы так, вы «освободители», вы действительно захотели... ну, а мы — так.

Все чаще на смутном пути — кучки трупов детей, и женщин, и мирных мужчин: землепашцев, проводников, пастухов — с кровавыми глазницами и губами, с отрубленными рукой, ногой. Все чаще — корзины

с отрезанными ушами, носами — знай наших, кастильцев, мы уходим, но мы оставляем подарок. Все чаще — ужасные пары недвижных братьев, соединенных не жизнью, не молоком, а смертью: люди, сшитые спинами и брошенные на дороге. Все чаще — колы и виселицы с издали видными беспомощными и вывороченными человеческими силуэтами.

Сами солдаты свободы измучены и сердиты: давно нет жалованья, жители деревень смотрят хмуро, разбегаются и не кормят — боятся. Сегодня — «солдаты свободы», завтра — опять кастильцы; и вновь душераздирающие крики, и вновь отрывистые, ужасные хлопки выстрелов, вновь наблюдение с замиранием сердца: где там мелькнул проклятый синий мундир — в соседнем дворе или через улицу? Сейчас придет к нам... придет к нам. О, проклятые освободители из Гранады, чего им, чего им надо. Жизнь беспросветна, но все-таки это жизнь; голод и рабство страшны, но все-таки это жизнь, жизнь. А тут... Придет, ворвется синий мундир, заорет: «Сволочи, бунтовщики!» — хотя они и невинны, вырвет свой пистолет, ржавую от крови шпагу, полоснет от шеи до ребер наискось младшего, Пабло, ткнет железом в живот беременной Анне. А после скажет: хозяин, ты что-то молчишь, я вижу, тебе надоел язык, ты что-то не отвечаешь, я вижу, тебе надоели уши. А, так у тебя и нос что-то длинен. То-то я думаю: отчего он молчит? А он нюхает. И пошло.

Чего надо им — оборванцам Боливара?

Беден удел человека на этой земле. Все мечтания — сон. Человеку не может быть лучше на этой земле — может быть только хуже. И им, этим оборванцам,— им победить солдат короля, этих синих солдат? Нет, нет. Прочь, прочь.

Солдаты свободы роптали и начинали красть, ма-

родерствовать, многие убегали домой, в Гранаду — поближе к прочности.

А испанцы не унимались.

Однажды Боливар остановился в передовом отряде, присел у костра. Был привал. Солдаты сидели, смотрели на вертел с бараном и, судорожно глотая, щурились. Вдруг к Боливару подошел часовой, вертлявый Карулья, и отозвал от огня.

Они отошли; тотчас же душу, глаза охватила та самая крепкая тьма, которая наступает после костра.

— Командир, если хочешь, пойдем со мной.

Сто шагов они продирались сквозь миканию, здешний плющ, и кусты и наконец вышли к крутому обрыву.

Глаза уже забыли костер, стали видеть.

Отряд располагался на возвышении, а там, внизу, под обрывом, не ведая о близости патриотов, что-то выделывала у костра большая группа испанцев. Яркое оранжевое пятно бесилось и прыгало в непрогляднейшей черноте; сверху отчетливо видны колеблемые силуэты людей. Непонятно, что делалось: был кружок, а посредине его один человек ломался в дерганом танце, почти не двигаясь с места, но тем не менее изгибаясь, выкручиваясь всем телом, кружась и подпрыгивая. Слышался хохот.

— Новая пытка,— глухо сказал Карулья.— Мне рассказывали в деревне.

Когда испанцы бежали, преследуемые выстрелами и криками, на месте остались костер и лежащее тело, еще ворочающееся и стонущее. У человека была ободрана кожа с пяток, и в этом кровавом сиропе переливались алмазно-рубиновые сияния: костер еще ластился и трещал над сучками; а рядом зеленым светом блестело рассыпанное стекло в пятнах крови

и валялся мешок, из которого его высыпали. Этот человек под дулами пистолетов танцевал на стекле.

Боливар смотрел, смотрел, блики оранжевого огня освещали его осунувшееся, желтое лицо в бакенбардах, в усах и в узлах желваков и нервов, колеблемых внутренней рябью, зыбью; он тихо смотрел, и лицо его было глухо и заперто, лишь глаза широко сияли; но, казалось, он понимал в это мгновение многое... многое — гораздо больше того, чем он сделает и чем он может выразить в мыслях, в словах; гораздо дальше того, что он сделает; и тем не менее он — сделает это.

Летом 1813 года в Трухильо вышел декрет Боливара «Война насмерть».

«Венесуэльцы! Братская армия, посланная суверенным конгрессом Новой Гранады, пришла освободить вас, она уже изгнала угнетателей из провинций Мериды и Трухильо...

Тронутые вашими бедами, мы не могли безучастно наблюдать, как озверелые испанцы грабили и истребляли вас, как они попирали священные человеческие права, как нарушали торжественно взятые на себя обязательства и договоры и, наконец, как совершали всевозможные преступления, вызывая в республике Венесуэла самую ужасающую разруху. Итак, справедливость требует возмездия, и обстоятельства вынуждают нас настаивать на нем. Пусть навеки исчезнут с лица колумбийской земли чудовища, осквернившие ее и покрывшие кровью; да постигнет их наказание, равное их вероломству. Таким образом будет смыто пятно нашего позора и доказано народам всего мира, что нельзя безнаказанно глумиться над детьми Америки...

Всякий испанец, который не борется самым энергичным и действенным образом за правое дело, будет

считаться врагом и наказываться как предатель родины, а следовательно, неминуемо будет расстрелян. Тех же, кто перейдет в наши ряды с оружием или без него, кто будет помогать добрым гражданам в их усилиях сбросить гнет тирании, тех ждет полное помилование...

Я обращаюсь к тем американцам, которые по ошибке или коварству сошли с пути справедливости,— знайте: ваши братья вас прощают и чистосердечно сожалеют о ваших заблуждениях, будучи глубоко убежденными, что... только слепота и невежество... ответственны за них...

Эта амнистия распространяется даже на предателей, которые в самое последнее время могли совершить вероломные акты, и будет свято соблюдаться...

Испанцы и канарцы! Вас ждет смерть, даже если вы будете нейтральными, вы можете спастись, только активно способствуя свободе Америки.

Американцы! Рассчитывайте на жизнь, даже если будете виновными».

Итак, дело шло. Если ты мирный испанец — смерть. Если ты мирный американец — смерть (от испанцев). Если ты военный испанец или военный американец — смерть в бою.

Боливар, как опаленная пума, метался, заложив руки за спину, перед своей палаткой, смотрел на пальмы и на зеленую и невозмутимую траву, и с бешеным, болезненно искаженным лицом — казалось, из углов рта вот-вот выступит кипящая пена,— выслушивал донесения адъютантов, гонцов и лазутчиков, рассказывающих о действии «предпринятых мер». Меры действовали. Человек странно устроен: смерть неизбежна, но умирать неохота. Да, в тех районах, которые контролировали повстанцы, меры действовали. Армия пополнялась, казна и сила росли.

Боливар слушал, впитывал в себя слова о том, что народ, патриоты и даже испанцы как будто обрадовались «предпринятым мерам», везде царит полная ясность, налаживаются порядок и дисциплина, люди боятся — боятся смерти и как бы сами приветствуют, одобряют этот свой ясный, весомый и четкий страх,— и скоро будут победы. И адъютанты не понимали, чего же хочет Боливар. Все идет как по маслу, ему сообщают о нужном и радостном. Его декрет был умен и мужествен, он помог, как ничто другое. Но нет — он бегает, и желтеет, и зеленеет, и строит гримасы, и жестко кричит:

— Ну, дальше! Дальше!

Как будто не рад итогам... как будто бы ждет, ожидает сердцем: ну, нет ли осечки? Нет ослушания, поражения? Будто хочет... хочет он поражения, неповиновения. Но нет, нет. И он снова вопит:

— Усилить контроль! Усилить меры! Ни один испанец не должен уйти от возмездия!

— Испанцы со своими семействами уезжают с войсками — или вступают в армию патриотов, мой командир.

— Уезжают с семействами... да, уезжают с семействами,— повторял Боливар, и тускнел взором, и весь обмякал, и уплывал в себя на минуту, напряженно глядя в какой-нибудь дикий мохнатый пальмовый пень,— и снова вскидывался, кричал:

— Ну! Дальше! Дальше!

Испанцы упорствовали в неслыханных зверствах, испанцев казнили за это, испанские семейства бежали, освободители расстреливали испанцев, каратели расстреливали освободителей, испанцы расстреливали мирных граждан.

 В течение июля 1813 года освободительная армия под началом Боливара, идя с невиданной быстротой,

в ряде кровавых сражений разбила и уничтожила испанские роты, стоявшие на пути в Каракас, и 2 августа заняла Валенсию. Монтеверде не выступил на Боливара — проклятого оловянного солдатика самого Сатаны. Он увел гарнизон под защиту пушек Пуэрто-Кабельо.

Вскоре к Боливару прибыли Франсиско Итурбе и Каса-Леон — те самые, кто помог ему уйти от Монтеверде. Они говорили о капитуляции Каракаса, Ла-Гуайры и просили о милосердии. Боливар воспрянул духом и немедленно развернул деятельность: он объявил амнистию, свободный выезд, он объявил плебисцит по поводу испанской конституции 1812 года. Не без мелкого самолюбия — и сознавая это, и идя на это — он написал Фьерро, оставшемуся взамен Монтеверде: «Благородные американцы с презрением относятся к нанесенным им оскорблениям и дают редкие в истории примеры сдержанности по отношению к своим врагам, которые нарушают права народов и сами попирают священные договоры. Условия капитуляции будут нами свято соблюдаться, к позору вероломного Монтеверде и к чести американского имени». Пока он строчил письмо и в промежутках меж запятыми, точками, прямыми и перевернутыми знаками восклицания читал нотации испанским представителям, Фьерро — в отсутствие этих самых своих представителей — бежал в Пуэрто-Кабельо, решив на досуге, что милосердие милосердием и свобода свободой, а оборванцы оборванцами, и притом с ножами и с ружьями. Боливар очнулся, нахмурился, задумался и потребовал капитуляции Пуэрто-Кабельо, и Монтеверде ему отказал, но в общем хмуриться и раздумывать было некогда. 4 августа победоносная армия патриотов, с сияющим и разодетым Боливаром во главе, вошла в Каракас, столицу Венесуэлы, слушая коло-

кольный звон, пальбу в небо и топча голубые и розовые цветы, устилавшие улицу. Двенадцать девиц из лучших семейств возложили на голову победителя лавровый венок.

За короткое время он выиграл шесть сражений, десятки боев, ни разу не проиграв баталии. Он захватил 50 орудий и освободил весь запад Венесуэлы.

Почести сыпались как из серебряного ведра. Конгресс Боготы присвоил Боливару звание маршала, но великодушный освободитель Венесуэлы не одобрял это антиреспубликанское звание. Муниципалитет Каракаса произвел Боливара в генерал-капитаны, но по лицу виновника торжества было видно, что и тут ему чего-то недоставало; он как бы искал глазами чего-то, он беспокоился сердцем... Но когда объявили, что он провозглашен Освободителем и что по стране на стенах муниципалитетов будет надпись: «Боливар — Освободитель Венесуэлы», лицо его наконец разгладилось, он облегченно вздохнул, нерешительно улыбнулся и сказал: «Большое спасибо».

А после произнес громокипящую речь, где превозносил боевые заслуги новогранадских военачальников и своих подчиненных, в ущерб своим собственным.

3

Оборванный и замызганный всадник в большом сомбреро на самой макушке, в некогда белой рубашке и узких брюках, закатанных до колен, босой, на великолепном сухопаром вороном коне под бедным седлом,— спустился в лощину, замученную бамбуками, тростниками и какими-то огромными лопухами, начинавшими уж чернеть и желтеть с краев — скоро

время суши,— и по тропинке выехал на противоположный склон.

Он остановил коня и начал смотреть вперед.

Необозримая гладь расстилалась перед глазами. Трава зеленела мощно и ядовито и, растворяя и шевеля голубеющий воздух своим шевелением, испарениями, ярким цветом и ароматами, уходила к почти незримым холмам, застывшим на горизонте, и там сливала свое зеленое, синее и дрожащее марево с ясным, но мглистым небом. Деревья и мелкие гущи кустарников — плоские, в розово-желтом цвету мимозы, акации, одинокие пальмы, грубые пятна чапарро в пологих лощинах, на еле заметных холмиках — не разрушали чувства простора, а только разнообразили яркую зелень трав своей темной и сероватой зеленью, цветами, черными силуэтами. Ветер бежал волнами по загорелому, закаленному солнцем лицу, спокойно давая понять, что он тут — полный хозяин. На голубом, туманном небе не было облаков, солнце светило сильно, но все же несколько приглушенно — и вся безбрежная, неподвижная степь не таила на лоне своем ни тревоги, ни тени; трава ходила и волновалась лишь здесь, поблизости, дальше ее колыханий не было видно — и, куда ни посмотришь, лишь опрокинутый в траву, оцепенелый ветер, туманные отсветы громадного небесного купола, редкие парящие гарпии, снова яркая зелень безбрежных, слегка холмистых степей, переходящая в отдалении уже в бледную, как бы ко всему безразличную зелень; и снова вехи унылых деревьев, меряющие пустынность, и зелень, и одиночество — и не могущие измерить. Огромная, светлая и глубокая неподвижность, уверенная в себе, и туманная, и печальная; и зелень, и ветер, и небеса — и равнина. Равнодушие сна и пространства.

Стоящий всадник не мог бы высказать этих чувств; единственное, что он понимал умом — это то, что открывшаяся картина чем-то была приятна его сердцу, заставляла его биться крепче. Не своей красотой — о нет! — он не знал этого слова. А чем-то иным — более важным.

Он удовлетворенно хмыкнул, повел ярко-рыжей бородкой, прищурил неестественно светлые, почти белого цвета глаза; он посмотрел еще, посмотрел, толкнул босой пяткой нетерпеливого скакуна и медленно въехал в высокую, яркую траву.

Отсюда видно было не так далеко — тот пологий холмик остался сзади.

Он подхлестнул коня, но тут же оставил его в покое: пусть бежит как хочет.

* *
*

Фернандо встал, как обычно, с восходом; судя по тому, что светлая полоса над степью была не желтой, но яркой и с переливами, теплой на вид, было уже часа три. При виде зари, готовой вот-вот родить сияющее, привычное солнце, Фернандо, как всегда, испытал спокойное и счастливое чувство, будто посидел в теплой воде. Он не любил ночи; утро успокаивало... Он оглядел степь. Она была светло-синей и черной, но силуэты кустов и редких пальм уже рисовались на свете громадного неба. Летел мягкий, теплый, но еще свежий ветер, синяя трава дымовитыми волнами стлалась вдаль, за хижиной хрустели, топтались лошадь, коза с козленком, баран и корова, вдали, слегка в стороне от зари, металось и прыгало что-то; не разобрать: тапир убегал от койотов? Стая грифов спустилась на падаль? — кто знает; степь — живая, в ней вечно что-нибудь да творится, особенно на рассвете. Спокойствие ее ложное. Наверно, там все же грифы.

Он оторвал глаза от этих мешающих сдвигов и шевелений и вновь оглядел пространство. Быстро синела и голубела степь; курился низкий туман, и темнели забытые пальмы.

Он потоптался и равнодушным, привычным взором взглянул на то, что было вблизи: на старые кости коров, лошадей и овец, раскоряченные в недвижных судорогах, на кровавые остовы еще недообмытых дождями, недообветренных ветром, недообъеденных лисами и носухами тех же домашних животных, съеденных людьми и собаками лишь недавно, на черный котел, вывороченный из хижины после конца дождей, на шаткий забор и вязанку пальмовых листьев, на пиалу из тыквы — калебасу, все еще полную жирной воды. Ветер неслышно переменил направление, тронул лицо — и вдруг четко и сладко пахнуло падалью и отбросами: раньше потоки воздуха обтекали хижину, уходили в степь и слегка лишь гладили щеки, не донося ничего спереди. Фернандо взглянул на кости и вновь подумал, что хорошо бы заставить Хосе оттащить это в степь; но у мальчишки и так много дела... Ветер притих, и он тут же забыл свою мысль.

Сзади слышались вздохи, шаги и почмокиванья; семейство входило в утро. Он недовольно-привычно метнулся взором по хлипким доскам, звериным шкурам и тростнику, по крыше жилища, сплетенной из травы и пальмовых листьев, и обошел свой дом. Залаяли собаки. Его соловая лошадь стояла под ветхим навесом, хрустя, бурливо всхрапывая и хлеща хвостом по сухому и крепкому крупу; он оседлал и взнуздал ее, взял лассо, полосатое одеяло, мачете, арапник, лежавшие тут же в ящике, похожем на корыто, и прикрытые крепкой холстиной, приторочил лассо и одеяло к луке и оказался на спине лошади.

Как он это сделал, трудно было заметить; человек стоял — и вот он в седле.

Он спустился с пологого холма, на котором стоял его дом, и поехал по еле заметной тропке. Огромный багряный круг уже на треть стоял над чертой. Небо синело и зеленело — простое и чистое,— в лучах восхода застряла сверкающая звезда. Нож болтался у Фернандо в тряпичном чехле на поясе, белые штаны и рубашка были запылены и дырявы, на сандалиях нелепо блестели колесики шпор, кнут из воловьей кожи был зажат в кулаке, через плечо висела сумка с лепешкой и остатками от вчерашнего куска мяса; шляпу он сдвинул слегка вперед — солнце било в глаза. В тени от шляпы виднелись усы кольцом, и бородка, и красно-желтая, битая солнцем кожа метиса. Фернандо хмуро смотрел вперед и сидел на лошади так, будто был глиняным чучелом, крепко прижатым к седлу. Но одновременно его тело плавно и незаметно следило, и помогало, и как бы удваивало движения лошади. Трава водянисто шуршала под ногами коня.

Вдали показался еще один всадник; он ехал в ту же сторону и слегка сближался с Фернандо. Он поднял руку и повертел ею. Фернандо ответил тем же. Спустя немного тропка свернула и всадник остался сзади.

Был уже виден табун. Лошади стояли, уложив морды на крупы и спины друг другу; когда он подъехал, они немного забеспокоились, задергали головами. Лениво зевая и выгибаясь, подползла собака; молодой, но пустой, бестолковый пес, надо убить.

Он медленно, молча объехал табун; с его лица исчезло выражение утренней отрешенности, оно было настороженно, озабоченно и отчасти зло. Он заранее
 не доверял лошадям и злился на них; он устал за по-

следнее время... Фернандо смотрел: тут ли они, вожаки — жеребцы, подпирающие с наружных краев это беспокойное и тревожное целое — этот табун, несколько косяков? Так, рыжий... гнедой... вон серый, далеко видно... а где же, черт возьми, вороной?

— Луис! — резко крикнул Фернандо.— Где вороной?

Не оборачиваясь и не ища глазами, он ждал ответа от младшего сына; еще не видел его, но знал, что тот мигом возникнет. Луис ночевал тут, при табуне.

Бронзово-красный чернявый мальчишка в рваных коротких штанах возник перед конем и молча смотрел туда же, куда и отец. Потом они обратили взоры в зеленую и курящуюся, почти ровную в эту сторону степь и одновременно увидели силуэты проклятого жеребца и кобылы Кончиты. В то же мгновение Луис проворно рванулся с места, но длинная полоса воловьего жара уже настигла и оглушила его; над лопатками тут же набух лиловый рубец. Луис взвыл и кинулся под ноги лошадям, прячась меж ними, как в чаще леса; Фернандо вобрал повлажневшую, теплую кожу плетки в кулак и тронул поводья, разворачивая коня.

Подогнав храпящих любовников — черная с синим отливом шкура на крупе у жеребца заметно блестела на солнце,— Фернандо врезался в гущу влажных коней и быстро нащупал взором рыжую кобыленку. Он чуть устало вздохнул, пробрался к ней на своем соловом и стал надевать на нее узду с длинной веревкой, которую вытащил из-за пазухи. Кобыла поматывала башкой и скалила зубы; быть возне.

Он потащил ее за веревку из сонливого табуна; она тянулась, сопротивляясь и хлюпая горлом.

Отъехав от табуна, Фернандо подозвал угрюмого

Луиса и велел ему держать уши лошади, пока он будет крутить губу. Луис молчал и не подходил: боялся и отца и кобылы. Фернандо взмахнул кнутом,— мальчишка приблизился и вцепился в уши.

Фернандо затянул седло, хмуро пристроил петлю к верхней губе озверело застывшей кобылы — и вдруг молниеносным движением рванул на себя веревку. Глухая и обалдевшая лошадь вся сжалась и будто усохла, уменьшилась от разящей боли. Фернандо перебежал два шага, взлетел в седло, натянул поводья и молвил:

— Бросай.

Мальчишка отрывисто, как бы отталкиваясь от головы лошади, бросил уши и кинулся в сторону. Кобыла немедленно поддала задом, топнула, еще поддала — и пошло. Фернандо трясло, как в землетрясение, тело не успевало согласоваться с движениями свирепого зверя, хотя сидело крепко, он тискал шпорами кожу кобылы, сжимал ее ребра ляжками, мощно тянул поводья и думал: сейчас, подлюга, хлопнется на спину. Уж эта, она из таких... Ага, потанцуй, потанцуй — в меру — на задних. Это не страшно. Луис, тащи кастаньеты. Ага, вбок! Это ничего. Главное бы — не на спину! Нет — стой!

Он как тень соскочил с седла и угрюмо смотрел, как кобыла, грузно и торжественно завалясь, бьется в истерике на спине; грубо и мощно ходили вольные мускулы. Улучив тот самый момент, когда она только-только перевернулась и начала вставать, он снова вскочил ей на спину; она с новой силой поддала задом — он едва усидел,— и еще, и еще, и еще, раз пятнадцать; бока ее были в крови, кожа взмокла, но она все бесилась и прыгала, и наконец — долгожданный миг! — как бы вспомнив что-то, кинулась в степь, унося на себе Фернандо. Ветер хрустел по

шляпе, шуршала трава — и они неслись. Разогнавшись, кобыла встала как вкопанная — но нет, не обманешь; он усидел. Она опять понеслась; пусть носится. Это значит — скоро конец. Скоро поймешь узду, распроклятая.

Погоняв по степи, Фернандо с трудом вернул кобылу в табун — на сегодня хватит — и только решил отправиться к быкам и коровам, как подрались вороной с гнедым. Всегда есть в стаде кто мутит воду... Он отвязал лассо от луки, наладил петлю — и запустил. Распростертый в воздухе желтый круг наделся на хищную голову вороного, проскочил на взлохмаченную и крутую шею; жеребец ничего не заметил и продолжал, заворачивая губу, скаля выпирающие белые зубы, кидаться на отбивающегося передним копытом, визжащего гнедого, стараясь укусить его в бок; Фернандо ощутил неожиданную резкую и темную злобу. «Ах ты, черная сволочь»,— только и мог он подумать. Он круто развернул своего послушного солового и не оглядываясь потащил за собой веревку. Некое мгновение она была слабой, потом ликующе натянулась, рванулась вверх; не глядя, Фернандо знал, что конь полез на дыбы и, размахивая копытами, пытается пригнуть челюсти к шее и укусить веревку. Он подстегнул солового и, продолжая натягивать, в то же время готов был приотпустить лассо: если жеребец неожиданно кинется в сторону. Сопротивление усилилось; он оглянулся и угрюмо посмотрел из-под шляпы. Черный как черт, взлохмаченный конь неуклюже танцевал на задних ногах, остервенело визжа и пытаясь достать зубами лассо на шее, и подвигаясь невольно за всадником, раздирая двумя копытами пуки зеленых и крепких трав. «Походи, походи, как тот лис над водой»,— сквозь сжатые зубы шепнул Фернандо и, отвернувшись, вновь равно-

душно хлестнул своего коня. Жеребец за плечом захрипел и как бешеный прыгнул в сторону. Однако Фернандо предвидел это и, отпустив веревку, кольца которой стали ажурно сматываться с седла, тут же и натянул ее снова, как только этот косматый остановился варах[1] в пятидесяти; впрочем, он не расслаблял веревку: пусть чувствует каждый миг, что она на шее, пусть ни на миг не почует свободы. Фернандо вновь посмотрел. Жеребец обалдело стоял, мотая шеей, хрипя, пригибая шею к траве, вытягивая голову в линию с шеей — старался снять кольцо через голову, коли уж не удается порвать; но веревка крепко вонзилась в его сухожилия, в кожу, а если и сдвигалась, Фернандо с усмешкой слегка менял угол натяжения, и петля возвращалась на место. Жеребец опять пошел на дыбы и,— потанцевав, визжа и хрипя, и мотая башкой — снова кинулся прочь. Так продолжалось раз шесть или семь; Фернандо и сам весь взмок, но почему-то тиранил лошадь снова и снова. Наконец жеребец, с прозрением отчаяния в чем-то смутно заподозрив солового, оскалив зубы, кинулся на него, хотя и не мог не знать, что присутствие человека не сулит ничего хорошего. Седок ожидал и этого и резко хлестнул и дал обе шпоры коню, когда взмыленная, оскаленная, с безумным выпуклым оком морда напавшего была шагах в пяти; соловый рванулся с места, и вороной проскочил далеко назад; он повернулся и хотел было повторить нападение, но Фернандо, глядя на него с нехорошей, презрительной и застывшей улыбкой, еще раз огрел воловьим кнутом солового; тот скакнул, и веревка снова сдавила черную шею.

Вскоре понурого вороного загнали в табун.

[1] Испанская мера длины тех лет: 0,83 *м*.

Вымотав жеребца и сам едва дыша от усталости, в несколько раз усиленной из-за пережитых секунд опасности, Фернандо шагом поехал в сторону коровьего стада. Солнце уже пекло нещадно; давно прошли короткие минуты утренней бодрой свежести, и стояли влажные духота и жар. Солнце еще не осушило степь после недавних долгих дождей, испарения мощно катились к небу; трудно было дышать. Степь лежала неровная, зеленая, мглистая, неуловимо-дрожащая; одинокие пальмы, кусты не разрушали чувства пустынности, зноя, простора и одиночества. Грубо давило на спину, на плечи нещадное желтовато-белесое солнце.

Однако же некогда было смотреть по сторонам; требовалось переплыть речку: уже начались ее травянисто-грязные, топкие берега. Обычно Фернандо лез в воду, не замечая этого, думая о другом; сегодня же он подумал, что неохота снимать седло, раздеваться. Оставить седло? Ну нет. Хорош всадник на мокром... Он спрыгнул на кочку, разделся, взял в зубы нож, снял седло, вновь вскочил на коня, держа в левой руке одежду, увязанную с седлом. Вскоре лошадь стала входить в бурливую, мутную воду. Не вылез бы крокодил, не поднялась бы к брюху коня проклятая карибе — рыба с зубастой пастью, охотник до мяса. Соловый плыл, выставив кверху лишь ноздри и уши; Фернандо поднял седло с грязно-белым тряпьем над шляпой. Его спина и плечи были медно-коричневы и сияли от пота. На середине течение было еще быстрей; он подумал, не следовало ли пойти в объезд, к тому перекату, броду, которым ходило стадо. Подумал он и о том, что в молодости такие мысли не посещали его, а теперь вот какой уж раз он едет этим знакомым путем с этой думой в башке — о броде. Он миновал опасное место, соловый

выполз на берег в мелком кустарнике и, встряхнувшись всем телом, встал, ожидая привычных действий хозяина. Фернандо спрыгнул, оделся.

Впереди показалось пестрое знакомое стадо. Предстояло кастрировать двух быков, и Фернандо невольно замедлил езду, представляя эту грязную, скучную и опасную процедуру. Вдруг конь подпрыгнул, скакнул так, что Фернандо невольно судорожно сжал колени. Он оглянулся: сзади струилась в траве проклятая анаконда, сверкая затейливым, черно-желто-зеленым узором кожи. Она испугала коня.

Навстречу вышел Хосе и, придерживая поля сомбреро, смотрел прищуренно, с хмурым видом.

— Ну что? Готово для дела? — спросил Фернандо.

— Готово, но там у кустов — следы ягуара,— сказал тот, махнув ладонью к ложбине, где, извиваясь, густо-сине сверкала все та же речка.

— Да? Черт. Это из плавней Апуре. Пришел по берегу,— отвечал Фернандо, слегка меняясь в лице и медля слезать с коня.— Ночью пугнем.

Известие было плохое; дон Хоакин Паласиос не верит в койотов и ягуаров и полагает, что человек, говорящий об этих зверях, выражает неуважение к его, Паласиоса, доброму сердцу и добрым правилам и обманывает его. «Койотов тут вовсе нет». «Прошлым летом пар двадцать пришли из Мексики, господин». «Что за вздор». Он заставит все отработать, да и невзлюбит «за хитрость и лицемерие».

Прежде чем приступить к «делу», он врезался на соловом в стадо, хлестнул по горбу верблюда (экое чучело завезли канарцы), отобрал пять бычков и поочередно отвел их в сторону, таща за рога веревкой. Они мычали, крутили рогами и не хотели идти; все это был полудикий, свободный скот.

— Свяжи их от рога к рогу, Хосе,— сказал Фернандо, когда наконец все пять стояли отдельной суровой кучкой и подозрительно наблюдали за шагом солового.— Этих сегодня кончим, нужно тасахо. Не помнишь, соли — много у нас?

— Да хватит,— сказал Хосе, поглаживая коричнево-медную шею.— Кувалду нести? Я вон того, рыжего — по лбу. По белому.

— Подожди, не к спеху. Свяжи и готовь костер. А я за быками. Двух подрезать, а после еще клеймить штук двадцать. Эх... дело.

Он снова врезался в стадо, но тут вдалеке завизжала собака.

— Чего она? Где? — оглядываясь, спросил Фернандо.

— Не знаю,— сказал Хосе, боязливо глядя в кусты вдалеке.

— Дай палку.

Он быстро насадил и закрепил мачете ручкой на полом бамбуковом древке и поехал туда. Трава была высока и кустиста, заросли впереди — еще хуже; если ягуар — плохо. Но днем!?

Он слышал возню; собака рычала и, чувствовалось, отступала, боясь и с грудинным хрипом пятясь; не ягуар, нет. От того бы она катилась без оглядки, визжа, скуля и жалуясь, как на привидение. Наверно, койоты.

Заслышав коня, два рыжеватых зверя нырнули в кусты, туда, ближе к воде — только их и видели. Хорошо, что в стаде нет овец.

Он позвал собаку, хлестнул ее сверху довольно лениво — зачем оставила стадо? — она лениво же взвизгнула — разве я не нашла врагов? — и повернул назад; он уже отыскивал взором нужных больших быков, когда заметил приближающегося всадника.

Он то нырял в невидную глазу ложбину, то вдруг выпрыгивал ввысь; казалось, он движется по волнам. Фернандо отметил это, ибо смотрел свежим взглядом: он не привык, чтобы в это время дня — солнце над головой — к нему бы жаловали гости, да еще со стороны города. С пикой в руке у седла, с рукой на узде он молча ждал гостя; мальчишка стоял в двух шагах за хвостом коня: если надо, поможет. Плохо, что не успел принести кувалду или топорик.

Человек приближался; хороший конь; вроде того вороного. Краденый: седло бедное, не сияет зеленым, синим и алым; седло и одежда — не под коня. У всадника рыжая борода. Белый.

— Послушай, Фернандо,— послышался будничный голос.— Не бойся. Я по делу.

— Ты кто? Не ближе. Подними руки.

— Да ладно.

— Пистолет есть?

— Есть, но не в этом дело. Оставь. Надо поговорить.

— Ты кто?

Голоса звучали гортанно и глухо в открытой, душной степи. Смутно голубело бледное небо, и зеленела трава.

— Я — Бовес.

Фернандо молчал. Он слышал об этом парне, но как-то не верил в его существование.

— Но ты в тюрьме.

— Меня отпустил Антоньясас.

— Кто?

— Слушай, Фернандо. Не молоти языком и не пожалеешь. А нет — смотри.

— Я не звал тебя.

— А я не просил твоего разрешения. Хватит.

 Мне там сказали,— он двинул плечом назад,—

что твой дом хорошо стоит: посредине пастбищ. Вдобавок он на холме. Мы будем у тебя вечером: не пугайся.

— Кто?

— Не твое дело.

— Я окажу сопротивление.

— Дурак. Я — твой друг. Да ты не слышал обо мне, что ли?

— Я слышал.

— Прощай.

— Кто послал тебя?

— Твой же шурин Дьего Хименес. Прощай.

— Так бы и говорил сначала.

— Мне некогда рассусоливать. Дай что-нибудь твое, чтоб жена и детки не размозжили башку. Я сразу поеду.

— Возьми, жена знает мою повязку на шляпе.

Он кинул шляпу; тот поймал и бросил ему свою. Приезжий тронул коня и медленно поехал к речке.

* *
*

Когда Фернандо вернулся домой, там уже дым стоял коромыслом. Галдели десять-пятнадцать мужчин; необычное множество сухих кактусовых игл и плошек дрожало пламенем, потные лица, потные мускулистые груди в расстегнутых белых рубашках склонились над котлом, перевернутым кверху, на который еще взгромоздили какой-то ящик. Густел табачный дымище, окурки швыряли прямо на землю; тлела сухая трава посредине комнаты. На ящике, покачивая сморщенным тыквенным боком, стояла калебаса, мелькали кокосовые чашки с пальмовым вином — ясно, все уже нахлебались; в первую минуту Фернандо обалдел — так непривычен был вид

его обычно угрюмого, темного и гнетуще-сырого жилища.

— А, хозяин! — промолвил Бовес, немного сузив бело-голубые глаза; он сидел напротив входа — пистолет у руки, плошка неосторожно сияет прямо в лицо — на низком черепе лошади за ящиком-чугуном-столом и, раздвинув колени, подпирал бедром локоть и кулаком — подбородок. Свет снизу делал его лицо еще бледнее, чем днем; оно было желто-зеленое.— На, выпей, и не мешай.

Фернандо пошел, взял полутыкву-тотуму и выпил; хмель тут же ударил в голову: за весь день он поел лишь остатки вчерашнего мяса, да и то поделился с Хосе. И лепешку отдал... Надо беречь еду, он давно в долгу у Паласиоса; а в сушь будет хуже...

— Ты пей не здесь, отойди туда,— сказал Бовес; усевшиеся на пеньках, крокодиловых черепах, на камнях его сотоварищи молча смотрели: приход Фернандо заставил их замолчать. Он отошел, и они опять завопили. Под стенами на бычьей шкуре жались испуганные жена и маленькая Хуанита; на лавке спал Пепе — еще моложе ее. Он был завернут в мех и забыл в кулаке две коровьи бабки, которыми, видно, не наигрался днем. Фернандо взглянул на него, ногой подтолкнул Хуаниту к матери и уселся на край постели, обхватив колени. От земляного пола несло прелью, в хижине было затхло и потно; там, у огня, галдели. Он снял сандалии, потер разбитые сбоку ноги, опять устало понюхал закуренный, затхлый и гнилостно-сладкий воздух и начал слушать.

— Король не хочет нам зла,— говорил заросший, вертлявый, сидевший спиной к Фернандо и рядом с Бовесом.— Он не подведет, не обманет. Кто посадил за решетку Бовеса? — подлые мантуанцы; кто освободил? — король, сержант Антоньясас. Этим он выразил

уважение к стени. Все знают, что Бовес, хотя он и астуриец, и бывший моряк, и каторжник,— что на самом деле он от рождения вождь степей, и больше никто. Тем, что король освободил Бовеса...

— Довольно,— сказал носатый, сидевший наискось; Бовес быстро взглянул на него, и тотчас же постарался укрыть этот взгляд: посмотрел так же резко в другую сторону, вверх, вперед — мол, просто пришла охота оглядеть помещение. Фернандо заметил это, но все равно он мысленно одобрил прервавшего. Ему не понравилось, что первый слишком грубо подмазывался к Родригесу-Бовесу, атаману степей. Начальника следует уважать, но не унижаться перед ним, не льстить.— Мы знаем. Бовес — наш командир, с этим никто не спорит. Он крепче, умнее нас всех. Довольно об этом. И что король за нас — ясно. Вот только Бовес зря украл у офицера коня.

— Не мог же я ехать на горбыле, которого мне пожаловал Антоньясас,— чуть усмехнулся Бовес, нехорошо посмотрев на носатого.— Да ведь оно и к лучшему. По дороге меня остановили креолы. Еле отбился, все бросил — лишь конь и спас. Видите, как потрепан,— он длинным ногтем поскоблил по лохмотьям, сползавшим с его бугристых и узловатых груди и плеч. Он вновь усмехнулся, открыто оглядывая носатого.

— Есть, к делу, к делу,— загомонили кругом.

— Король — нам опора,— спокойно промолвил Бовес.— Всех мантуанцев — резать. Вот и все дело.

— Что? Что? — вдруг привстал на шкуре Фернандо.— Что?

Все умолкли и посмотрели на него.

И обратили взоры к Бовесу, молчаливо призывая его ответить Фернандо.

Тот повернул свою рыжую голову на короткой

мясистой шее, взглянул на Фернандо, померил его глазами и резко и медленно, как бы вбивая глухую сваю, вновь произнес:

— Всех мантуанцев — резать. Вот и все дело.

Фернандо стоял уже в полный рост; горько-сладкое пальмовое вино кипело в висках и в сердце, и целая буря гудела и бушевала в его мозгу. Он распаренным взором смотрел в пространство перед собою — и видел многое.

Да, король. Он велик. Но не в этом дело.

И вдруг с оглушающей, ослепительной, яростной, пламенной радостью он представил, как он подходит — креол, мантуанец, застенчивый человек, сеньор Хоакин Паласиос... вот он, в белом жабо и фраке...

И он увидел — ярче, чем в солнечном свете, увидел он пред собою все то, что видел в детстве, в далеком детстве: видел и забыл. Но теперь вспомнил, увидел снова.

Он увидел красный обрубок шеи надсмотрщика дона Педро, и его тело в красной крови, и его голову с бледным лицом в отдалении.

Он снова увидел два пальмовых столба и длинную, толстую жердь-перекладину сверху; и все его родственники-мужчины: два краснокожих старика, краснокожий отец, и дядя, и еще двое — все они висят на прибитой жерди, едва касаясь ногами земли, дергаясь и стараясь достать пятками твердую, красную и родную почву; и нет, не могут они достать: белые умеют вешать. Они повесили так, чтобы люди стремились и дергались, но не доставали. И мать, сама белая, валяется у подножия виселицы, рыдая и умоляя начальника пощадить этих бедных индейцев: они не нарочно, у них был злой, недобрый надсмотрщик... И белый начальник — кто он? Испанец? Креол? Все равно; белый начальник велит ей встать

и, когда она поворачивается, медленно приставляет ей шпагу к ходящему, дышащему животу и так же размеренно, медленно погружает ее в живот; мать бьется, хрипит, из-под шпаги сочится красная кровь, другой начальник что-то командует, и под виселицей вдруг вспыхивает дымный огонь, и корчатся жертвы, и смердят паленым их пятки, лодыжки; и он орет, орет как безумный, как поросенок — и прочь бросается.

И вот снова лицо Хоакина Паласиоса — оно приветливо, и он говорит:

— Фернандо...

И он говорит:

— Фернандо...

И он говорит:

— Ты понимаешь, я рад бы тебе помочь. Перед богом мы оба равны. Мы оба дети природы и божьего разума. Но ты войди в мое положение. У меня жена, трое дочерей. Надо им замуж. И зачем ты про ягуара? Ну, какой ягуар. А койотов нет вовсе. Уж скажи — так и так, зарезал быка. А то ягуар; лгать нехорошо.

И я, я, Фернандо,— я подхожу и вонзаю нож, вонзаю нож в его горло, и поворачиваю, и поворачиваю, и соленое, красное — на жабо. За реку, за ягуара, за жеребца, за усталость, за дым, за туман в мозгу!

И свои быки, земля, свой табун, и жена, встречающая его, вернувшегося от белых женщин, несущая воду, родную тыкву и деревянную чашку.

И главное — это радостное, дымящееся чувство свободы, мелькания, света — чувство, уже не связанное ни с Паласиосом, ни с конем, ни с усталостью, ни с работой, ни с потом,— чувство огневое, голубое и белое, золотое само по себе...

Он глухо стоял, глядя перед собой, улыбаясь и

ожидая чего-то, и окружившие тот котел глядели и ждали. И он сказал:

— Да, резать креолов. Да. Да. Мантуанцев. Я с вами.

Он поглядел на Бовеса.

— Бовес — белый. Но он за освобождение, он за великого, прочного короля; он за нас. Да. Он белый, но он за нас. Резать белых.

Оцепенение кончилось; все закричали «вива», загомонили, предлагали Фернандо выпить, говорили, что назначат его в хороший отряд; было особое, бодрое и хмельное веселье, которое возникает, когда находят единомышленника.

Родригес-Бовес орал, предлагал вино, хохотал; но Фернандо заметил, что он подсыпал пороху на полку... прошла минута божественного, высокого транса, и он, Фернандо, замечал уже многое. Он присел к столу и невольно взглянул на носатого. Тот сидел, нечаянно отойдя душой куда-то, задумавшись.

Когда разъезжались — храпели и топали кони,— незначаще хлопнул выстрел. Он подождал, пока топот стих, взял свой иззубренный заступ и вышел. Носатый лежал ничком, подвернувши голову, как петух со скрученной шеей. Фернандо посмотрел, куда рана: так и есть, в затылок, под кость. Он вздохнул, покачал головой — и нехотя начал копать.

* *
*

Голый по пояс «кровавый шакал» Родригес-Бовес, выпятив крепкую грудь, сидел на своем вороном, напоминавшем Фернандо о том зловредном буяне из стада Паласиоса, и принимал доклады от командиров. С холма было хорошо видно, как со всех
 сторон стекались отряды всадников к месту сбора;

одни были дальше, другие уже подъезжали. Ржали кони, торчали пики — ножи на древках. Стояли дикий гомон и топот, учиняемые уже прибывшими. Кто усмирял горячую лошадь, кто пререкался с соседом — ох, не быть бы беде! — кто собирал своих голодранцев вновь в одну кучу, желая пересчитать наличный состав: были такие, кто отставал по дороге и исчезал в степи. Но в общем царило хмельное, веселое возбуждение; было такое чувство, будто разламывал кости, хрящи, суставы после дурманного и кровавого сна. А ведь вечером праздник. Да, было как перед праздником. Самое лучшее время. Сам праздник — уже не так. А перед праздником — хорошо.

Приблизился новый отряд. Глава его, старый мулат Урдиалес, пестро-седой на фоне своей шоколадной кожи, три раза потряс копьем и, отделившись от прочих, поехал на холм к повернувшемуся в его сторону Бовесу.

— Сколько?

— Двести и шестьдесят сабель и пик, командир.

— А ружья? А пистолеты?

— Сорок пять ружей. Тридцать пять пистолетов.

— Ты грамотный?

— Мало.

— Пороху? Пуль?

— Пороху — две арробы [1].

Тем временем бахнул выстрел. С коня валился голый метис в одной набедренной повязке, с пикой в руке; а конь еще мчал к другому метису, который сидел на коне же, с дымящимся пистолетом. Этот явно летел на того с копьем, но сидящий успел использовать свое превосходство.

— Ссорятся, подлые. Рано перепились,— провор-

[1] Мера веса, около 12 *кг*.

чал начальник и бело-голубыми глазами обратился к мулату:

— Так, говоришь, две...

— Начальник! — послышалось сзади.— К тебе пришли мы.

Бовес вновь повернулся и проворчал:

— Ты чего орешь? Ослеп, что ли?

— Я вожак отряда.

— Так ведь и я говорю не с бараном.

— Но мой отряд...

— Помолчи. Так ты говоришь,— повернулся он снова к Урдиалесу, но из-за спины донеслось:

— Начальник! Прими отряд! Мой отряд — больше и...

— Наказание,— проворчал начальник, таща из чехла пистолет и взводя курок.— Примешь его людей,— говорил он Урдиалесу, одновременно повернувшись назад и стреляя в надоедавшего.— Падай, падай. На, на,— как-то задумчиво, тусклым голосом говорил он, ничуть не рисуясь, доставая другой и еще один пистолет и с привычным интересом и удовольствием наблюдая, как на теле лежащего появляются все новые и новые рваные красные брызги и пятна.— Так что же? — спросил он, суя пистолеты своему ординарцу: перезарядить.

— Это наше вооружение,— отвечал престарелый Урдиалес, кося глазами под ноги лошади Бовеса и подавленно сглатывая слюну. Окружающие тоже смотрели на распростертого, и на спокойных лицах было написано: он, Бовес, прав. Иначе нельзя.

Фернандо отъехал и повернул к своему отряду.

Кругом шумели, росло возбуждение. Там, обнявшись, ходили в ритмичной пляске вокруг костра несколько метисов и самбо — голых до пояса, в белых штанах. Там тренировались на шпагах двое —

белый и краснокожий,— и белый, не соразмерив силы, заехал «врагу» в лицо — вышиб глаз, и вокруг хохотали, хлопая по коленям, довольные и подвыпившие зрители; а после кто-то что-то сказал — «нарочно», что ли,— и все напали на белого: толпа сомкнулась; там негр, стоя на седле, держал речь: «Король Фердинанд даровал нам землю, но мантуанцы, помещики, скрывают вердикт короля»; там — треск кастаньет, хлопки; там — сегидилья, фанданго; там кумбия; там кружится малагенья; там мелодию «маре-маре» бренчит четырехструнная гитара куатро; там в хохоте исполняется танец галерон; там бухает барабан; здесь двое борются — давно уж всерьез, а не в шутку.

Фернандо ехал, смотрел, вспоминал сказание о свиданиях ягуара с лисицей, тапиром, кайманом, черепахой и испытывал некое беспокойство, смешанное с весельем, и хмелем, и сочной, лазурно-зеленой и яростной, алой радостью.

* *
*

Юноша в синей куртке и узких брюках вышел из города — миновал последние белые домики с их узорными низкими балконами и патио за стенами — и пошел по дороге; она поднималась на длинный холм, закрывавший видимость.

Юноша нес узелок на палке; он шел по своим делам — он тащил отцу, застрявшему со своим рубанком и долотом на ферме, домашние маисовые лепешки и записку с каракулями мамаши, его супруги.

Думая о своем, глядя в красную пыль дороги, он вышел на гребень холма и уже зашагал было дальше, но посмотрел и остановился.

Вдали вставало облако серой и красной пыли. Но

облако не было облаком — круглым и ровным. Оно было неимоверно растянуто почти по всему горизонту и приближалось гораздо быстрее, чем пыль от неловкой кареты. Ближе к дороге оно было крепче и гуще; там, по краям, а кое-где и в других местах оно было прозрачнее, эфемернее. Там что-то двигалось — только что?

Постепенно лицо его утрачивало свое отрешенное, замкнуто-легкое выражение. На нем выразилось минутное сомнение, недоверие к самому себе — как бы страх, нежелание верить; затем оно решительно, ясно, бесповоротно исказилось от дикого и животного ужаса. Казалось, проснись юноша рядом с чумным больным — и то его взор, его вид не выразил бы столь безудержного, потустороннего страха.

— Льянерос,— хрипло, для самого себя, будто желая в душе убедиться, шепнул мгновенно вспотевший мальчик, сглатывая слюну.

— Льянерос!!! — несся через минуту животный, утробный и ужасающий крик по смятенным улицам Калабосо, куда он вернулся с холма.

Венесуэльская степь, саванна — безбрежные, мглистые льянос — пришли в движение; Калабосо был первым городом, вставшим на их пути.

К нему-то и приближались в растянутом, колеблющемся багровом и сером облаке люди из степи — решительные льянерос.

* *
*

Калабосо был вырезан полностью.

Конники лихо умчались, оставив на улицах мелкие смерчи из свежего пепла, тряпки, горшки и ведра из разоренных патио, столбы с привязанными людьми, засеченными сыромятным бичом, рассекав-

ним мясо до кости. Стояла пушка с повисшими на ней трупами: палили в честь славной победы, ствол раскалялся, привязанные пленники корчились и умирали. Кое-кого не добили — нарочно: оставили умирать от жары, ядовитых мух и от голода, с буквой «п» («патриот»), загоревшейся посредине лба под калепым железом.

На очереди были Кумана, Сан-Хоакин, Окумаре и сам Каракас — великая столица гордой республики.

Рассказывает Родригес-Бовес

Когда я приехал с каторги, надо было заняться делом. Время было хорошее. Все передрались, и никто не знал, чего ему надо; такому, как я, было что делать.

Я поменял фамилию Родригес на Бовес: так звали человека, большого делягу, контрабандиста, убийцу, который замолвил за меня слово и помог отделаться от моих галер. Живя в степях, приятно иметь такую фамилию.

Я стал жить в Калабосо, торговать лошадьми и мулами и наладил степные знакомства. Многие думают, что добиться уважения у льянерос нельзя. На деле это легко. Они уважают силу; это у меня было. Я был от рождения ловким и сильным, легко перенимал всякое умение. Стоило посмотреть на человека, у которого я хотел научиться, как мои мускулы сами двигались, и тут же я пробовал сам, а если не получалось, делал, пока получится. Но, как правило, получалось быстро: у меня глаз, сноровка на дело, умение. Я и раньше был заядлым лошадником, а придя с моря в степь, помня, в какие положения мы попа-

дали в бури, на контрабанде, стал ездить лучше их всех, а все остальное — нож, пика, вино,— этому мне учиться не надо было.

Когда началась заваруха, я вышел за патриотов. Сказал какому-то попугаю, из мантуанцев, что хочу на службу. Он спросил, готов ли я пожертвовать свою жизнь за свободу родины. Я сказал, что готов пожертвовать свою жизнь за свободу родины. Он спросил, не боюсь ли я тут же пойти на бой. Я ответил: что, мол, мне-то бояться? Меня поставили в строй и погнали куда-то; это мне не понравилось. Я думал, что мне дадут коня и хотя бы с полсотни людей. С ними бы я додумался, что мне делать. Мы плелись да плелись по пыли, и я решил: хватит, пора это кончать. Я стал толковать солдатам в своей шеренге, что мы вот топаем, а офицер продался испанцам — ведь он помещик и вовсе не хочет свободы рабам, мулатам и самбо,— что испанцы сзади и по бокам, что нас порежут как скунсов и все такое. Они развесили уши, но кто-то донес. Меня упекли за решетку, но тут и правда пришли испанцы, порезали этих республиканцев и открывают двери: «Ты кто?» Я, мол, солдат короля, страдаю за свою верность, хотели кончить. Ну, иди за нами, раз ты солдат.

Начали мы крошить креолов.

Мне капитан говорит: ты молодец. Узнаю, говорит, испанца, сына Астурии. Произведу, говорит, тебя в сержанты. Нет, думаю, не болтай. Попадись ты мне в море, я бы тебя сподобил... сына Астурии. А сержантство твое, как собаке телега. И толку мало, и не люблю, когда меня благодетельствуют. Однажды, после, один метис меня от пули закрыл. Ну, пуля шмякнула ему в мякоть груди, из-под мышки вышла. Я вижу сзади: рана пустяк. Так я ему бац в затылок, он и язык наружу, пуля из глаза. Вот так. Делай свои



дела и не лезь в чужие, не благодетельствуй. Подумаешь, дворянин.

Так и тут: думаю, нужны мне твои сержанты. Пошел к большому начальству. Так и так, говорю, отпустите в льянос. «Зачем?» Я, говорю, пообещаю им землю и устрою войну цветных против белых, креолов. Генерал понял меня с полуслова, ступай, говорит.

Начали мы это дело. Много народу насобирали. Конечно, испанцы — им лишь бы креолов перекрошить. А уж там — и земля, и другое — простите, мое почтение. Я это понимаю, но у меня-то — свой интерес.

Какой он, мой интерес? Простой. Не люблю я ничего этого — деньги, балкончики, состояние, тюрлюрлю. Я человек простой, сильный. Мне лишь бы воля — чтоб ветер и ширь в глазах, море ли, степь ли — и бой, и кровь. Бой люблю. Ты норовишь его, он — тебя, но ты всегда побеждаешь. А кровь... что это такое? это мне лучше вина. Люблю смотреть на красную кровь, да чтоб еще орали, визжали. После боя, когда распалишься, хорошо пустить красные реки по всему городу; не люблю городов, не выношу. Тонкие штаны, жабо, книжки, разговорчики! Ненавижу! Степь, воля, выпить, кровь пустить — да! Кровь, честно скажу, в бою хороша, но без боя — оно еще лучше. Спокойнее. Неторопливо этак.

Били мы их, резали, как баранов. Чего не придумывал только. Мои быки, они ведь только скакать да пикой, да ржать на мою выдумку, а у самих соображения никакого. Придем, со стен пистолеты да ружья. Ребятам лезть на рожон неохота. Как быть? Тут идут с белым флагом. Клянись не трогать женщин, детей — сдадим город. Клянусь. Не верят. Клянись, говорят, в церкви на алтаре. Что ж, пойдем. Ребята мои: не надо. На алтаре поклянешься — при-

дется их выпустить. С богом, мол, шутки плохи. Ладно, думаю,— так? Пойду. Клянусь. Потом: эй, Мигель! Ты, что ли, говорил, что шутки плохи? — Я.— Иди сюда, на́ оружие — хорошая шпага, толедская, не то что твой свинский тесак; каждого, как будут подходить к воротам, будешь тыкать сюда вот, в ямку под горло. Ну, он идет — знает, что бог богом, а шутки плохи со мной, с Бовесом. И обязательно на какой-нибудь там старухе — на мамашу, видишь, похожа,— на мальчишке или на ком там еще он заткнется, загнусит: не могу, мол. Знаю я этих, которые про алтарь. Ну, тут без разговоров ножик ему под дых: шути, мол, шути. А того, кто выдержал,— сразу того в офицеры, будь он хоть негр, мулат, самбо, раб, кто угодно.

Мы шли, брали город за городом, резали, вешали и пороли бичом, снова шли, снова брали город и снова не оставляли ни одного живого. Испанцы нас только похваливали да похваливали, этот выскочка Монтеверде опять зашевелился в своем Пуэрто-Кабельо, за стенами: ждал армады из Кадиса, а главное — мы помогли. Все, что он проморгал, все победы этих креолов, республиканских метисов, Мариньо, Боливара, всю эту их республику, болтовню — все это мы размели в пух и прах за какие-то месяцы. Расколотили и самого Боливара, этого пустозвона. Военный он ничего, и храбр, но много болтает и горожанин, и слишком умен — вот и помчался, поджавши хвост. Знай дело, да и не лезь куда не просили. Рейес Варгас и другие индейцы, которым мы тоже пообещали землю, чины и так далее, перерезали другие отряды их. Только тот, блаженный, Кампо Элиас — ну, этот нам стоил хлопот. Как он дал нам у Москитерос. Он, говорят, поклялся свести «всю проклятую расу испанцев» с лица земли, а тут мы еще подвернулись. Мы за

испанцев. Крепкий малый, тут ничего не скажешь. Но только и он не помог: всех расколотили.

Эх, скажу вам одну вещь. Поверьте, уж так оно и есть. Когда вас много и ваша сила — это и есть вся правда нашей земли. Остальное приложится.

Подошли к «столице республики», к Каракасу их. Видят, дело серьезное. И тут их начальник, блюдолиз европейский, Боливар, вывел себя мужиком, не барышней. Он военный и многое понимает, только строит из себя святого Фому. Видит — мы вот они, а у них там, в городе и за спиной, в Ла-Гуайре,— куча пленных испанцев, человек триста. Человеколюбие, дева Мария, Иисус Христос... сидят живые. Пестуют, кормят пленных — это же смех. Пленных вообще быть не должно... Ну, а эти, испанцы, видят, тут тряпки, не будь дураки, готовят мятеж в тылу у этих. А что им, их много, может и выйти. Крепко я надеялся на этот мятеж — думал, проведем этих дураков, а там в спокойной обстановке вырежем и Ла-Гуайру, и город, столицу их. Правда, ссориться с королем было рано, испанцев пришлось бы выпустить. Но уж этих, республиканцев,— мое почтение... Только не вышло. Боливар узнал, и раз — всех перестрелять. Всех испанцев кокнули. Говорят, Арисменди, которому поручено было дело, в Ла-Гуайре не тратил пуль, а сжег тех живьем: запалил с четырех концов казарму, где они были заперты. Кто выскочил, добивали. Боливар сам не додумался — кишка тонка,— но все равно молодец. Что ж, ничего не скажешь — мужик молодец. Только нечего корчить деву, разводить маркизы да сопли: свобода, любовь, братство. Кокнул же всех испанцев? Э, то-то! Кто кого. И нечего языком крутить. А то и после развел: «Мы пошли на вынужденные меры... Бовес угрожал чести и жизни не только военных, но и населения города,

женщин, детей, стариков. Его издевательства, его пытки известны. Мы не могли ждать сложа руки, когда нож был направлен не только в грудь, но и в спину...» Оно все так, и пытки известны — жаль, не попал ты мне в руки, сам-то сбежал, а столицу твою мы ведь все едино всю распушили в мелкие перья! — а все же и не болтай.

Мы шли дальше и дальше. Белых мы убивали без разговоров не только в городах, но и везде. Города вырезали полностью.

Боливар, Мариньо, Пиар и другие сбежали, их «генерал-народ» Рибас был нами убит. Все они перегрызлись перед концом. Рибас хотел арестовать Боливара и Мариньо, которые будто бы смылись с каким-то золотом. На деле они как раз отбили это золото у какого-то своего генерала, а старому дураку «генералу-народу» не приходило в голову, что если б они украли, так не вернулись бы. Долго спорили, обличали друг друга... вояки.

Боливар сбежал в Картахену и снова, оправив перья, закатил речь; вот у меня листок:

— На горе нам, мы побеждены нашими же братьями. Освободительная армия истребляла банды врагов, но не могла и не должна была истреблять население, в защиту которого сражалась... Я был невольным орудием этой новой катастрофы, постигшей нашу родину. Но я клянусь вам, любимые соотечественники, оправдать имя Освободителя... Нет такой силы на земле, которая заставила бы меня свернуть с намеченного пути. Я вновь возвращусь и освобожу вас.

Когда мне читали это, я усмехался. Болтай, болтай. Только не лезь в Америку, раз такой.

То ли дело я, Бовес; я, может, завтра подохну
 в бою, на пике их патриота, который будет ловчее

меня. Так что ж? Я не жалуюсь. Только помру я — будет Моралес, будут другие; нас много, мы дело знаем.

Генерал Фьерро считает, что следует перебить всех американцев до одного. В Венесуэле и мы, и сами испанцы слали к архангелам каждого, всех креолов, которые попадались в руки. Очередь за другими.

Пусть трудится Фьерро, пусть ходит Моралес.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

Он ехал назад, механически смотрел на вершины и скалы, возникавшие перед ним в обратном порядке, но был уж внутри себя, не отдавался природе, не выпевал ей душу навстречу. Может быть, так было и потому, что взор теснили серые камни, утесы — золотая, зеленая долина была еще далеко, не предчувствовалась.

Да, ныне 1830. Не праздничный 1811, но и не трагический 1815, когда все казалось потерянным.

Хорошо теперь знать, что за тем 1815-ым шли годы, которые привели к победам; хорошо с улыбкой вспоминать о Ямайке, куда он прибыл один в целой вселенной, но бодрый и ясный.

И только он, только сам он может ответить: отчего же тогда, когда внешне, физически все было потеряно, он был весел, уверен в себе и умел внушить эти чувства другим; и отчего сегодня, когда он — на вершине, когда он покорил Чимборасо нелегкой своей судьбы,— отчего сегодня он стоит перед тяжким этим решением, которое зреет в душе?

Зреет, но еще не созрело...

 Может, все просто — прошла ты, молодость?

Он с грустью вспомнил, что нездоров, что завтра ждет пустынное, мертвое, что будущее не сулит ничего веселого; но не это мучило его. Вернее, оно было неотделимо от того, от главного в этот миг.

Он оборвал нить воспоминания, но призраки прошлого все стояли перед глазами.

Грязная и кровавая реакция, полуреволюции, война за свободу, уничтожившая чуть не половину людей страны, захотевшей свободы,— что лучше? Куда преклонить голову?

Он болен, и родина, которую он освободил наконец,— клянет его. Клянет и угрюмо смотрит — свободная и родная. Ах, вспомнишь Устариса... но что же Устарис. Он был слишком умен. Он мысленно проделал весь путь Боливара, он пришел к этой, нынешней — а может, и более дальней? — точке, и он не вышел при этом из своего кабинета.

Блаженны люди, видящие все наперед, и да поможет бог тем безумцам, кто действует, живет не умом, а всей жизнью... Что же Устарис. Не мудрено сказать человеку, идущему в пропасть, что можно и размозжить череп.

А сколько прекраснейших, чистых ушли под землю — и ничего не оставили после себя, кроме сомнительной памяти в душах живых сограждан. Лучшие, благородные шли вперед и гибли, а оставались хитрые, ловкие, равнодушные. Они хохотали над могилой героев, они клеветали, чернили их память; а ныне они готовы предать их и самой страшной пытке — пытке забвения. Мертвые беззащитны, мертвым не больно, и, главное, мертвые — молчат. Говорят выжившие, судят о прошлом выжившие. А *кто* выжил? Он, Боливар, не в счет — он уже не жилец. В лучшем случае — Сантандер. Но как же?

Как вынести тем немногим свободным и чест-

ным, кто еще жив, этот страшный удар по лучшим, умнейшим, благороднейшим, что погибли,— забвение и молчание о них? Все лучше — позор, клевета, поношение, упреки, попрание правды, но только вслух: когда поносят, когда бранят, ненавидят и обливают грязью, то есть горькая надежда, что в ком-то — быть может, в нынешних детях — эта брань, эта ненависть родят подозрение, интерес, любовь, и они вспомнят, они пойдут, они будут искать, они восстановят истину. Но забвение? Молчание? Тупое самодовольство выживших? Оголтелая тишина, безгласность?

Кто напомнит о юноше, милом, трогательном поэте, с саблей в руках бежавшем навстречу толпе льянерос? Через пять минут от него, от его неповторимой души, от его поэзии, от его тела остались лишь три-четыре кровавых куска, и это — разнесли на пиках разъяренные «адъютанты» Бовеса. Кто вспомнит о сотнях тысяч погибших детей? Кто вспомнит о юном Карлосе Монтуфаре, сыне маркиза де Сельва Алегре,— сподвижнике Гумбольдта в изучении Чимборасо, умнице, храбреце, казненном Морильо,— об одном из тех, чьей доблести, уму и бесстрашию обязаны своим благополучием нынешние каракасские и эквадорские богачи? Кто вспомнит о милом Франсиско Хосе Кальдасе — ботанике, химике, астрономе, бесстрашном мирном завоевателе андских вершин, ледников и кратеров, гордости испано-американской и мировой науки,— так же, как Монтуфар, замученном изуверами в шестнадцатом кровавом году?

Кто вспомнит других — лучших и благороднейших?

Ведь самая суть благородного человека в том, что он — впереди, что он вечно ставит свое человеческое выше своего материального; что он вечно

первый идет к опасности — и, таким образом, погибает первый.

А выжившие, они смеются над ним и вершат свой суд — в лучшем случае клеветой, в худшем — забвением.

А что же их бог? Ну да, он создал человека свободным; он предоставляет ему решение и не подсказывает его.

Он так последователен в этом, он так последователен в своем молчании, что даже у темного человека неотвязна мысль: есть ли ты, боже? Нет тебя.

Где же вознаграждение?

Зачем, для какой цели быть умным и благородным?

Только затем, что ум, высокая душа, благородство — мета несчастья и ранней гибели?

Где же вознаграждение?

«Только за гробом»?

Где же вознаграждение в этой стране, самой природой не созданной для свободы? Мучающей, казнящей, тупо и яростно ненавидящей своих лучших, своих благороднейших? Недоступной духовному братству и справедливости?

Для чего гибли дети, разбитые головой о железный столб? Для чего льянерос резали креолов, а до этого креолы резали испанцев, а после испанцы резали креолов, мулатов, метисов, льянерос, и уж льянерос резали, потрошили испанцев, и волонтеры-англичане стреляли в испанцев, и сумасшедший полковник Рук размахивал своей оторванной рукой, зовя свой отряд, состоящий из бешеных немцев, французов, русских, ирландцев, голландцев и англичан,— в бой за чужую свободу? Зачем он размахивал этой рукой — ведь память о нем мертва; а если нет, то его клянут те самые жители Великой Колум-

бни, за жизнь, за свободу которых он звал своих немцев, своих джонов булей в тот смертный бой. Зачем он стрелял в испанцев, зачем испанцы стреляли в него? Зачем? Чтобы румяный болтун в нынешней хунте болтал о своих, румяного болтуна, несуществующих заслугах в несуществующем сражении у какой-нибудь несуществующей речки? Зачем?

Зачем великий Байрон рвался из Миссолунги в Колумбию, и только грубая лихорадка остановила его?

Зачем? Бывают народы, не созданные для свободы. Он правильно поступил, что успокоился в Греции — такой же несчастной и бедной, темной и безнадежной, как их родная Колумбия. К чему бесплодные поиски духов...

И кто виноват во всем этом?

Неужто я — Освободитель Симон Боливар?

Он посмотрел на небо — в нем уж рассеялась та неуловимая, нежная, мягкая мгла, которая предшествует вечеру, полной и неожиданной темноте, наступающей в этих благословенных, полуденных странах сразу после захода солнца — как будто бы падает она с невинно-лазурного неба. Горы стояли темно-зеленые и чуть синеватые, скалы торчали сонно-багрово и дымчато-серо; шумела сердитая речка — мелкий рукав Боготы — в стесненном ущельишке в стороне. Он вновь посмотрел на небо. Трепетная мгла и голубизна мешались с едва усталым, призрачно-палевым солнцем; самого его диска не было видно за скалами.

Он искал отзыв сердцу в окружающем молчаливом, благостном мире...

Но мир был сам по себе, был велик, и чуток, и равнодушен, и будто подернут для сердца невидимым серым; но ничего он не отпустил душе.

Слова остановились в его уме — и лишь тихо клубился в глубинах сердца комок теней.

2

Бежав в Картахену, он не рассчитывал на лавровый венок и рукоплескания граждан Великой Колумбии (это гордое имя уже витало над бедной землей). Мало того, он не был уверен, что останется жив: да, за все в этом мире надо платить. И все же он не мог поступить по-другому. Мучительная сила, которая была сильнее его самого, заставляла его тем яростней кидаться на стену, чем глуше и неприступней она казалась, чем больше жертв стенало и падало позади. Неразрешимость задачи рождала особое спокойствие, бодрость и вдохновение; это трудно выразить, объяснить, но это — неповторимое, превосходное чувство: знать, что ты или умрешь и мгновенно избавишься от всего, или разом и в блеске солнца решишь нерешимое. Кроме того, было обычное в ответственных ситуациях ощущение, что тому, кто так далеко зашел, не пристало глядеть назад. Впрочем, его и не тянуло глядеть назад. Иногда тоскливо и больно роптало сердце о старом доме, о бедной Марии, о тусклом камине детства, но было твердое чувство, что все это приснилось когда-то и не повторится в этой безумной и радужной жизни. Да, он бежал в Картахену и прибыл бодрый.

Городом правил Кастильо — тот самый.

Поколебавшись, повесить Боливара или убить его благородным презрением — прочесть новогранадцам мораль по его поводу,— старый военный, истый идальго, избрал второе. Как Дон Кихот, проповедующий пастухам и молочницам, он говорил:

— Боливар... безрассудный молодчик, не объяви он испанцам войну насмерть, население не ожесточилось бы, республика победила бы...

Боливар, кофейно краснея, в молчании слушал, жители хмуро и тихо поглядывали на его сухое и невысокое тело: для петли не очень красиво, не будет той тяжести, а он все слушал Кастильо и думал об Урданете — о преданном Урданете, ведущем последнюю, прославленную, спасенную от разгрома дивизию к речкам и сельвам Новой Гранады. Успеет ли? Да, успеет. Не может быть, чтобы не успел. Копильянерос и Монтеверде устали, а прокаленные солнцем, пробитые ветром, покрытые рубцами солдаты республики жаждут жить. Они молоды и крепки.

Он успел.

— Солдаты! — вещал Боливар, принимая команду от верного Урданеты. Довольный, улыбчивый, с грубым красивым лицом, Урданета стоял позади Боливара, оттеняя своей весомой фигурой его сухощавость, миниатюрность и резкость. — Пока оружие у вас в руках, есть надежда на победу. Вы не остались без родины, ибо для нас родина — вся Америка, а враги — испанцы, где бы они ни находились. И наша цель — независимость и свобода!

Конгресс в Тунхе не лишил Боливара его бедной дивизии. Пусть воюет! Он — смелый, хороший военный, судьбу же не победить никому.

Провинция Кундинамарка в опасности: карибское побережье — в руках у испанцев. Кто, кроме отчаянной головы Симона Боливара, возьмется ныне за это, кажется и вправду антибожественное, как говорят попы, дело — громить испанцев? Кто выйдет один на один с тысячеглавым драконом? Кто бы он ни был, этот головорез — сруби он хоть сто

огнедышащих крокодиловых черепов,— остальные четыреста, восемьсот, девятьсот будут изрыгать смерть и пламя. Кто он? Боливар? Что же — вперед. Он хороший, он смелый военный.

Конгресс решил. Когда гроза надвигается, хозяин не чистит ржавый громоотвод. Пусть будет, как есть.

У стен Боготы Боливар остановил солдат и послал в город манифестантов, которые расклеили на столбах бумагу с торжественными и по-детски доверчивыми словами: «Небо сулило мне быть освободителем угнетенных народов, и так будет, я никогда не стану завоевателем даже одного селения. Герои Венесуэлы, победившие в сотнях сражений, всегда борющиеся за свободу, преодолели пустыни, горы и реки не для того, чтобы надеть оковы на своих соотечественников — сынов Америки...» Пять-шесть умных людей, в данный момент оказавшихся в городе, читали, качали головами и ухмылялись в бородку: «Воюет с испанцами... тщеславен и риторичен, как мадридский «либерал» Моратин. Однако же сколько силы в мальчишке. Да, какова энергия! И неглуп, знаем. Манифесты — марихуана ему, он забывается, видит сны наяву, когда пишет их. А при душевной беседе, говорят, весьма просвещен, остер». «Да кто его видел, кто слышал в такой беседе? Он вечно в седле, на помосте или с пером в руке. Поневоле потеряешь себя, свою суть». «Не знаю кто, но видели. Видели. И танцы любит».

Епископ, шипяще похмыкав над манифестом, отлучил вояку-манифестанта от церкви. Тот принял известие с должным испанским достоинством, сел на коня, вынул шпагу и двинул войско на Боготу. Подстрекаемые попами, всегда стоявшими за испанцев, граждане вяло сопротивлялись конникам в их стремлении к главной площади, но вскоре оставили это.

Богота присоединилась к борцам за свободу. Кастильо крыл «кровопийцу, диктатора» на чем свет стоит и вздумал оборонять о т н е г о Картахену. Тем временем испанцы спокойно занялн боевые посты на реке Магдалене. Но гордого старика это лишь подстегнуло в его упорстве: он приказал своему войску наступать на Боливара, призывавшего тем временем братски соединить свободные армни для похода на испанцев, засевших в каменистых, отвесных теснинах у желтых вод.

Пришло нзвестие, что с востока грозит беда, ужаснее коей трудно придумать: к острову Маргариты подходит морская армада, невиданная со дней конкистадоров Пнсарро и Кортеса. Фердинанд наконец сдержал свое тупое и твердое как кремень кастильское обещание: добраться до патриотов.

— Двадцать пять военных кораблей, 60 транспортов; неопытных новобранцев нет. Отборные полкн из наполеоновых войн,— докладывал пасмурный адъютант, глядя в окошко и храня прилнчествующую делу невозмутнмость.

— Что Кастильо? — резко спросил Боливар, морща подвижное лнцо, сжнмая перед собою руки. Он не пытался скрывать свою ясную злобу и раздражение.

— Настаивает на удалении вас из армин. Иначе — никаких разговоров о слиянии сил.

— Он знает о них — о Морильо?

— Знает.

— Прекрасно. Можно договорнться с людьми, а не с грудой камней. Трехпудовый булыжпик — во главе... Созвать офицерский совет.

— Да, Освободитель,— кисло улыбнувшись, цокнул шпорами адъютант.

Боливар еще минуты две сидел за столом. «Зачем я так при нем? — подумал он вяло.— Вечно говорю

больше, чем надо, не то, что надо. Наверно, не то. Когда я загораюсь, меня вдруг слушают. Но не могу же я вечно пылать, как стог сена пред сворой собак. Порою требуется и просто дело делать. Но чего же мне не хватает? Не может ведь быть, чтобы вечно один я был прав, а они неправы. Что же мне делать, если я уверен, что прав? Что делать?»

На совете он объявил:

— Здравый смысл говорит, что необходимо сплотиться перед лицом врага. Кастильо считает иначе, все прочие, кажется, с ним согласны. Все полагают, что я лезу в диктаторы. Да поймите,— вдруг загорелся он на минуту,— что дело не в этом! Да, я не лишен честолюбия, да, мне не хочется покидать армию, я люблю славу, победы. Но как мне доказать вам, что дело не в этом? Как доказать вам, что человек может любить такое абстрактное понятие, как свобода, свобода человека и родины, больше, чем собственную славу? Как доказать?..

«К чему я это?» — подумал он, вдруг взглянув на унылые, хмурые лица своих офицеров. Впрочем, они уже загорались как-то... В них было уже сочувствие, в этих лицах, было отражение, блеск от его огня, которые давно привык он видеть в людях, слушавших его речи; он не мог видеть себя самого во время своих речей, но все же он видел себя — он видел себя в мгновенном живом румянце, вдруг выступавшем на лицах, в живых и ясных глазах, вдруг ставших такими из сонных, из мутноватых... он въяве видел эту энергию, этот жар, огонь, этот свет, исходившие от него к окружающим; он физически, материально чувствовал свою духовную силу, и она, его энергия, отражаясь от их оживших, задвигавшихся, засветившихся, заработавших лиц,— она, отражаясь, вновь возвращалась к нему, полнила

его сердце, громко будила кровь до мельчайших, микроскопических капилляров, разогревала еще сильнее душу и ум, и вновь переполняла их, уходила и исходила, и снова полнила воздух и атмосферу, и электризовала незримое нечто, витавшее в этих сферах, и вновь входила в людей — в их лица, глаза,— и вновь возвращалась, дрожа и гудя в атмосфере, в невидимой синеве, и вновь от него ко всем, и от всех к нему, и разрасталась, блистала, синела и ширилась. Но нынче он испытал такое лишь на минуту — и вновь потух. «К чему это я? Довольно,— подумал он снова.— Болтлив не в меру и говорю не то». И взгляды, пробужденные, исподволь засиявшие и готовые впиться в его глаза, вновь пошли в бороду, в лоб и мимо; вновь появились унылость, усталость и серость в лицах.

— Я попросил бы не замечать моих предыдущих слов,— сказал он, чуть морщась.— Порвите записки, мой секретарь,— и, оперевшись пальцами, грациозно и стройно распятыми на зеленом столе, он спокойно подождал, пока приказание будет выполнено — в тиши робко трещали листки,— и сказал:

— Я не могу иначе. Мое пребывание здесь угрожает вызвать гражданскую войну. Мое отсутствие позволит сплотить всех гранадцев для отпора Морильо. Это единственный выход из положения.

Все молчали.

9 мая 1815 года Боливар опять покинул свой дорогой материк. Он плыл на Ямайку, смотрел на синие волны. На горизонте, казалось, чернел загадочный лес. В океане — лес.

То плыли к Венесуэле фрегаты и бригантины Морильо.

* *
*

У маршала Пабло Морильо были в запасе не только кнуты, но и пряники.

К тому времени король Фердинанд, едва придя в себя после Наполеона, вновь обрел способность мыслить более или менее философски — разумеется, не без помощи стада министров. Помучив ладонями щеки, они пришли к заключению, что нелепые беспорядки в обеих Индиях и так далее — все это недовольство помещиков-мантуанцев, богатых креолов, следствие того, что заморским псам достаются кости поменьше, чем местным, кастильским.

Эта по сути умная мысль в то же время была роковой для испанцев — для всей их власти, для трех столетий господства, для Фердинанда и для Морильо. Америка — не Европа и не Испания даже...

Никто на свете не мог об этом ничего знать — тогда. Тем более Фердинанд и Морильо...

Армада плыла, и в запасе у сурового маршала были не только кнуты, но и пряники — для креолов.

В случае лояльности и перехода на сторону короля им обещана будет амнистия, возвращение конфискованной недвижимости и движимости и... гарантии против банд льянерос.

Морильо начал с того, что простил Арисменди, попавшего в плен. Не только простил, но вернул ему земли. Тому Арисменди, который то ли перестрелял, то ли сжег живьем триста пленных испанцев в Ла-Гуайре.

Не знал Морильо... Но кто же знает, кроме господа бога?

Морильо осадил Картахену.

По всем законам жизни, войны и смерти городу полагалось бы сдаться тут же. Тем более что были

обещаны милости. Тем более? Город оборонялся яростно, люди ели жуков и крыс, жевали ремни и старую кожу, но не помышляли о сдаче. Морильо, настроенный на «пряники», недоумевал, но он был испанцем и вскоре втянулся в дело. В городе постовые мерли от голода прямо с ружьями у будок; у Морильо солдат стегали дизентерия и лихорадка: больше трех с половиной из девяти тысяч лежали в госпиталях. В городе у Кастильо изнемогали женщины, дети; у Морильо повозки тонули в грязи, увязали в болотах, солдаты и офицеры захлебывались в пучине равнин, разбитых свирепым дождем и мутными волнами Сину. Так продолжалось четыре месяца. Наконец было решено выпустить из города женщин, детей. Шатаясь от ветра, обнявшись, поддерживая друг друга, с тупыми и тусклыми взорами они добрели до форпостов испанцев; их пропустили молча, но Морильо уже вошел в раж: он послал передать, что, если город не будет сдан в три дня, семейства бунтовщиков пойдут обратно по той же грязи и в те же ворота. В этот день на улицах Картахены умерло 300 человек.

Но Бермудес, который сменил Кастильо, отказался капитулировать. Последние защитники крепости сели на корабли и пошли на прорыв. Испанские фрегаты, запиравшие порт, в упор расстреливали из мощной бортовой артиллерии жалкие каравеллы безумцев. Поднявшаяся буря докончила дело. Бог, как всегда, был против слабых. Спаслись немногие.

Морильо торжественно занял крепость, напоминавшую грозно-печальный гигантский морг. Сотни трупов в дождливой и душной жиже валялись на улицах, распространяя смрад: только от голода и от эпидемий погибла треть населения; остальные пали

в боях. В плен попали 63 человека; Моралес — наследник погибшего Бовеса, ныне служивший Морильо,— велел их перестрелять. Конечно, неплохо б придумать и что-нибудь поумнее, но все устали, не до подробностей. Что? Старики и женщины с детьми — в лесу? Конечно, помилуем. Так и передайте. Мы что, враги старикам и младенцам?.. Что, выходят? Алонсо, возьми два взвода. Смотри, зарядов мне даром не тратить, есть шпаги, штыки.

Маршал Морильо великодушно обещал жизнь руководителям обороны из тех, кто не вышел на кораблях. Среди них был старик Кастильо — строгий идальго военных правил. Зачем бежать? Военные есть военные, это не банда бродячих собак. Они выбрались из укрытия, сдались и были повешены тут же.

Все это произвело должное впечатление. Окружающие провинции снова будто бы успокоились, будто бы обрели опору и точку в мире и лучезарно, бездумно сдавались маршалу. Правительство Новой Гранады распалось. Новогранадские креолы клялись на евангелии быть вечными верноподданными вассалами своего господина, сеньора, великого Фердинанда, и вскоре Морильо при ясном небе, без единого выстрела вступил в Боготу — будто вчера отлучился в гости, а нынче — вот он опять.

Лишь остатки республиканской армии, некогда руководимой Боливаром, продолжали сопротивляться, окруженные испанцами. Победители обещали им жизнь, сохранение воинских званий.

— Да здравствует война насмерть! — ответили солдаты-республиканцы, пошли в атаку и погибли все до единого.

Все будто умерло и увяло; но все-таки не было умиротворения в воздухе.

Так перед самым ударом грома и резью молнии вдруг утихает природа; свисают без жизни листья, не слышен ветер, молчат попугаи и мухи, не плещут речные волны: вода несется бесшумно, плавно, самозабвенно и угрожающе.

Все молчало.

Но гроза начиналась, хотя капли, попадавшие на руки и лоб, Морильо принимал за обычный дождь и не размышлял о его причинах.

Какие слухи?

Морильо не понимал. Он не понимал, в чем дело. Не знал он, чего бояться. Он ныне граф Картахены, и враг разбит. В чем же дело?

Какие Мора и братья Алмейда? Какой Короморо, Руис? Что за фамилии? Банды, отряды? Не все же сразу! Рассеем.

Он, бывший крестьянин, борец против французов,— он был как будто в затмении. Ему ли не видеть, ему ль не понять? И он видел, он понимал, но... он не видел, не понимал.

Он не понимал, зачем адъютант, получивший приказы и разъяснения, медлит с уходом и будто ждет, ждет чего-то — и наконец, не дождавшись, уходит с пасмурно-торопливым видом, как женщина, которой ты не назначил свидания; он не понимал, почему невеселы офицеры, не понимал, почему разбегаются галантерейщики, мелкие купчишки и повара — эти люди, вечно паразитирующие при армии, он не понимал, почему, пойманные где-нибудь на дороге и приведенные пред его командные очи, они, эти люди, гнутся, глядят без улыбок и исподлобья, не отвечают на нотации, морализации и угрозы, кланяются и снова сбегают при первой возможности; он не понимал.

 — Льянерос? Но что — льянерос? Они бандиты

и ненавидят нас точно так же, как и креолов. Естественно, что отдельные шайки наскакивают на наших, а не на них.

Адъютант, курносый, скуластый — баск, что ли? — медлил, суровый и бледный; кожа слегка зеленела.

— Так что же еще? — не сдержавшись, спросил Морильо.

— Ваше... ваше...

— Скорей говорите,— скривившись, прервал простой, крепколицый Морильо.

— Креолам обещаны земли. Осталось рабство, хотя ваши умные и своевременные, прекрасные меры предусматривают освобождение тех, кто сражается на стороне короны и бога.

— И что же?

— Но эти меры, как правило, не соблюдаются. И эти земли, снова обещанные креолам, помещикам, мантуанцам... Лучше было не спешить с этим. Это и так можно было сделать потом, но лучше было не объявлять об этом. А еще лучше — вообще перебить креолов и дать заселить земли дворянам из метрополии. О, я сознаю, что дерзок...

— Начали — продолжайте,— сурово сказал Морильо, не обещая глазами и тучей бровей ничего хорошего, но требуя и продолжать — тем же взглядом. Стоящий глотнул, вытянул еще крепче свое несильное тело и руки вдоль и сказал:

— Вы понимаете, нас ждет гибель. Я баск, но я часто бывал в Америке, жил здесь. Они горазды спать, но уж если они проснутся, если разбудят их, им ничто не нравится. Да и верно — нечему нравиться. Слишком бедные, бедные, трудные земли. Богатая природа, но бедные земли. И они свои беды, горе, свое недовольство опрокидывают на победителя,

считают его виноватым. И все начинается сначала. Таковы же и мы, испанцы, но они еще больше. Ничто не сладит с ними. Вы усиливаете жестокости, но этим их не возьмешь, они тут в своей стихии; чем с ними жестче, тем они уверенней себя чувствуют, и уж если спят, так спят, а если встают, так встают. А они встают. И мягкостью, милосердием не возьмешь их — они ответят на это яростью. О, я их знаю. Жизнь их тяжелая. А вы пообещали земли богатым креолам!

— Так что? Будто я сдержу обещание! — возразил Морильо, слушавший снисходительно, но внимательно.

— Вы уже сдерживаете его в ряде случаев.

— Ну и что из этого? Я не понимаю, в чем дело.

— Ваше сиятельство, поймите — вы не знаете эту страну. Вы не знаете этих крестьян!

— Я-то? Я — не знаю крестьян? Я — пастух родом!

— Нет! Вы не знаете! — с отчаянием воскликнул пожилой адъютант, по-детски прижав кулаки к груди от страха и от воодушевления.— Вы не знаете, мы все погибли. А этот город! Их города! Вы видели этот город?! Вы видели павшую Картахену?! Зачем, ну зачем они не сдали ее? Какой смысл?! Я не знаю, в чем дело... Я тоже не совсем знаю, в чем дело, ваше сиятельство. Не мне судить. Они не простят, что земли вновь у креолов... Но дело не только в этом. Я чувствую будто землетрясение. Мы разбудили что-то. Мы разбудили? они разбудили? Кто знает... но ветер дует не в парус — навстречу; все чувствуют. Все чувствуют это, ваше сиятельство. Мы падаем в пропасть, где можем погибнуть и мы, и американцы, но мы-то — наверняка... Все чувствуют — ныне ветер не в спину.

— Но что же вы предлагаете? — сухо спросил Морильо.— Хотите отставки, что ли?

— Нет. Я преданный слуга короля. Я учился в иезуитской школе. И мне,— он глотнул,— тревожно.

— Подите выспитесь.

Адъютант вышел; Морильо смотрел ему в хлипкую, чуть горбатую спину, сознательно и нарочно сжимая зубы; челюсть слегка дрожала.

В те же дни тюрьмы славного города Боготы переполнились патриотами. Новоприбывших запирали в монастыри. Тут-то и был расстрелян позорными пулями в спину эквадорский генерал Монтуфар, обезглавлен ученый Франсиско Хосе Кальдас, известный всем академиям, лабораториям и салонам великого Просвещения. За Кальдаса, друга Бонплана и Гумбольдта, было прошение. «Испания не нуждается в мудрецах»,— ответствовал маршал Морильо. Вместе с доблестным Монтуфаром были убиты еще многие; трупы были повешены, затем четвертованы, и все это выброшено на попрание пьяным и хмурым солдатам.

Всякий, кто мог читать и писать, подозревался в преступных действиях против короны; ему угрожала казнь. Стараясь не думать о льянос и обо всем прочем, Морильо с особым пылом обрушил кары на «докторов, которые всегда — зачинщики смуты». Это, как и обычно, было проще всего, но это не успокаивало. Он обнаружил, что засыпает ночами все хуже; днем хочется спать, стоит лечь — и в башке хрустальная, жаркая ясность, мелькание воспаленных мыслей, стремление их забыть или, наоборот, запомнить, утомление — и бредовый сон с погонями, кровью, мясом, пропастью и капатами, и гриппозное пробуждение, и надрывное желание вспомнить важные мысли, забытые перед сном, и воспоминание — и проклятья по

поводу этих жалких, бессмысленных, вовсе ненужных мыслей, которые ночью казались важными.

И безмозглый баск-адъютант — и его пустой, раздражающий голос:

— Плохие известия, ваше сиятельство. В Венесуэле волнения. Прикажете выступать? Какой гарнизон оставим в Новый Гранаде? Созвать офицеров?

— Стойте. Оденусь.

«Скажите, «какой гарнизон»! У меня не сто миллионов солдат. Ну, погодите. Здесь не Париж.»

3

Боливар пребывал в бездействии на Ямайке.

Силы его обратились в писание. Он сочинял послания к местному губернатору и к министрам в Лондон, прося оказать патриотам вооруженную помощь, расписывая сады и розы коммерческих выгод, которые выпадут на долю могучей Британии в землях полуденных стран, обретших свободу. Английские власти острова глядели на сочинителя искоса, из-за океана просто не отвечали. Но он не уставал, и в хитрых посланиях, которые он старался обклеить различным иезуитством — лишь бы для родины благо, а там посмотрим! — мужала, он сам это чувствовал, его напитанная потом и солью, и опытом, и простой человеческой зрелостью мысль; и он, пряча и маскируя свой ум и суровую думу, все же так и не мог забаррикадировать этот жемчуг дипломатическими камнями и мусором.

Он ясно видел, в чем смысл перемены: «...нынешними защитниками независимости являются бывшие солдаты Бовеса и белые креолы, всегда боровшиеся

за благородное дело свободы. Объединение этих сил может породить социальную революцию».

«Тот факт, что Европа оставила нас на произвол судьбы, может заставить... партию независимости провозгласить социальные лозунги, чтобы привлечь на свою сторону народ».

В «Письме с Ямайки», ставшем знаменитым, он утверждал, что секрет успеха в борьбе за свободу — единство сил.

Да, он отчетливо понимал все это.

Да, он прекрасно видел ныне, что диким лошадникам и хлебопашцам с восточноандского плоскогорья нужна не только свобода от испанского господства, но и земля, и собственность, и независимость от креола-хозяина; да, он знал, что раздробленные провинции, враждующие друг с другом, не могут поднять хозяйство и свергнуть заморских поработителей; как много он понимал тогда, в уединении и тиши Ямайки, в том редком, великолепном положении, когда разум свободен от кандалов эмпирии, когда он вольно парит над фактами, группирует, тасует, объединяет их, властвует над их грубым стадом. Он думал о «Договоре» Руссо, он перечитывал афоризмы Гольбаха о церкви и, соглашаясь с ними, все же находил их слегка поверхностными, не отвечающими серьезности темы. Он так и эдак прикидывал Юма, но охладел к нему быстро: степенный, рассудочный критицизм, орудующий теми же методами, против которых восставал, был ему вовсе некстати. Он перечитывал «Софию» из «Эмиля» и полагал, что его, Боливара, Мария понимала жизнь в чем-то лучше, чем сам великий Жан-Жак. И все же Руссо был неизмеримо велик, ибо он держал в голове, в душе такое множество фактов, идей, душераздирающих знаний, соображений и сведений, которое и не снилось бедной, больной Марии,

и странная нервность, напвность его поучений идет от этого — от стремления соединить все нити в душе, связать в узел, выучить, научить людей, как это делается; да, от этого. И от изъеденных, вывороченных, оголенных материей, жизнью, всем миром чувств, и от стесненного самолюбия. А Мария? Ну что же. Она была лишь добра и естественна.

Боливар наслаждался разумом, своим и чужим.

Он чувствовал, как в недрах души зреет то целое, что называют миросозерцанием, системой жизни. Прежде он чувствовал только, что в душе его — необъятные свежие силы и что следует разрушить нечто нависшее над Америкой: он помнил Руссо, помнил Вольтера и прочих, но мысли их в приложении к его жизни, к его Америке были как бы мечтами, где-то не хватало моста, соединяющего две стороны пропасти — жизнь и идеи. Теперь — иное. Он ощущал себя политиком, мудрецом, человеком, который имеет в себе не только некую влекущую души силу и умение разрушать,— но и имеет что сказать, предложить.

Он сознавал себя сыном восемнадцатого столетия, хотя при этом и в уме, и в глубинах души оставалось что-то неподвластное этому определению — «восемнадцатое столетие». Он верил в то, что сильная республиканская власть должна быть одновременно просвещенной, любезной наукам и любящей науки. Он ненавидел прожорливый абсолютизм — здание, основанное на тупоумии, предрассудке, голой силе и кастовости. Конституция, закон, воздвигнутый руками справедливости, разума и дисциплины,— вот что должно быть фундаментом государственности, кумиром народа. Он боготворил Вольтера и Монтескье, но не разделял их надежд на монархию — пусть и разумную. Монархов никаких не должно быть, прав Жан-

 Жак в своих намеках и тайных мыслях. Граждане

должны воспитываться на принципах уважения к человечеству, к равным им гражданам, к деятельному началу в жизни. Даниель Вебстер и Локк правы. Человечество, разум — вот бог, вот король.

Правда, иногда в сердце бьется мысль: что же такое сам разум, и насколько разумен народ, и насколько разумен он сам, Боливар, но это другой вопрос...

Равный раздел имущества? Социальная революция в ее последней форме? Да, да, он чувствует действенность этой меры, но она неосуществима. Пусть люди будут напористы, пусть обогащаются, пусть борются за личное благоденствие и тем обогащают страну; это наиболее крепко, мужественно, остальное — зыбко. Пусть крестьяне получат землю, но и помещики останутся помещиками; пусть хозяева ведут хозяйство. Пусть не равно имущество, но равны права. А конституция, закон, народ, правительство обеспечат им равенство и соблюдение человечных, справедливых правил борьбы, не допустят злоупотреблений.

Свобода от испанцев — первое. Далее — свобода инициативы, хозяйственный расцвет при сильной власти и соблюдении местных обычаев. Да, при сильной власти. Но Боливар не будет монархом, не будет тираном; он лишь освободит страну, а все остальное — потом. Что-то в нем есть такое, что неподвластно французам и Локку, Бентаму, чего не понять Лафайету, который так занимает его воображение (военный, и демократ, и политик — как он, Боливар). Что-то есть в нем и в его земле, что не походит ни на Европу, ни на победные Северные Штаты с их Вашингтоном. Но это будет ясно потом; не все сразу. Кто хочет все сразу — не достигнет ничего. Да, они возьмут от Франции и от этих многое, но будут знать и свое. Их народы — иное. Быть может, им рано?

Быть может, им рано. И ему, Боливару, это рано? Нет. Нет. Пусть льянерос дики, пусть хозяйства убоги; Боливар достаточно крепок сердцем, чтобы вдохновить свой народ; он внушит ему принципы разума и соревнования на справедливых основах.

Основа государственности — уважение к человеку и разуму. Узел общественной жизни — всеобщий закон, конституция. Воспитание детей — дело социальное.

Бог? Пусть верит, кто хочет. Церкви не следует давать волю, но если она будет работать на граждан, на всеобщее благо, если она будет помогать правителю — тем лучше. Прав Вольтер в своем слегка циничном взгляде; бог, может, создал мир, но давно уже не справляется с этой трудной монархией; религия помогает — тем лучше; но не давать церкви волю. Помни Гольбаха.

Так же и армия. Не сама по себе, а для граждан; но она же — мать порядка.

Человек — сам себе хозяин.

Изгнать испанцев — вот первое.

Главным после этого будет то, в чем мы позорно отстали перед Европой: отмена рабства — того, что заставляет краснеть в парижских салонах просвещенных креолов.

Отмена рабства и равенство рас — столь важное в этих многоцветных землях, пестреющих яркими колоритами сияющей, праздничной человеческой кожи...

Затем расцветут естественные науки. Геология, физика, геогностика, география, математика. Расцветут национальные искусства. Пойдет справедливая, бурная и достойная торговля со всем миром, всем светом — начнется все то, о чем так горячо говорили Гумбольдт, Бонплан, полюбившие эти земли... Взрастет молодежь — разумная, просвещенная, уважаю-

щая закон и свое гражданство. Каждый да позаботится о благе своем и своей семьи — не нарушая блага общественного, всеобщего. Не нарушая общественного договора...

Природа, могучая природа Америки (видел бы великий Жан-Жак эти моря, это небо, эти зеленые горы, степь) вдохновит их своим сиянием.

Как сияет будущее.

Но что же там ныне-то?

Все это тихо, спокойно ходило, вращалось в уме, в душе; и в этом не было хаоса — было единство. Оно не высказывалось в словах, оно — было. Душа жила — и этого довольно. И политика, и жена, и личность— все ясно, кристально... и только грызло одно: нет действия, действия.

В декабре перед новым — шестнадцатым — годом Боливар вылез из гамака, в котором он спал у своих приятелей, и пошел гулять без цели; странная, грустная, подавляющая тревога была на сердце.

— Куда ты?

Он, не готовый к вопросу и не имея ответа, молчал; затем махнул рукой, повернулся и двинулся к морю.

Вечернее небо, вечернее море, желтеющие, сияющие, синеющие сквозь разлапые, черные, грустные пальмы, не успокоили, а лишь больше разбередили сердце; решительно он не знал, в чем дело. Да, они успокаивали, они умиротворяли, но умиротворяли как-то навек, навсегда, безысходно и тихо в своем оранжевом, желтом, таинственно-синем сиянии; и оттого лишь росла большая, спокойная, медленная печаль. О нет, он решительно не знал, в чем же дело.

Вернувшись, он обнаружил, что Хосе Феликс Аместой — приятель, окликнувший при отходе,— мертв в его гамаке; на груди краснела профессионально-

кинжальная рана. В тени черных пальм убийца приял приятеля за него, за Боливара.

Вечный разум... святая земля, земля.

Он постоял над трупом; бедный друг! опять! опять он, Боливар, причина смерти! а он? он сам? он один, один в черноте пальм, в желтизне заката и моря, в душистом зное Ямайки; но кто-то помнит и знает, что есть на свете Боливар.

Через две недели он, стоя на верхней палубе, уж махал платком Луису Бриону, негоцианту из Кюрасао, рядом с которым стояла и Хулиа Кобье в темной мантилье на светлом — прекрасная дама, сочувствовавшая свободе, и особенно — ее представителю на Ямайке. Он уплывал на деньги Бриона и Гислопа (местного плантатора, богача) — что ж. В закладе — жизнь.

Он плыл в Картахену, чтобы возглавить защиту гиблого города, где уж был низложен Кастильо и правил угрюмый Бермудес.

В дороге известие: Картахена пала. Тогда — к Гаити.

Президент свободного острова, умный мулат Александр Петион, принял Боливара хорошо. Победа испанцев на континенте грозила бы независимому Гаити. Немного теперь безумцев, идущих на континент, на шакалов-испанцев; Боливар готов? извольте, мой генерал. Мы поможем.

— Я полагаю, история с Бовесом многому научила вас, генерал. Дайте народу землю! Освободите рабов! и свобода родины — в ваших руках.

— Обещаю вам сделать это,— прищуренно улыбаясь, ответил Боливар.— Своих рабов я давно уже освободил,— добавил он, чуть задумавшись.— Я всегда был на стороне народа, но теперь пойду с ним вместе против испанских поработителей.

Целыми днями на горизонте, на фоне лазурного океана и призрачно-синего неба маячили белые паруса: косые, квадратные...

Бригантины Бриона собирали в Лос-Кайос республиканцев, бежавших на разные острова, но горевших священным огнем единства — единства свободных людей.

* *
*

Перед отъездом, впрочем, они перессорились: кому же быть главным? Боливара многие не хотели: считали его источником бед. Он вяло молчал во время дебатов, но за него был Брион — финансист экспедиции. Это решило дело. Боливар возглавил поход, ибо был совершенно уверен, что ни Бермудес, ни братья Монтилья, ни Пиар, ни прочие не способны все это устроить и выполнить так, как он. Он был уверен в этом; но каждый был тоже в себе уверен, и потому-то Боливар не спорил. Но он знал про себя, что прав он, и потому принял команду.

Явившись на материк, он первым делом потребовал, чтобы испанцы прекратили пытки, не резали женщин и детей, стариков и пленных. Тогда патриоты снимут девиз «война насмерть». Испанцы поулыбались, республиканцы остались верны девизу — «насмерть». События шли. Несмотря на свою уверенность, генерал Боливар непозволительно упустил из виду Моралеса, который ударил по республиканскому Окумаре в тот миг, когда военное снаряжение без дела валялось на берегу, на сыром песке, солдаты сидели в тавернах, а деловитые люди Бриона загромождали трюмы, ныне свободные от оружия, кокосовыми орехами, грузными плодами авокадо и ананасами. Все кинулись к кораблям и уплыли в спасительное, спокойное и смеющееся морское пространство

без пушек, ружей и бочек с порохом. Прибыли на остров Бонайре. Там хмурый Бермудес едва собственноручно не насадил генерала-Освободителя на кровавую шпагу, подозревая его в предательстве. Боливар отбился, неловко, спиной прыгнул в шлюпку, вернулся на свой корабль и отчалил. Пришли на Гаити; вздыхая и отводя глаза, Петион снова помог.

Вскоре Боливар воевал в Гвиане, кое-как помирившись со всеми своими друзьями-соперниками — колумбийскими робеспьерами, бонапартами и мюратами.

Можно было преследовать, проклинать Боливара; но в нем было одно неистребимое качество, которое, как ни странно, хранило его неловкую жизнь: он воевал, он всегда был готов отправиться в то самое пекло, куда никто не шел.

Такие люди нужны, им трудно найти замену.

Он воевал в Гвиане. Пиар, царивший в ее лесах, даже признал его первым вождем патриотического движения.

Впрочем, за Пиаром осталось имя «командующего вооруженными силами», что было существенней.

Вскоре они поссорились. Пиар, яростный мулат, поехал искать союза со старым товарищем, героем востока, партизаном Мариньо. Тот давно спокойно и безнадежно ненавидел Боливара, но не пошел на союз с Пиаром, считая, что это слишком окольный путь. Пиар прибыл в льянос и начал пропагандировать войну цветных против белых внутри освободительных войск.

Дело было и щепетильное, и серьезное. Республиканские власти, конгрессы и хунты с самого начала провозгласили полное равенство рас, и это решение было не только справедливым, но выгодным (редкое сочетание): в странах, где в одном кружке, собрав-



шемся у фонаря и обсуждающем последние виды на урожай и цены на кожи и тасахо, можно встретить и метиса (отец каталонец, мать индианка), и мулата (отец голландец, мать негритянка с Гаити), и еще метиса (отец индеец чибча, мать белая каторжанка, француженка из Гвианы), и еще метиса (отец датчанин, мать — дочь индейца и сицилийки), и еще мулата (отец испанец, мать свободная негритянка с Кубы), и самбо (отец свободный негр, мать рабыня, индианка с плантации Кюрасао), и непонятно кого (отец китаец, мать негритянка), и англичанина, и креола, и русского, и испанца, и странного человека, у которого мать родилась от негра и англичанки, отец же — сын мексиканца-индейца и негритянки из Кении,— в этих странах правительство, не желавшее погубить себя или родину в тот же день, не могло поступить иначе. Да, решение было верное. Но решениям ныне никто не верил, а расовые багровые отсветы тлели повсюду. В этой ситуации авторитетный вождь, разжигающий расовую войну, был очень опасен.

Боливар казнил Пиара. Все до последней минуты ждали, что будет помилованье. Но нет — смерть.

Смерть.

Угрюмо шел по домам народ с главной площади Ангостуры.

Пиар. Умный, пылкий, прекрасный воин.

Были баталии. Поражения и победы. Победы и поражения. Больше поражений. Да, больше поражений.

И выручали лишь льянос — те самые льянос, саванна, степь, которым нынче обещана ликвидация рабства.

Да, после Ямайки Боливар обещал землю и ликвидацию рабства: недаром он думал в тиши багряных

закатов, недаром писал «Письма с Ямайки», ходил на дымный берег.

Где исчезала армия, падали и бежали солдаты, там тенью и тучей спускались льянерос.

Неважно, что они не верили мантуанцам, порою не ждали от них ни земли, ни свободы: кто знает законы ветра, законы почвы? Их, верно, порою и нет, законов. Важно одно: льянерос, их кровожадный Пазс, заменивший недавно убитого Бовеса, собственноручно зарезавший больше 70 людей, эпилептик, садист, в вихре боя летевший с коня в припадке и бившийся в судорогах, кривляньях и пене, и вновь встававший, и вновь взлетавший в седло и скакавший стрелять и резать,— льянерос и их Пазс крошили испанцев, а не своих. Крестьяне наконец поняли, что в их интересах бороться за независимость.

И проигранные битвы поросли быльем, а победители-испанцы бежали, стонали от ужаса, выли и падали.

Да, проигранные битвы.

Пиар, Пиар.

* *
*

15 февраля 1819 года в Ангостуре, которую за невозможностью отбить Каракас пришлось превратить в столицу, в ветхом здании муниципалитета открылся второй конгресс независимой Венесуэлы.

Боливар держал речь.

В ней были трезвость и зрелость, и в то же время то ясное, деловое безумие, которое не пугает, не вызывает насмешки, не холодит, а рождает в умах и душах бодрую ясность, надежду, веру в говорящего человека.

Слушая его, Урданета, суровый Томас Монтилья и прочие вдруг впервые почувствовали, что им без

Боливара — плохо, что он один видит поле и лес с колокольни, а не с балкона и не с седла. С Боливаром тоже плохо, но без Боливара — вовсе нельзя.

Он говорил:

— Только крайняя необходимость заставила меня возложить на себя тяжелые и опасные обязанности диктатора. («Ты врешь, но ты и не врешь»,— подумали многие из 26 членов конгресса.) Теперь я снова могу вздохнуть свободно. Время, когда я руководил судьбами Венесуэлы, исполнено не одних политических бурь и кровавых битв. Оно ознаменовалось господством хаоса, дьявольским потоком, захлестнувшим Венесуэлу.— Он чуть помедлил, с обычной своей манерой вглядываясь в себя на глазах у многих людей.— Что мог сделать человек, например я, чтобы остановить этот шквал? — Он задумчиво, морщась слегка, подождал немного и продолжал с притушенным взглядом:

— Я не мог делать ни добра, ни зла. Более могущественные силы указывали ход событий...

Он продолжал деловито и сухо:

— Диктатор привыкает к власти, а народ — к повиновению. Узурпация, тирания — следствие диктатуры. Я знаю это. Но что нам делать, когда враги у границ, когда необходимо единство и просвещенная, верная, но и сильная, и авторитетная, и единая власть? Решайте.

Он помолчал, подумал и поглядел в кумачовый стол.

— Вот мои предложения: новый строй должен быть республиканским и должен опираться на суверенитет народа; следует отделить законодательную власть от исполнительной, обеспечить гражданские свободы, запретить рабство, отменить сословные привилегии. Организуя наши политические институты,

следует учитывать наши традиции, наши обычаи, наши условия. Вот что должны мы помнить, а не копировать Вашингтон.

Все в задумчивости молчали. Картины землетрясений и магм Котопахи, толпы льянерос и шпаги испанцев были перед глазами.

— Но я прошу подтвердить декреты о наделении льянерос землей и отмене рабства. Это необходимо для блага родины. Пусть запишут, что я скажу сейчас. Цепи рабства разбиты... Да, бывшие рабы теперь свободны; тот, кто раньше был врагом своей матери-родины, стал ее защитником. Излишне говорить о справедливости, необходимости и благотворности этой меры, если вы знаете историю илотов [1], Спартака и Гаити, если вы знаете, что нельзя быть свободным и рабом одновременно, не нарушая естественных, политических и гражданских законов. Я оставляю на ваше суверенное усмотрение изменение или отмену всех моих постановлений и декретов, но я молю подтвердить абсолютную свободу рабам, как если бы молил о своей собственной жизни или о жизни республики.

Все чувствовали: это речи не мальчика, речи мужчины — политика, человека и гражданина. Вряд ли этой стране помогут какие-либо декреты; но все готовы были подтвердить их.

И подтвердили, опротестовав лишь проект учреждения наследственного сената (новая придворная камарилья?) и странной третьей «моральной власти», которую придумал Боливар. Ей, по его мнению, полагалось бороться против эгоизма, жестокости, темных инстинктов и разложения нравов, если в народе и обществе появятся таковые признаки. Собравшиеся, однако, тотчас увидели за этим костры под ведь-

[1] Порабощенные земледельцы в древней Спарте.

мами и койотовы морды иезуитов, и так еле изгнанных из Америки; и — отвергли проект.

Боливара, сложившего с себя полномочия власти, единогласно избрали президентом с большими правами на срок в четыре года. Они понимали: здесь много военных, сорви-голов, но, кроме него,— нет президента.

Он не противился: он про себя считал, что конгресс поступил разумно и справедливо.

Тем более что ныне это н а д о ему — надо, как жизнь.

В голове — ясность, в теле — сила, в груди — огонь.

Он знал, он снова давно уже знал, что делать.

И они, конгресс, видели это знание в его лице, глазах, в его быстрых и резких жестах. Этого не было в них самих.

4

Боливар, заложив руки за спину, ходил взад-вперед по несвежему полу гостиной (случайное поместье в пути) и обдумывал ближайшую серию дел. Взор его, не останавливаясь, блуждал по малиновым креслам, оранжевым драпировкам — любит этот народ, эта «испанская раса», горячечные, крутые цвета, африканские колориты; ну ладно. Он снова размытым взглядом прошелся по стенам, по полу, по коврам, пистолетам и шпагам на дальней стене. Чужое, холодное, пасмурное жилище; давно уж привык он: жилище — это где спят и едят, не более. Ну все равно. Так о чем?

С волонтерами хорошо. Молодец Лопес. Не вылезает из лондонской долговой тюрьмы, но людей дает. Без профессиональных солдат — никуда; льянерос и

горожане — все это превосходно, но в каждой боевой единице должен быть стержень, центр, ствол, а им могут стать лишь кадровые военные, знающие огонь и меч и не заинтересованные в местных распрях. Да, волонтеры. Французы, ирландцы, русские, немцы и кто угодно, но главное — англичане. Рвачи, сребролюбцы, но деловые и мужественные организаторы, стрелки и рубаки. Наплачешься с выплатой жалованья, но главное ныне — это заполучить их сюда, в Америку.

— Господин Перу!

Вошел секретарь из новоприбывших, подобранный и готовый к делу Перу де ла Круа.

По-французски:

— Вы не знаете, где О'Лири?

— Он ожидает известий из Рио-Ача; он дома.

— И я об этом. Что? Ничего? Монтилья не возвратился?

— Нет.

— Прошу вас, пишите. Ах, денег бы, денег. Как мало денег! Будь у меня хотя бы остатки поместий, моего состояния... В сущности, это естественно: для нас, креолов, Америка — родная земля, и то бескорыстие не особенно блещет вокруг республики; чего ж мы хотим от наемников, от приезжих?

— Вы правы, господин президент. Лишь немногие могут жить идеей; и лишь немногим нужна свобода.

— Нет, нет, господин Перу,— задумчиво, тоном человека, проходившего все это по учебникам и давно уж ответившего на душевном экзамене, отвечал Боливар.— Многие люди не знают, что им нужна свобода, но это не значит, что она им действительно не нужна. Просто они не сознают этого или не решаются сказать себе.

 Он помолчал, ожидая ответа.

Перу помолчал и промолвил, все стоя в почтительной позе:

— Быть может, вы правы, мой генерал. Но я не уверен.

— Зачем же вы приехали?

— Я — из тех, из немногих.

— Да, вы достойны похвал.

— О нет, господин Боливар. Такие вещи — личное дело каждого, тут не за что хвалить. Если угодно, похвалы досадны: как будто ты совершаешь нечто тебе не свойственное, и потому надо хвалить, а не воспринимать как должное.

— Да, это верная, верная мысль,— обрадованно закивал Боливар; глаза его оживились, он явно готов был увлечься играющей диалектикой; но вот он как бы остановил на губах улыбку, согнал ее и сказал:

— Ну что же. Это весьма интересно. Но факт есть факт: ирландские волонтеры бунтуют и жгут Рио-Ача, поскольку не получают жалованья и не нашли желанных жемчуга, платины, серебра и так далее, горы из которых надеялись увидать в Америке еще с кораблей. Что делать? Я думаю, мы пошлем их к черту. Пусть отсеивается дерьмо. Поход будет трудный.

— Я думаю — так.

— Пишите, пожалуйста: генералу Монтилья...

— Перейдем сюда,— донеслось из прихожей.— Туда не слышно, дверь плотная.

Дверь была приоткрыта, но говорившие, видимо, и не думали на нее смотреть.

Боливар и секретарь приумолкли, непроизвольно прислушиваясь.

— Да, ты прав, тут прохладней. Так вот... тебе нравится это?..

— Кли-и-икот,— прочитал второй голос (ден-

щик!) с большим затруднением.— Черти французы. Слово-то. Кли-и-и-и-кот.

— Ты, наверно, не так читаешь,— сказал хрипловатый, первый.— Не будь я проклятый льянеро, послал бы Хосе учиться к шурину Хименесу в Калабосо. А может, и в Каракас.

— Не послал бы. Да вы же сами порезали весь Калабосо. И шурина тоже.

— Порезали мы потом, а послал бы я раньше. А шурин был в отъезде, в степи.

— Но это другое дело. Но нет, не послал бы.

— Послал бы.

— Не спорь: я тебя люблю. Отвратное это кликот. Наше пальмовое куда лучше!

— Ну, сказал. Ведь это наше. Хотя они вечно пьют, а мы редко.

— Ну, дальше! Ты говорил: броненосец подошел к лису...

— Вот. Подошел бронепосец к лису и говорит: лис, одолжи мне свой хвост. А надо тебе сказать, что у броненосца тоже хороший хвост. Не очень большой, как у лиса, но твердый, как веретено. Хороший хвост. Он, знаешь, у него вот так вот свисает, между двумя щитками, вот здесь, повыше, чем у любого зверя.

— Да видел я. Ну и что?

— Вот. Подходит он к лису и говорит: одолжи мне хвост. А лис был большой, но не очень умный, и говорит: а зачем тебе хвост? Броненосец ему отвечает: отмахиваться от мух и москитов. А лис ему говорит: а я чем буду отмахиваться? А броненосец ему: ну, тебе зачем отмахиваться? У тебя шерсть большая и рыжая, а я голый. А лис: а у тебя вон какая кожа, тебя не прокусит москит. Нет, прокусит, говорит этот. А тот ему: но зачем тебе отмахиваться-то? Ведь опи не больно кусаются. Нет, говорит этот.

— Ты постой: это кто? Кто сказал?
— Как?
— Ну да, кто сказал: «нет»?
— Как кто? Ты не слушаешь, что ли?
— Я слушаю, но у тебя слишком длинная сказка.
— Нет, если бы ты меня слушал...
— Да я тебя слушаю, только ты говори.
— Я и говорю, а ты не даешь.
— Да нет, только ты говори.
— Я что? Я и говорю, а ты непонятно чего влезаешь.

Фернандо замер с поднятым в назидание скрюченным пальцем, ибо в дверях появился Боливар в синем уланском мундире, расшитом золотом на плечах, на застежках груди, в блестящих ботфортах и с разукрашенной рукоятью шпаги. Смуглое, безбородое, в бакенбардах лицо Боливара было недовольно.

— Вы что тут мелете? — вопросил президент, переводя глаза с отупелого денщика над бутылкой на уничтоженного Фернандо и вновь с Фернандо на денщика.— Украли бутылку, пьют. Перед походом!

— Мы, мы, господин...— лепетали оба, вставая, опуская руки.

— Да, вижу, что вы,— хмуря густые брови, сказал Боливар.— Повесить вас мало. Сейчас же прекратить,— спокойно и устало добавил он, рассеянно поглядел на бутылку и притворил за собою дверь.

— Так что мы? — спросил он, вернувшись и мельком взглянув на Перу, с печальной улыбкой приподнявшего перо, чтоб не капнуть.

Фернандо и Родриго, денщик, не спеша уселись и некоторое время молчали, покряхтывая.

— Гляди-ка! — вдруг произнес Фернандо.

— Ну да. А ты думал,— спокойно подтвердил собутыльник.

* *
*

Перу ушел; Боливар минуты две сидел за столом, сцепив руки и смотря в одну точку. Потом он встал и снова начал ходить.

Он топтался у секретера, потом, оглянувшись по-детски, достал свою карту и разложил на столе. Все было тысячу раз обмусолено, он досадовал на себя, но не мог ничего поделать. Как стихотворец, все перечитывающий да перечитывающий новоиспеченный сонет, он просматривал основной маршрут.

План был абсурден для всякого обсуждения. Он мог быть выражен только в приказах. Стоило вспомнить рассудок, логику, бросить идею в горнило свободной критики, и все хором — он первый — сказали бы: гибель, безумие, помутнение разума.

В то же время он чувствовал сердцем уверенность в этом плане. Мало того: все прочие, видя бессмысленность, алогичность всего предприятия, тоже молчали — как бы боясь дать волю собственному рассудку — и соглашались с Боливаром.

И он понимал их, он понимал их согласие — общее их согласие, от простого солдата до самолюбивого Паэса, от колкого Сантандера, крепкого начальника штаба Сублетте до исполнительного Перу. Они ничего не знали как следует, и *не хотели* знать, но они видели, чуяли сердцем, что план безумен,—и были согласны. Он внушил, а вернее открыл им,— тут ничего не надо было *внушать*, истину не внушают,—всю цель, всю простую сущность похода. Он им открыл ее, хотя настоящего маршрута, его деталей не знал никто: он брал это на себя, и это было отчаянной смелостью его совести. Если бы план дошел до испанцев, поход стал бы величайшей катастрофой;

 и кроме того — что греха таить, истина жестока! —

он не был уверен, что кто-либо, кроме него, способен выдержать стальной блеск подробностей этого маршрута, этого предприятия.

Однако же цель была абсолютно ясна и одновременно возвышенно-ослепительна. Да, да, она была и высока, и доступна.

Она состояла в том, чтоб быстро — быстрее, быстрее! — пройти затопленную саванну, пересечь в неожиданном месте Анды и грянуть на главные силы испанцев, спокойно и безоглядно готовящиеся к летней кампании, ни о чем не думающие не гадающие. Грянуть на них — и разбить. И одним ударом покончить со всем.

Да, так, ибо другие отряды испанцев, рассеянные по сельвам, долинам и чащам Венесуэлы, Новой Гранады, Кито, Перу, островов,— эти отряды, отрезанные от главных сил, с растянутыми коммуникациями, без фуража, в атмосфере враждебных короне провинций, не смогут объединиться, не захотят сражаться. И Каракас падет сам собой.

С непроизвольной хитростью полководца и прозорливца он учел настроение воинства. Это было легко, ибо он чувствовал это настроение и в себе. Они воевали, шли, шли, но давно уже перед мысленным взором каждого сияло — разное перед каждым, но нечто — сияло, все крепче, все ослепительней.

Одним снились тихие, черные воды лесной реки, тростниковая хижина, крики младенцев и попугаев, и плеск волны, и покой, и зной. Другим — милые девушки Тунхи, Ла-Гуайры, зеленые улицы Картахены и Коро, и лица заждавшихся матери, братьев, и светлые знакомые патио и сады. Третьим представлялись праздник и карнавал, и коррида, и клики, и блеск, и сиянье, и слава, и разноцветные женщины, и пальба, и восторги, и синее, желтое, красное веселье,

и ром, и малага; четвертым снилось и мыслилось что-то еще — сын, дочь, жена, земля, конь, мать, отец...

И все просыпались, и остывали взором, и отходили — и знали:

Нет. Нет.

Еще долго идти.

Еще грязна грязь, еще солона кровь; еще *надо*, *надо* идти — и нет впереди просвета, рассвета, и деловит, обыденно озабочен Боливар, и еще более деловит, озабочен и хмур начальник штаба Сублетте. И беспросветный, темнеющий путь впереди...

И вот он — просвет.

Сияние огней под горой.

Он, Боливар, дает им просвет.

Сразу. Быстро. Одним ударом.

И зелень, и свежесть, и блеск, и голубизна, и желтое солнце, и дети, и жены, и яркие, радостные креолки, метиски, мулатки и индианки, и радужный свет впереди.

Зеленые рощи, безмерное солнце, живые дети, земля, свобода.

Свобода.

Он чувствовал это. Он знал.

Он знал, что люди посмотрят вдаль за простертой его рукой — и люди пойдут.

Он чувствовал, что не властен даже.

Он должен, *должен* сказать им *это*, сказать и воздеть свою легкую руку; он должен.

Иначе ныне нельзя.

Усилие! Лишь одно усилие!

Вот отчего уверены люди.

Вот отчего не обсуждают они «безумного» плана...

Он — отвлекшийся взором на миг — вновь начал смотреть на карту. Паршивые офицеришки, моряки — как составили. Кондамин, Педро Мальдонадо

тоже не справились с этим ландшафтом; кроме того, их данные устарели, в горах и на плоскогорьях произошли изменения вследствие извержения вулканов и землетрясений. А у Ла Круса вообще не картированы эти места. Эх! Сюда бы карты Бонплана и Гумбольдта. Ну ладно, что есть, то и есть. Так. Чертовы льянос, ваши войска сегодня за нас — и все же вы на пути. Орокуэ с юга, Поре на севере. Так. Реки, реки. Главное — после льянос. Восточная Кордильера, с которой надо иметь дело,— самая подлая, самая каверзная и широкая из трех: Центральная и Западная были бы проще. Хотя бы вот эту цепь обогнуть с юга. Но тут непроходимые топи. Нет, только так, как есть. И этот перевал. Да, этот перевал. По слухам, он вовсе непроходим, но знаем мы эти слухи. Индейцы, особенно чибча, любят пугать. Проводники набивают себе цену, тем кормятся... Знаем мы эти непроходимые; нет, пройдем. Или вот слегка южнее, юго-восточнее. Нет. Прочь, прочь карту. Ничего уж нельзя менять, все обдумано. Бывает та стадия, когда исправлять — только портить. Нет, нет. Все обдумано. Здесь — те топи, болота, а здесь — нагромождение голых скал. Маршрут верен. Менять нельзя, это лихорадка, горячка.

Он отстранил карту и улыбнулся. Несмотря на все «горячки», он чувствовал морозную бодрость, ясность и свежесть в душе.

Он встал, снова походил.

На шахматном столике валялся Шекспир; секунду поколебавшись — стоит ли снова играть на нервах? — он тихо решил, что боязнь открыть книгу — более стыдное чувство, чем обратное; он открыл и прочел, улыбаясь прихоти судьбы. Был тот случай, когда «совпадение» так уныло и очевидно, что это даже разочаровывает. Нервы изощрены и легко отыскивают

родное... «Все на свете опасно. Выйти на свежий воздух, выпить, лечь спать...»

Он с той же неопределенной улыбкой захлопнул книгу. Было слегка досадно, что это — Готспер, авантюрист, неудачник.

Как будут льянерос...

Последнее время он много положил сил, чтобы завоевать их доверие. Вы цените только силу и мужество. Что ж. Идем к Ориноко, вяжите руки. Вы что же? Вяжите. Эй, Педро, ступай на коне подальше, переплыви; развяжешь мне руки на том берегу. Пошел! Пошел, говорю. Ну, начали: гоп. Не забыть этих мерзлых минут на средине, когда дыхание сдает, над тобою небо и облака, и нету неба и облаков: мутная вода хлестнула в глаза и в рот — погрузился сверх меры,— работайте! о, бейте, работайте, ноги! спасайте! ничего, ничего нет, кроме измученных, падорвавшихся в торопливом, захлебывающемся скрещении, дергании, струении ног,— спасайте... спасайте, милые, нет никого, ничего в мире, и одна надежда — на вас... и вот — выправляется сердце, опять ритмично дыхание, изгибается под спиной вода — и работают ноги. На том берегу — молчаливый, невозмутимый Педро на мокром коне. Дыхание сорвано, онемелые ноги не держат и с медленным недоверием трогают землю; они — сами по себе, ты — сам по себе; но нельзя упасть перед Педро.

Что ж? Оценили его шутовство? Пожалуй, и оценили. Шути́те ценою жизни — и даже льянерос оценят ваш юмор.

Что ж, это необходимо. Если в таком походе льянерос будут плевать на ведущего — нечего и начинать. Да и само упражнение в плавании пригодится.

Но мало оружия. Мало оружия, черт возьми. Снаряжения мало, кожаной обуви нет еще, а в горах без

нее нельзя. У этих — лишь лошади, одеяла и пики. У прочих — нехватка пороха. Надо сейчас же сказать О'Лири, чтобы отправили англичанам, в Гвиану, еще два транспорта кож, тасахо, мулов, какао, кофе и табака: все это особо ценится. Еще бы хоть десять — пятнадцать орудий и двадцать — тридцать арроб бристольского пороха. Да, я скажу. Как это я забыл?

А как же степные люди почувствуют себя в Андах? Снега, болезнь высоты, болезнь горного воздуха — сороче. Надо бы самому еще походить по горам, чтобы после вести людей.

Он садился на мула или коня и скакал к ближайшим холмам. Конечно, не Анды. Но — в гору, в гору, в гору. Жди здесь, я пешком; жди, жди.

Было весело, бодро и блестко в сердце.

* *
*

Раз вечером он заметил странное шествие, шелестевшее и сиявшее среди тростниковых навесов палаток. При блеске трех высоко поднятых факелов, которые несли трое полуголых метисов, шел некий человек. Свет, падавший сзади, сверху и сбоку, весело озарял большое туловище в многочисленных блестках украшений и орденов, захваченных у испанцев, ядовито-желтые лосины, сверкающие сиреневые сапоги с белыми шпорами, треуголку с павлиньим плюмажем и посреди всего — ослепительно-сахарный, искрящийся влажным огнем широкий серебряный пояс. Что за чудо? Его солдаты, офицеры, да и он сам любили одеться экстравагантно; но, во-первых, это уж слишком, а во-вторых — кто это?..

— Хосе Антонио?

— Это я,— самодовольно и смущенно отвечал человек, сворачивая с торжественной линии шествия

(шел-то он, видимо, всего лишь из палатки в палатку) и подходя к Боливару, все сопутствуемый своими телохранителями с неподвижными, будто маски, лицами — людьми, словно пришитыми к нему невидимыми ремнями.— Вы чего-то желаете, Освободитель, мой генерал?

— Оставьте такой тон,— с досадой сказал Боливар, закладывая руки за фалды и всей позой своей выдавая, как нелюбезна ему эта вынужденная официальность.— Что это?

— Вы о моей одежде?

— Да.

— Вы знаете, я простой человек и не люблю пышность; но вот, пока мы не в походе, решил надеть. Как?

— Ничего. Я так привык вас видеть в плаще или пончо...

— Я шутя. Мне ненавистно все то, что я надел.

— Я не против.

— Я простой человек...

— Ваш отец был колониальным служащим, кажется?

— Но я в юности бежал в льянос и быстро завоевал любовь, преданность народа, и я люблю своих ребят.

— Знаю. Знаю,— прервал Боливар, отходя от Паэса с его масколицыми факельщиками.— Мне все равно, кто вы родом. Мы оба — дети Венесуэлы. Да, да.

— Я сниму,— сказал вдогонку бравый Хосе Антонио.

— Это ваше дело,— бросил Боливар.

«Он ныне — вождь льянос. Он — за нас, он против испанцев. Он — главарь льянерос, которым обещаны мною земли, свобода. Хороший воин и в чем-то ребенок. (Все мы дети в чем-то.) Но что-то мне не-

ясно. Он предан мне? Может, просто льстит? Во всяком случае, умеет он быть приятным и непосредственным, и даже когда лжет — обаятелен. Хороший военный. Прикроет тылы и фланг. Что же еще? В чем-то не везет этим льянос. Бовес. Паэс. Но Паэс — он за нас; и хороший воин. Все, все».

Он шел, руки назад; в голову уже шли другие заботы.

* *
*

Он, заложив руки за спину, рассеянно улыбаясь, ходил по лагерю своего разношерстного войска. Он делал это все с тем же чувством, с каким смотрел на карту в эти последние дни. Он видел лица и настроение, он был давно уверен в людях, в их решимости и, в крайнем случае, в готовности верить его звезде, и разуму, и чувству, и умению; и все же он все ходил, ходил каждый день среди костров и импровизированных палаток из одеял и пальмовых листьев — и все смотрел на лица, говорил с людьми или погружался в себя. Порою в жизни стеснительный, он в эти дни ощущал себя совершенно свободно, естественно с массами незнакомых ему людей и говорил с ними так, как будто они знакомы с детства и понимают его с полуслова, или проходил мимо них задумчиво, самоуглубленно, с таким видом, как будто они, да, знакомы с детства, и что тут, мол, разводить условности меж друзьями — вставлять слова, балагурить и улыбаться: ведь все свои. И он не думал, не думал он ничего такого — просто он б ы л таким. И люди глядели вслед, улыбались и с умилением смотрели и друг на друга: вот, мол, Боливар и вот мы — мы и Боливар.

Однажды, идя мимо одного костра, он задумчиво посмотрел на сидящих — и вдруг он вернулся на миг из сонного забытья, порою сходящего на душу перед

длительным, трудным действием, и увидел он в полной яркости, четкости, блеске этот костер, людей... Два негра в цветных набедренных тряпках, белый льянеро в рубашке-накидке, бедный креол в засученных до колен портах, с волосатой и бледной грудью, индеец в синей и красной краске на лбу, на скуластых щеках, с колтуном красных волос (особый шик) сидели вокруг костра и смотрели на тушку козленка, только что перевернутого к огню другим боком, и терпеливо ждали, и думали о своем, и не обращали внимания ни на него, Боливара, ни на сидящих рядом друзей — все друзья, все свои, зачем обращать внимание? — и он чувствовал, что причастен к этой любви, атмосфере, к этой тиши, он причастен и в чем-то источник ее,— и такое тепло снизошло на его притихшую душу, сердце, будто он мягко, неслышно приблизился к этому пламени и, не разжигая и не роняя, медленно влил его в некий сосуд своей души. И не разгорелось оно, а примолкло и успокоилось, весело тлея.

Он миновал костер и глядел в ночную синь, в далекие звезды; но ласковая улыбка не шла с лица.

5

В неровном тумане плыл позади покинутый лагерь. Идущие и едущие не очень спешили: слишком далек был путь (они видели, знали, чувствовали). Чем медленней, тем быстрее, и как ни медленно, все равно быстро, и как ни быстро — одним рывком не возьмешь. И как охотник, который решил убить огромного ягуара и разбогатеть одним махом, но именно потому ступает спокойно, медлительно,— так двигалось войско венесуэльских республиканцев в даль-

ний поход, оставляя вдали Ангостуру и вовсе пока не думая о враге и о трудностях перехода: зачем думать, все и так впереди, и надо беречь силы.

Этот воздух, особый ветер такой настроенности царили над движущимся потоком, порою переходящим просто в толпу и в перекатывающуюся массу. Конники ехали вяло, опустив поводья, многие шли пешком, таща в поводу по два-три мула, коня.

Затянули «Американскую карманьолу» и быстро утихли. Неутомимый охотник до пения начал «Слава храброму народу»; снова задумчиво подхватили и пели дольше (любимая песня), но все же пенье само собой рассосалось.

Дорога была все хуже: моросил дождь, глина и лёсс превращались в дрожащий студень. Пока буровато-серая, рябая от капель дорога и окружающие ее ярко-зеленые травы были сами по себе, они казались чистыми, умыто-неприкасаемыми; но первые мулы, первые пехотинцы молчаливого и храброго командира Ансоатеги ступали в эту чистоту, и почва визжала, скользила и разъезжалась гладкими, мутными под дождем полосами, дорога хлюпала и бугрилась, зеленые травы липли к земле и втаптывались в небытие, замызганные желтым и вязким взваром почвы; и все исчезало и булькало под ногами, колесами, шелест дождя, крики птиц тонули в чавкающем топоте мулов и лошадей, в визге колес по натертым осям и в криках сотен, тысяч людей. Пехота шла в голубых мундирах, с трудом волоча сапоги, плетеные сандалии по грязи и вовсе не пытаясь бодриться; разболтанные шеренги в колоннах были шире дороги, захватывали зелень степи; многие солдаты по традиции несли ружья не на плече, а на шее, грузно закинув руки за дуло и за приклад, как за коромысло; уланы и кирасиры ехали, понурив свои сомбреро, каски и треуголки, отряды

льянерос выделялись торчащими в небо длинными пиками и живописным тряпьем на всадниках. Впрочем, иные были просто голыми: красные, черные, шоколадные, желтые груди и спины, лоснящиеся под заунывным дождем. Конники тоже разбрелись по степи. Время от времени между нестройными шеренгами и кучками всадников попадались две-три неуклюжие повозки с круглым плетеным верхом; из них выглядывали женские и даже детские лица: многие солдаты везли с собой семьи, жен. Кончим поход — и сразу домой: на землю всем скопом. Порою глаза офицера, следящие с какого-нибудь празднично-сочного в дикой влаге холма и монотонно перебирающие это унылое, пестрое и расхлябанное движение,— вдруг выходили из полусонной дымки и зажигались остро и ясно: что? что? что такое? какое-то нарушение пелены, закона движения. То проходили ровным и мерным шагом английские волонтеры с хорошими ружьями, узкими шпагами и с пистолетами; одетые тоже пестро и разношерстно (расшитые желтым, оранжевым позументом мундиры спустили за ром колумбийским и оринокским полковникам, генералам), они, однако, тотчас изобличали в себе военных по ремеслу; они не спешили и не тянули ноги, но были заметны в бурлящем потоке своим ритмичным, организованным целым. Французы и итальянцы выглядели не столь внушительно, но тоже неплохо. Шли коренастые русские, немцы. Мародеры, бандиты и всякий сброд, примешавшийся к волонтерам, уже отсеялись; остались более надежные, крепкие. Генералы, полковники, командиры отрядов отделялись от общих рядов, выезжали в сторону, смотрели на шествие и вперед.

Впереди же было мало веселого.

 После дневного перехода, привала — костры не

разгорались — местность начала едва заметно понижаться. Все знали, что это значит. Попалась деревня из нескольких сквозных (без стен) хижин, приставших под пальмами, бегониями и древовидными папоротниками; женщины-ярурос, закутанные в драные шали, угрюмо, мертво смотрели на шедших, изредка вяло спрашивали солдат:

— Куда? Ориноко, Апуре, Капанапаро пошли на степь. Вода.

Люди отворачивались. Зеленое, желтое, серое. Серое и зеленое.

Местность все понижалась.

Вскоре внизу впервые — вкрадчиво и несмело — захлюпала влага.

Боливар на муле, не оглядываясь, ехал вперед. Полоса разношерстного, пестрого войска раскачивалась вослед.

Фернандо ехал на тихом и деловитом соловом и время от времени наблюдал за Боливаром, за его спиной и сомбреро. Особенно интересно было, когда под ногами впервые зачмокало жидко, бурливо и гулко: вода. Вода, вода. Верно, многим в тот миг непролазная желто-серая гуща, оставшаяся позади, показалась райской мечтой. Как бы ни было жидко — весело, когда знаешь, что под этим — твердо; но горе, когда не уверен в этом. Фернандо с улыбкой смотрел на обтянувшиеся лица пехоты из горожан, на уланов и волонтеров, но больше его занимал Боливар. Тот подхлестнул своего мула и тут же поехал вперед, как только пошла вода; но каково ему? по спине не понять.

Но что бы он ни чувствовал — правильно сделал, что поехал вперед. Если даже нарочно, против себя.

Постепенно теплая вода смелела и поднималась, противно крутила щиколотки; странной отрадой глазу виднелись ярко-зеленые острова холмов; горизонт

постепенно размылся, исчез, беловатое небо сливалось с уныло рябящей, тусклой водой, и не верилось, что она уйдет.

Боливар поставил мула на холм и оглядел шествие.

Механически, будто извне полезли мысли: сюда бы Шатобриана... Макферсона... Шекспира времени «Макбета». Он усмехнулся; так невозможны, отдельны от всей действительности, сути вселенной и бытия показались ему цепи фраз и имен. И все же... Поход валькирий, эриний, суровые тени Гудрун и Оссиана, Сида в берберских волшебных пустынях с их бредом и миражами, исход опозоренных инков в потусторонние и надзвездные сферы, жертвы Харона и Стикса... Что за сон? Он встряхнулся, повел плечом; и, как бывало не раз, простое движение, мелкое и ничтожное действие, действие — уничтожило наваждение и химеры, согнало серую мглу; в мозгу промелькнуло не то, что было перед глазами, а то, что будет, да, будет: зеленые горы, склоны, испанские гренадеры, бой, алая и зеленая, шумная Богота: торжественный праздник, победа, веселое, солнечно-медовое... голубое. Да, будет.

Он вдруг очнулся. Это шествие было и правда жутким, если со стороны. Равнодушно рябящая, серая, загадочная вода, острова зеленых холмов, накренившихся пальм, серый дым вместо неба — и толпа людей, полуголых и вдруг — в нелепо-роскошных мундирах: как петухи в золе; повозки, повозки, бурление мутных струй, серо-желтая пена, мусор, конский навоз, крутящиеся в медленных волнах. И серые дали, и муть, и мгла, и вода, вода. Хватит, вперед. Еще собьются.

Он дал шпоры покорному мулу — хорош для похо-

да! — и снова присоединился к колонне. Он приоса-

нился, чувствуя тысячи взоров в спину, слегка тряхнул поводья, чуть потянул влево: выехал на несколько шагов вперед.

На минуту он оказался один на один с огромнейшим серым пространством; не было неба, земли, людей, не было ни одного острова; вдруг почувствовался и мелкий дождь, промочивший сомбреро, стекавший между лопатками под мундиром.

Позади — бесконечное войско, впереди — никого, ничего.

Подъехал спокойный и плотный О'Лири и произнес, чуть косясь назад — не хотел, чтобы слышали:

— Все глубже, мой генерал. Пехота — выше колен. И дно местами вязкое, ил.

— Я знаю. Как направление? Что говорит проводник?

— Идем верно.

— Компас — тоже так.

— Не должно быть настоящей глубины — русло далеко,— но все же. Период дождей, мало ли что.

— Я не понимаю вас, друг мой,— раздельно и сухо ответил Боливар.

Помолчав, он добавил:

— Если будет совсем глубоко, я сойду с мула и пойду впереди пешком. Распространите это в шеренгах.

— Да, генерал.

Вода. И заметно темнеет.

Неужто не будет терпимого острова?

* *
*

Они ехали, шли; темнело, и острова не было видно, а доходило уже до пояса. Вся одежда намокла словно тысячу лет назад, и не было хотя бы вот этого

отвратительного и гнусного, страшащего душу чувства, когда ты идешь в незнакомую воду,— и намокает, и намокает все выше одежда, и ничего не известно. Мокнуть было нечему, и это немного скрадывало растущий страх, но все же он был. Одни льянерос были вполне спокойны — родная жизнь; но паники не было и среди других.

— Ай-а-а-ай! — раздался истошный крик и одновременно — ужасное, болевое визжание — ржание коня.

— Что такое? — загомонили солдаты и офицеры; зашевелились в тревоге сомбреро, каски и киверы, закачались пики, штыки.— Что? Что?

В серо-черной мгле нарастающего вечера, среди проклятой, загадочно-равнодушной воды эти бестолковые звуки были совсем некстати.

— Карибе. Проклятые твари,— послышалось вдруг, и многие облегченно вздохнули, хотя радоваться было нечему: зубастые и прожорливые рыбы явились целой стаей; загнутой кверху пастью с гвоздями-зубами, вставленной в рахитично-большую голову с оловянными бельмами глаз, угрюмые страшилища срывали ошметки мяса с ног лошадей и тех из идущих солдат, кто был босиком и в сандалиях. Проходившие вслед за ними видели в серой воде кровавые замутнения и шарахались в сторону; вовсе расстраивались ряды.

— Шире шаг,— передали вдоль по колонне приказ Боливара.

Движение чуть ускорилось; увлекшиеся льянерос прямо с коней или спешившись старались насадить охотящихся рыб на пики, но не так-то легко было увидеть их, подлых, во взбаламученной, грязной воде; какой-то индеец спустил тетиву — стрела с оперенным хвостом зигзагами пошла по воде, оставляя

треугольник двух струй, вызывая улыбки и восхищенные замечания по поводу меткости этого кечуа [1]. Через две минуты рыба всплыла кверху белым брюхом, ее передавали из рук в руки, посмеивались. Это несколько разрядило страх, напряжение. Одно дело — невидимые дьяволы под водой, другое — безжизненное, вялое рыбье тело в руках.

Вскоре рыбы отстали, заставив наполнить однудве повозки ранеными без боя.

Шествие продолжалось, и острова не было видно.

Через какое-то время опять послышался шум; в толпу идущей пехоты врезались три-четыре крокодила — погань такая! — но опытные льянерос, попавшиеся в толпе, вовремя заметили торчащие парные бугры неподвижно-мертвенных глаз и приподнятые суженные носы с частоколом зубов под кожей — нет, не безопасные кайманы, а проклятые крокодилы! — и заставили товарищей расступиться; три хищника сами оказались в осаде и, ясно поняв, что их будут преследовать, попытались уйти под водой; двум это удалось, одного прикончили толстой саблей и выстрелом из пистолета в башку. Неприятное тело всплыло вверх рыхлым, бледнеющим животом с чуть заметными поперечными кольцами.

Над головами сгущались рои москитов.

* *
*

Но вот, когда было почти совсем темно, показалось какое-то черно-размытое пятнышко. Явно то был «счастливый остров» в этом прогорклом и гиблом море, но все невольно боялись верить, помалкивали.

---

[1] Племя, некогда победившее индейцев аймара и вместе с ними составившее основное население империи инков. В войске Боливара были люди со всего континента и из многих стран мира.

Пятно приближалось и — по-прежнему черное и размытое для натруженных глаз — густело и ширилось; это был остров.

Оставив повозки с женщинами и часть пехоты, забулькали дальше: нечего было и думать, что вся эта армия — хотя и смехотворно малая в сравнении с наполеоновскими, веллингтоновскими, но все же армия,— разместится на этом куске сомнительной суши и влажной, набухшей зелени.

Стало темно; впереди, однако, маячило несколько островов — слава богу. А впрочем, давно бы им полагалось быть. Видно, вода еще прибыла за последнее время.

* *
*

Как славно после всего такого сидеть у костра под навесом из пальмовых листьев. Оранжево, желто, тепло; благодатно сушит одежду горячее пламя. Трещит и дымит древесина промокшей и сочной пальмы. Как славно они умеют делать эти навесы — так ловко.

Сиял, мельтешил костер. Сидели вокруг на седлах, пахучих поленьях усталые люди, смотрели на эти рогатки, на хлопотливый котел-котелок. Потрескивали, слегка высыхая от жара, шершавые листья навеса.

Снаружи чернела угрюмая и сырая мгла, но не хотелось думать о ней и глядеть в нее.

И Фернандо глядел на котел-котелок, предвкушая горячее месиво маниоки на языке, в пищеводе, в желудке.

— Вода — она и хорошая и плохая. Когда один скунс хотел научиться плавать...— задумчиво, хрипло заговорил Фернандо.

— Э, помолчи со своими байками,— так же задумчиво отвечал губастый, скуластый мулат Рауль

Дюперье из французской Гвианы, сидевший напротив.

Фернандо, глядя на пар котелка, на хороший и жаркий огонь, сглотнул слюну и умолк.

Все молчали, дышали; и клокотало в котле.

* *

*

Лежа в темноте в гамаке на шкурах, втрое постеленных кожей вверх, откинув одеяло из мягкой перуанской шерсти и все-таки подрагивая от влажного, сырого озноба и обливаясь парным, сладким потом, он не думал о завтрашнем новом пути (тут все было ясно, твердо, пришито, подогнано, как-то остро), а думал о разном — о жизни и о делах.

Как бывает, полузасыпающее воображение вытаскивало из пестрой памяти, дум и чувств нечто неожиданное и порою случайное, пыжило, раздувало его, и, набухшее, распухшее, оно, это нечто, вдруг заполоняло, пропитывало собою весь мозг, всю душу, давило, трогало, будоражило, пока он — казалось бы, полузаснувший — резко и дико не открывал глаза в темноту и с облегчением не убеждался, что повод, причина для полунощной тоски были не так уж важны, всесильны.

Раз в полусне перед ним предстал его полутезка Хосе Антонио Паэс — предводитель льянерос, нынешний вождь степей, идущих теперь против Испании, за свободу Венесуэлы. С длинной пикой в руке, смуглый, в пончо, браво закинутом от шеи за оба плеча, в изящно выгнутой шляпе, весь мускулистый и собранный, Паэс взирал, картинно вывернув ногу, ступня от ступни,— и говорил добродушно-басовито:

— Я, вождь льянерос, не подведу тебя, дорогой сородич, земляк, мой друг, мой любимый, мой мудрый Боливар. Я не подведу. Мы когда-то неправильно ре-

зали белых — креолов, плантаторов; теперь мы правильно режем белых — испанцев, завоевателей: всех, всех, всех. Ты обещал землю, отмену рабства моим ребятам; мы за тебя горы свернем. Среди нас тоже есть белые. Правда, немного.

— Но креолы — не все плантаторы, а испанцы — не все завоеватели, пауки, чиновники,— нахмурясь, как на школьном уроке, поучает Паэса Боливар; Паэс тоже хмурится: мол, с ним, с Боливаром, как с умным человеком, а он — как в иезуитской семинарии; ходит руки назад, с хлыстиком, лицо насуплено, брови соединились, углы губ, скулы, мускулы носа подрагивают, помигивают... он полюбовался на себя со стороны в своем полузабвении и, вновь очнувшись, поморщился, недовольный.— Хороши сны.

Сна и не было; какой это сон? это обычная дневная забота, процеженная, отстоенная ночной тишиной и покоем. Это не сон.

А если бы это даже был и сон, то тут как раз тот особый, негаданный, неприятный случай, когда пробуждение от плохого сна не снимает горечи, а только усиливает ее: действительность как бы подыгрывает ночному бреду и с особой силой давит на свежую после мгновенного забытья, одинокую голову.

Подобные разговоры не из снов. Особенно тот разговор, когда Паэс — эпилептик, только что откатавшийся, отрычавший в своем припадке,— собственноручно, еще с пеной у губ, порубил на куски человек двенадцать пленных, один из которых пытался стрелять в ординарца из пистолета, утаенного в складках закрученного одеяла.

Он как-то равнодушно подумал, поглядел во тьму, лежа на спине, заложив руки за голову; как он там,

 Паэс,— с его детской важностью, позой, звероподоб-

ностью, с его необъяснимым степным, родным обаянием.

Пусть орудует в Венесуэле, пусть обеспечивает тылы и фланги; а там, после — поговорим. Еще бы Сантандер... но это уже другое, довольно. Потом.

Другое? Разве не то же?

Рондон, один из главарей тех льянерос, которые идут в его, Боливара, наступающей армии, а не остались в тылу,— Рондон более ясен, чем Паэс, хотя менее колоритен.

Пепита Мачадо, с которой он сблизился незадолго перед походом,— неплохая женщина; но почему не только он сам, но и все окружающие, не сговариваясь, если речь заходит о ней,— улыбаются и тоже, при нем же, называют ее Пепитой, хотя для них она — Хосефина? Намекают на ее легкомыслие, «любовную щедрость»? Но почему они чувствуют, что при нем можно так называть ее — что он душевно не сердится, хотя старался (а теперь и не старается даже) хмуриться при таких разговорах? Почему они чувствуют, что он позволяет это? Ведь она ему правится, он неравнодушен? Вздор!

Он повернулся на бок и начал думать — не специально о завтрашнем дне, а о походе как целом — без частностей, без подробностей,— о походе как о чем-то лазурном, синем, матово сияющем и плавно пронзающем темную синеву,— о походе как о чем-то не вызывающем забот, душевных и умственных неудобств, как о твердом чем-то и будто каменном.

Вскоре он уснул; последняя четкая мысль в тумане и дыму входящих в ночь сердца, души,— была: «Я еще не втянулся в поход, оттого и засыпаю пока беспокойно».

В ту же минуту он спал, сунув ладонь под щеку и улыбаясь четко и сдержанно.

* *
*

Настало такое же серое и унылое, как вчерашнее, утро. Не хотелось вылезать из-под шкур, шерстистых пледов и одеял; но что делать.

Вода с прежним равнодушием забурлила, забулькала, закрутилась под копытами, подошвами и колесами. То усиливаясь, то слабея, моросил дождь. Сначала казалось, что стало помельче и дно тут круче — легче идти; но опытные льянерос и офицеры знали, что это лишь утренний самообман. С утра и смерть не так тяжела, как вечером. Люди шли, кони бороздили копытами вязкую, равнодушную воду, повозки хлюпали увязающими колесами, все это брызгало, било в лицо вслед идущим. Но вскоре и правда стало помельче, порой попадались участки набухшей, но все же родной, дорогой и зеленой земли — не воды: целые участки. В повозках, в шеренгах загомонили звонко и возбужденно; но офицеры и знающие люди угрюмо всматривались в лица обрадованных, гомонивших: то были те, кто не выдержат первыми. Они, знающие, знали: настал лишь маленький промежуток — водораздел двух рек; через час, через два, через три они попадут во владения Меты — большой реки, проходящей южнее маршрута (в общем и целом ясного многим: к Андам, в район Боготы). Там будет еще труднее, чем в пройденных поймах.

Вода, пока еще между кочками, островками, кустами, пенечками и буграми, захлюпала под ногами; все с невольной и напряженной надеждой ждали, предполагали, что это временно, что вот-вот, чуть-чуть, пусть еще немного, немного, но — твердое, но — земля. Но нет. Вода неумолимо вступала в свои права; все больше зыбкого и рябящего, все меньше кочек
 и островков могучей травы, диких злаков с огромны-

ми колосищами (невидаль для приезжих и горожан). Снова — серое, сплошь вода. Снова противное хлюпанье, хлопанье, бульканье, журчанье. Вдруг быстро начало понижаться дно. Боливар, с появлением влаги вновь выехавший вперед, спокойные Перу и О'Лири, начальник штаба Сублетте, молчаливый Ансоатеги и прочие, бывшие во главе колонны, ни на секунду не оглянулись назад. Но каждый всей кожей, всем своим существом ощущал и чувствовал лишь одно, лишь единственное соприкосновение с миром и со своей душой: куда уже достает коню или мулу, идущему впереди, невозмутимая толща. Будто подумав, раскинув, она пошла, равномерно распухла и потянулась вверх. Захватила конец хвоста, полхвоста... Что Боливар? Он видит или глядит в небеса?

Боливар видел. В душе были тишь, пустота и собранное, здоровое, ледяное спокойствие.

Раздавались крики: всю обувь, какая была на ногах, солдаты давно уже перекинули в мешки, шли босые: все терло ноги, да и жаль самих башмаков, сапог; но, как назло, они проходили по вырубленной бамбуковой рощице, кое-где торчали унылые молодые палочки с хилыми листьями, и солдаты то наступали на остренькие с краев пеньки, то распарывали подошвы о колкие, крепкие корни, омытые этими водами. Двое-трое остановились и закричали:

— Нет, не могу! Не пойду! Оставьте! Подохну в этом гнилье...

Их погрузили к женщинам на повозки. Рано это началось. Что будет дальше?

Один каракасец вдруг упал лицом в воду; его подняли, он был бледен, закрыл глаза. Взвалили на мула перед угрюмым всадником; он вытянул руки и ноги, хрипит; всадник невозмутим.

Слишком рано. Да, слишком рано: плохо.

Вода становилась глубже и глубже; все те, что шли и ехали сзади войска, втягивались на глубину гораздо позже Боливара и его помощников, не видели их уверенных спин и шумели, роптали. Боливар все время передавал по колоннам приказы, бессмысленные по своему существу, но полезные: люди знали, что он — там, он — спокоен.

Вода будто сонно и равнодушно смеялась над ними: дойдя до предела, дно становилось более или менее ровным и так держало людей — меж жизнью и смертью. Пехота — по грудь, по горло, у мулов — наружу одна голова и шея, у лошадей чуть виднеются рыжие, серые, вороные, соловые спины. Были и жертвы: кто неожиданно попадал в колдобину, кто увязал, кто, зацепившись за пень, камень или корень, плюхался вниз лицом и глотал отвратительно-теплую, грязную и гнилую воду неприготовленным ртом — поминай как звали в этом дымящемся призрачно-желтом и пепельном месиве; кто просто падал от страха, усталости, напряжения нервов — и не всегда это замечали в полутьме, наступающих сумерках, в собственном страхе, усталости, одури.

Вдруг началась настоящая, черная глубина; это было одно из самых постыдных и отвратительных приключений за день. Бурлящая яма росла под водой; неожиданное течение с вихрями и сцепленьями струй наводило медлительный ужас. Кони и мулы поплыли вперед, относимые влево, но прочие, но пехота, великие гренадеры из тех, кто даже мог плавать, остановились и загудели. Люди тоскливо поозирались и не увидели ничего, кроме воды, мелькания дождя и хмари; кругом — вода и вода, и под ногами — вот она наконец, настоящая гибель, настоящая, черная глубина и течение, струи, водовороты, несущие и несущиеся бог весть куда — в преиспод-

нюю, в облако серого ада. Вперед? О нет, нет. Случаи с реками были предусмотрены, и все равно это застало врасплох. Напрасно и интенданты и командиры совали всем дутые кожаные мешки, запасенные для таких переправ; нет, нет. Наконец, когда первые мулы и лошади выбрались на тот «берег» речки — то есть пошли опять по колено, по пояс, по грудь в воде,— застрявшие облегченно вздохнули и боязливо полезли в воду.

Появлялись перед глазами зеленые острова, люди радостно охали и вздыхали — и только москиты, гнусные рыжие дьяволы, неслыханными стадами обосновавшиеся на этих прогалинах зелени, суши,— кидались на лошадей, на людей и вконец отравляли радость надежды и облегчения.

Так они шли семь суток,— ночуя и отдыхая на влажных, полузатопленных островах.

* *
*

Наконец впереди показалось особое марево. И притом — сразу близко: во мгле оно как бы запрыгало черным размытым огнем милях в двух. Оно не могло быть островом: было темнее и больше; да нет, дело не в словах: было сразу видно, что это не остров.

Приближались молча. Только хрипели, храпели оставшиеся мулы и лошади; эти звуки были не так уж густы; многие животные в эти последние дни гибли в ямах, при переправах и просто в дороге; булькала и бурлила закрученная и пепельная вода, утробно и сыто урчали разбухшие от воды повозки, да время от времени вскрикивал человек, атакованный ошалелой карибе или морозно ударенный электрическим угрем. Далекая суша будто твердела и ширилась; да, было ясно, это — не остров, это — о н о, о н а; но

по-прежнему все молчали. Ехали, брели и молчали, молчали, а сами задавленно и надрывно глядели туда, вперед, ломая глаза.

В десяти шагах перед авангардным отрядом маячил задастый мул, черный мундир и сомбреро с обмокшими полями президента Боливара. Тысячи глаз лихорадочно перескакивали в эти минуты с волнующе-темного марева там, в тумане — на это собранно движущееся, ведущее их шаги рыже-темное узловатое пятнышко. Вот заметно мотается хвост у мула. Хвост, который почти весь был под водой. Вот бурунчик у ног. А вот брызги из-под копыт: так мелко.

Вода — позади. Боливар знал, что в ближайшие минуты в войске начнется беспечная радость и ликование, и солдаты, их жены, готовые роптать, рвать на части его и мула заодно с ним, начнут вопить ему славу, кидать одеяла и шляпы вверх.

Боливар, за ним другие выбрались на покрытый камнями и бурой грязью, поросший бамбуком, разлапым и плосколистным кактусом, хинным деревом и кустистой редкой травою пологий склон; их лошади, мулы невозмутимо отряхивались, долбили копытами жидкую, грязную землю; летели ошметки этой земли.

В выползающем из пепельной хмари войске послышались упоенные клики. Да, началось.

Фернандо выбрался из воды, соскочил с коня, поводил его по кромке земли, чуть кося глазами туда, назад, откуда пришли.

Даже ему, перетертому-тертому, будто не верилось, что они, люди, могли прийти, возникнуть из этого гиблого месива.

6

Это был веселый, прекрасный момент перехода. В прогорклой воде степей осталось немало товарищей, но выжившие и вышедшие в эти часы не вспоминали о них, а если и вспоминали, то так, что, мол, гибли не зря, мы же вышли и победим. Победим! победим! это слово витало над праздничной россыпью ярких костров, засиявших в чернеющей тьме, под уставшим мелким дождем на пологом склоне какого-то из больших плато, предвещавших Анды. Да, было хорошо. В довершение ко всему в долине Касанаре их встретили долгожданные отряды Сантандера, шедшие к той же цели с другой стороны... Известия, что Паэс обеспечил тылы, все прекрасно. Оранжево, чисто сияли, блестели костры, кричали солдаты в повозках и под навесами, слышались молодые аккорды гитары, глухо бубнил барабан, и ходили полуголые люди с большими чашами, полутыквами и стаканами, предлагая друг другу:

— Брат! Выпей за нашу победу!

— И ты!

— Ба! Голый ты очень хорош!

— Не хуже одетого. Суше!

— Ха-ха!

— А где твои тряпки?

— Я давно их отдал в обоз, прикрывают порох.

— Я тоже!

— Голому дождь не страшен!

— Говорят, впереди Анды...

— Ну что же. Анды так Анды.

— Уж коли такое прошли — горы пройдем.

— Пройдем.

— Господин президент! Генерал! Подождите! Выпейте с нами. Выпьем за нашу победу.

— Спасибо, Пабло.— Его «спасибо» звучало приятно и особо проникновенно.— Спасибо. Но вы слишком не напивайтесь. Завтра — идти.

— Освободитель! Господин президент! — Блеск и свет костра, прозрачно-блестящие, выпуклые глаза, влажные плечи и груди.— Господин президент! Генерал Боливар, Освободитель! Выпейте с нами. Мы не напьемся, мы свое дело знаем. Мы не так часто пьем. Это домашняя чича, это не европейские пузыри.

— Ха-ха.

— Мы свое дело знаем. Нам приятно, Освободитель, что вы подошли к костру. Эх, сядьте. Вот здесь, На седло. Оно сухое и чистое.

Все замолчали, ожидая, не станет ли генерал говорить: мол, мне все равно, мол, подумаешь, я могу и на грязное. Но он только сел, подняв колени — верхи ботфортов встали торчком,— и сказал:

— Ну, давайте. Хотя не надо бы пить.

Прошумел азартный вопль одобрения; Пабло, залучивший Боливара и почувствовавший себя теперь как бы хозяином, уселся у его ног на козлиную шкуру и предложил, будто открывал их Америку:

— Здоровье нашего Освободителя, нашего генерала, нашего командира. Вива!

Все проорали «вива».

Он тихо помедлил. Он видел: они, сидящие,— полуденные люди, ждут речи, ждут гордого и красивого слова.

Он выпрямился на своем седле — чаша в обеих руках, ботфорты, заляпанные столетним илом, несмело и тускло вбирают сиянье костра.

— Я хочу,— проговорил Боливар, и все оценили его серьезность, торжественность, полную искренность и достоинство в этот миг,— чтобы родина наша

 была едина и счастлива, чтобы сыновья ее помири-

лись под знаком прекрасной и справедливой власти, чтобы свобода, которая ожидает нас в конце этого похода, засияла над всей землей. Я хочу, чтобы этот поход дал свободу родной земле и над ней засияли прекрасное солнце, счастье и справедливость,— сказал Боливар, и чуть ослабил стержень своей спины, и слегка улыбнулся, и оглядел солдат, давая понять, что кончил.

— Ви-и-и-ива-а-а-а! — завопил кружок у костра, и вопль получился более мощный, чем можно было ожидать, ибо с внешней стороны, в темноте, к костру, разумеется, подобралась уж порядочная толпа зевак и симпатизирующих.— Вива Боливар! — загорланил Пабло, и все подхватили. Подобные крики слышались и в других местах («Вива Колумбия», «Вива Боливар», «Вива Ансоатеги», «Вива эль конгресо» и все такое), но здесь это было особенно живо и яростно, и толпа все росла, привлеченная этим небывалым восторгом.

— Вот видите, дорогой генерал,— говорил смуглолицый Пабло с чашей в руках, поворачиваясь к Боливару и сверля толстым пальцем его сапог, серьезно-сияюще глядя ему в глаза,— наш народ вас любит. Я вам скажу откровенно: мы считали вас за чужего. Вы и сейчас нам чужой... А что? А что? — закрутился он направо-налево, отвлеченный гуденьем посмеивающихся солдат насчет неприличия своего разговора и поведения.— Я скажу. Нет, я скажу откровенно, и я не уроню чести. Я не уроню чести! — слегка озлясь, прокричал он вовне и опять повернулся к Боливару, вновь обретя манеру ласковости и мягкости, и некоей бережной осторожности.— Вот. Я не уроню чести ни твоей, генерал Боливар, ни своей, солдата Пабло Гонзалеса, метиса, льянеро. Я что говорю? я говорю, ты чужой, потому что сказать — ты нам свой, было бы

ложью. А разве ложь согласуется с честью? — Боливар слушал устало-внимательно, чуть поддерживая подбородок костяшками-сгибами пальцев, глядел в глаза и кивал.— Нам и не надо, чтобы ты был своим. Знаем мы тех, которые все свои, а после продадут. После не свои. Так вот, я о чем? Свой — это вон Фернандо, вон, сидит ухмыляется — рожа! («ха-ха» — лениво, чуть напряженно прошло вокруг: люди слушали, куда гнет Гонзалес). Он вам расскажет про скунса, про лиса, про анаконду — всем надоел! («ха-ха»; Фернандо, чуть улыбаясь, самодовольно потупил глаза: на него было обращено всеобщее внимание) — но разве он варит своей башкой? (Фернандо слегка насупился и стрельнул в говорящего острым взглядом.) Эй, я ведь шутя. А вы? Вы — другое. Такого мы не видали. У нас были славные атаманы, полковники — Мариньо, Алмейда или вот Паэс, замечательный парень, да многие,— но такие, как вы... Как бы сказать. Вы — умный человек. Есть много умных ребят, но вы... Вы все знаете, все вы видели. Вы все понимаете. А вот — ведете нас. А зачем? и мы видим. Мы мно-о-огое видим.

Толпа одобрительно загудела.

— Вы нам, конечно, чужой, вы и не можете быть своим. Вы большой человек, вы умнее нас. Но почему мы вас любим больше, чем даже Мариньо, Рондона? Чем конечно уж Сантандера?

Все вновь погудели добро и в облегчении: правильно он привел.

— В вас нету корысти — раз. Что ж, мы не видим? Вы человек богатый, знатный креол, мантуанец — вы отдали все республике, братству, народу. У вас ничего нет. Это раз. Правда, у вас одеколон, эти ваши манишки, но это ничего, вы носи́те, носи́те, мы

 не против. Вы человек просвещенный, чего вам скры-

ваться? Ну, это раз. Верней, погодите. Вы славу, конечно, власть — это вы любите. Вы, может, обиделись? — остановился он на секунду.

— Да нет. Нет, нет,— отвечал Боливар, и правда внимательно и серьезно слушая.

— Ну и вот. Это вы любите. Но все же не только это у вас. Вы свободу, походы, риск, подвиги и народ — это вы больше любите. Это больше, да.

Все опять повздыхали: «Вот говорит! И откуда что берется!»

— И я уже сказал, но еще скажу: вы нас принимаете в счет. Принимаете. И за это спасибо, за это и мы вам — славу. Нас любить не за что. Люди мы темные и жестокие. Но вот если человек к нам внимателен — то спасибо. Мы что ж, не видим? мы видим, как вы с нами мучаетесь. Я видел, как вы тогда три раза прыгали кувырком — через лошадь, чтобы показать льянерос, что вы герой. Два раза падали, третий ничего, хотя и неловко. И через реку — без рук, это я тоже помню. Глядели мы с того берега, как вы тогда выходили к Педро. Шатает вас...

У костра смущенно и умиленно посмеивались; Пабло со вниманием слушала уже большая толпа.

— Посмеялись мы, а стали вас уважать. Вам бы что? Раз-раз, приказал и пошли, ваше дело, мол, слушаться командиров. И многие так и делают. А вы — нет. Вот это нас забирает, нам нравится.

Пабло был пьян и все же немного хитрил, рисовался, хотя в данный миг был предельно искренним. Вокруг вновь послышался восхищенный ропот: «Пабло-то, Пабло! Все верно, да как говорит! Говорит-то!»

— И тут: вот не хотелось, некогда пить, а вы подошли и выпили. Мы понимаем, что вы бы сумели и отказаться, и сделать так, чтобы нам не обидно. Уж вы бы могли придумать. А нет: вы не стали хитрить,

пришли, выпили. Вот вы речь сказали. Высокие слова говорите, не все мы тут понимаем...

Все загудели, чуть засмеялись.

— ...а все равно приятно. Приятно, что вы так говорите с нами. Это хорошо. Это хорошо, дорогой вы наш генерал.— Пабло совсем расчувствовался и обнял ногу Боливара.— А мы — мы идем за свободу свою, за землю. Давайте выпьем! Эй, вы там все! Выпьем за дорогого Боливара, генерала! Салюд!

Пабло пьянел и клонился, но чашу держал изящно и крепко на растопыренных пальцах; восторженное «Вива-а-а-а-а!» разнеслось в непроглядной и мутной черноте, пронизанной ярким и резким блеском костров.

Боливар растроганно, молча, глотая судорожные комки, поднимал свою чашу рядом с десятками плошек, кружек, чашек и полутыкв в этих десятках жилистых рук; в ушах стоял радостный шум и гомон.

Одним из последних протиснулся этот, Фернандо; он держал свою миску в обеих руках и влажным, счастливым и робким взором смотрел на Боливара и умильно косился на Пабло. И снова смотрел на Боливара. Тот заметил его, протянул ему чашу, и он с достоинством потянулся и коснулся президента и генерала. Он что-то хотел сказать, шевельнул губами, усами; Боливар, заметив это, с особой чуткостью и участием, свойственным его сердцу в т а к и е минуты, чуть вытянул шею и наклонил ухо.

Но Фернандо лишь грациозно отступил на полшага, как бы полюбовался своим генералом, готовым любить, и вести, и слушать его; ничего не сказал и еще слегка отступил, кивая и улыбаясь, и благодарный.

— Спасибо. Спасибо, мои друзья. Мои родные, мои солдаты,— растроганно, резко, отрывисто говорил

Боливар, сияя круглыми, темными в глубине глазами.— Ну, я пойду. Спасибо. До завтра.

Он — с непредвзятой, непредусмотренной церемонностью — обнял Пабло и под нестройные возгласы одобрения выбрался от костра.

Туманная, черная ночь охватила его, пахнула в разгоряченные, теплые лицо, грудь; он быстро пошел к палатке, но, подойдя, не вошел, а еще походил вокруг, возбуждая сдержанное внимание часовых и секретарей, адъютантов.

Он походил руки за спину; посмотрел вокруг. Ликовал и праздновал милый лагерь в бездонной, густой ночи.

Пабло слегка хитрил, рисовался — но что же? пусть. Хорошо, хорошо.

Он ходил, он смотрел на небо, которого, собственно, не было; он не обратил на это внимания.

В душе были влажное счастье, белеющий свет и свежащая, собранная тревога.

* *
*

Взволнованный разговором с солдатами, Боливар не мог пойти спать; раздраженные нервы и тело требовали движения. Он все ходил у своей палатки, у навеса над гамаком, вязко шурша ботфортами по набухшей траве, вспугивая светлых и темных бабочек, таинственных ночных птиц и всяких летучих тварей, будто полуживотных, полунасекомых, в изобилии населяющих эти места; по обыкновению заложив руки за фалды, он с досадой поглядывал на часовых, проходящих офицеров и солдат, которые пялились на него и не понимали его чувств; душа требовала одиночества и общения, тишины и сурового действия — пусть ничтожного по своей сути, но немедленного и рьяного.

Сияли огни, раздавались клики. Он решительно зашагал к ближайшей офицерской палатке; из-за полога полосой падал яркий свет, слышались голоса. Резким движением отодвинул полог, резко и грациозно пригнулся; вошел в световое пятно.

— Ви-и-ива-а-а-а! — разумеется, тотчас же грянула палатка; приятной мягкой волной плеснули по одинокому сердцу тепло и радость, приветливость веселых людей. Он огляделся. На ягуарьих и козьих шкурах, на коврах сидели, обняв колени или вытянув ноги, сдержанный, улыбающийся Сантандер с красивым, крупным, слегка скуластым лицом в жестких коротких усах, добродушный и одновременно строгий широким лицом и массивным телом Сублетте, изящный Перу, тихий Ансоатеги; все они, повернувшись и изогнувшись кто как, смотрели в сторону входа — на него, на Боливара.

— Беседуете? — сказал он, улыбаясь, потирая руки.

— Нет. В кости,— после мгновенной паузы ответил Сантандер; не желали отвечать хором, ждали друг друга. Гордецы-офицеры. Пусть, пусть, молодцы.

— Что же вы: солдаты празднуют,— сказал Боливар, присаживаясь на теплую, косматую шкуру, обхватывая колени и прислонившись спиной к Ансоатеги.— Я тебя не спихнул с места, Хосе Антонио?

— Нет,— улыбнулся Ансоатеги; на мгновение они повернули друг к другу головы, глаза встретились и туманно, весело разошлись; двое людей как бы узнали друг друга.

— Да мы тоже не сидели зря,— сказал Сублетте; все хохотнули, как люди что-то скрывающие, и посмотрели в угол. Там на расправленном кожаном мешке валялись круглые, плоские и квадратные бу-

тылки и стояла расколотая калебаса. Что-то пестрело красным, синим и белым; в бегающем, ярком свете жировой плошки-светильника бутылки поблескивали картинно, задорно, таинственно.

— А что за пестрые тряпки? Юбка, что ли?

Офицеры как-то задумчиво посмеялись, глядя на свет; в палатке чувствовалась довольная и мужественная расслабленность, пахло жареным мясом, потом, вином, раздавленной травой и влагой, и шкурами; сиял свет, поблескивали глаза.

— А Пепита тоскует,— серьезно и задумчиво сказал Перу де ла Круа после небольшого молчания, и собравшиеся разом засмеялись этому общему совпадению мысли, вдруг, как бывает, точно и в точный миг выраженной одним из подумавших.

Боливар улыбнулся (его сухощавое лицо разошлось в морщинках) и кинул кубик, воскового цвета и в черных крапинках, на ранец, лежавший между офицерами; точеная кость с бодрым треском прошлась по дубленой, ядреной коже.

— Немного,— сказал Сантандер, заглядывая в остановившуюся грань кубика.

Громыхнул выстрел.

Офицеры вскочили; самого движения не было видно, все сидели, полулежали в расслабленных позах, и вдруг — все на ногах, на миг замерев в хищных стойках, ладони сжимают эфесы полувынутых палашей, шпаг (до этого мирно валявшихся в своих ножнах какая где), рукояти пистолетов. Но Боливара уже не было; никто не удивился, все знали быстроту его. Мгновенно поняв всем телом, всем чувством, что им следует ждать две-три секунды, и лишь потом выскакивать вслед,— они стояли, прислушиваясь.

— Ничего, хорошо,— сказал Боливар, вновь изящно ныряя в палатку.— Это солдат ссадил оцело-

та, который крался тут варах в ста. Я успел застать, как он падал сквозь листья и ветки. Здоровый кот. Наверно, подбирался к оставленным кострам, где кости и туши,— говорил Боливар, снова подсаживаясь к огню, оживленно, довольно поблескивая нестерпимо просиявшими, как бы очистившимися от облаков и туманов черными, смоляными глазами.

Все уже сидели, полулежали в своих расслабленных позах.

— Что это он? Наказать бы. Одно дело — пальба там, вокруг костров. Другое дело — здесь, где до этого не было выстрелов и лес близко. Часовой? — снова как-то задумчиво говорил Сантандер, глядя на огонь; его большое, красивое и крепкое лицо выразило вдруг некое скрытое раздражение, хотя внешне и лицо, и довольно крупное, важно-грациозное тело Сантандера в фиолетовых с желтым узором-цветком лосинах, в маленьких изящных ботфортах (сапог не снимали) и белой сорочке с жабо на широкой груди выглядели увесисто и спокойно.

— Зачем? Пусть,— отрывисто молвил Боливар, хотя фразы Сантандера вовсе как бы и не предполагали ответов, действий, а говорились как бы сами по себе, независимо от окружающей жизни; Сантандер, полулежавший на стертом в походах ковре, взглянул на Боливара и как-то неуловимо чуть выпрямился и подобрался; Боливар же опустил, потушил свой быстрый взгляд, которым окинул тяжеловатую фигуру Сантандера с необъяснимым раздражением, и отвернулся спокойно, покорно.

— Пусть так пусть,— сказал Сантандер, усмехнувшись на свет.

— Если хочешь, я накажу его, Франсиско,— сказал Боливар снова покорно и с каким-то недоуменным подобострастием.— Ты прав, солдат нельзя рас-

пускать, и ты знаешь, что я бываю строже тебя; но, знаешь, сегодня такой день...

— Нет, нет, я же не возражаю,— спокойно и улыбчиво перебил Сантандер; они тихо посмотрели друг на друга и улыбнулись вновь.— Если и наказать, то легко: ничего особенного он не сделал; а можно и не наказывать.

— Я и о женщинах ничего не хотел сказать,— продолжал Боливар.

— Ну, о женщинах не вам бы скромничать, генерал,— усмехаясь, проговорил Перу, который и в такой обстановке обращался к Боливару полуофициально.

— Да я ничего, но Сантандер вот смотрит с раздражением. Всегда он недоволен,— капризно, подрагивая нижней губой и уголками рта, сказал Боливар.

Сантандер молчал, глядя на огонь, но плотные его скулы мучительно отвердели, а глаза сузились.

— Ну, не буду, не буду; это я виноват,— сказал Боливар.— А только вечно он недоволен. Придирается ко мне. А черт с ним! Пусть бы танцевал и за бабами бегал, ах, черт с ним. Давайте станцуем?

Он вскочил, с невыразимой испанской грацией волнами развел руки чуть в стороны и назад и сделал пальцы щепотью; он ощутил в душе тоску, неуютность, ощутил, что ребячлив, дурак, смешон, этакое капризное дитя, а Сантандер — о Сантандер!

— Карлос! Куатро! — гортанно, пронзительно крикнул Боливар и, не ожидая первого движения Сублетте, вновь нетерпеливо завопил: — Карлос! Карлос, проснись!

Сублетте потянулся к своему любимому другу, гитаре с четырьмя струнами, как вдруг Сантандер мрачно сказал, все глядя на огонь и будто не слышав последних этих криков Боливара — будто в палатке

еще ничего не было после последних слов о нем, о Сантандере:

— Я же не трогаю тебя, Симон. Я подчиняюсь тебе, все исполняю. Я хорошо работаю, делаю свое дело. Я не понимаю, зачем ты так.

— Со мной ты хорош. Когда я рядом. Я нравлюсь тебе, я тот, кем бы хотел ты быть, я вроде женщины, вроде кумира и всего, что ты хочешь. Но, я уверен, когда я ухожу, ты меня ненавидишь. Ты ненавидишь меня! — как-то беспомощно взвизгнул Боливар, с режуще-цепкой проницательностью впиваясь в мрачно-красивое, раздраженное лицо, в тяжкий взгляд Сантандера.

— Друзья! что такое?

— Мой генерал!

— Что за речи?

— Только встретились — и, скажите!

— Но друзья...

— Нет, нет-нет...— загомонили вокруг.

— Главное — из-за чего? — вдруг спросил Перу.

— Да, из-за чего? — подхватили порозовевший Сублетте и встревоженно-тихий Ансоатеги.

Боливар и Сантандер молчали; Боливар успокоился раньше (а по лицу Сантандера было видно, что он окончательно так уж и не придет в себя в этот вечер) и, смущенно похмыкивая, сказал:

— Зря, да. Ну, танцевать не будем. Прибережем это для Боготы.

Все, согнав с лица тени, вдруг представили это и ясно заулыбались.

— Но что же? Ансоатеги, изобрази нам Паэса. Как он там, в Венесуэле, держит наши тылы и фланги.

Ансоатеги послушно поднялся, упер руки в бока, расставил ноги гораздо шире плеч, «выпятил пузо» и, надувая щеки, заговорил:

— Я — ягуар степей. Я — хозяин Венесуэлы. Мои льянерос, ко мне!

Он совсем надул щеки; все несколько принужденно улыбались.

— Раньше мои льянерос были за испанцев, но я их повел за республику и свободу. Только вот адвокатишки из городишек нас надувают. Сантандер...

Но Сантандер вдруг такие тяжелые камни, глыбы и скалы заворочал в своем приподнявшемся взгляде, что добрый Хосе Антонио лишь осекся — и продолжал уже о другом:

— Когда я был мальчиком, мой хозяин мне говорил: «Катире Паэс...»

— Лучше поговорим о Пепите,— подмигнув, молвил тонкий, полный такта Перу. Он знал, что Пепита Мачадо, эта последняя, легкая любовь командира,— что это не столь щекотливая тема, чтоб нельзя было затронуть ее.

— Да, Пепита,— притворно-комично вздохнул Боливар, с живостью и облегчением поддерживая шутку, с косвенной благодарностью глядя на Луи.— Как-то она без меня? Нашла жеребца из стада моего родича Паласиоса?

— Ха-ха.

— Нехорошо, мой генерал.

— Ха-ха.

— Нет, шутки в сторону.

— Вам, генерал, надо найти даму сердца, которая пленит вас по-настоящему.

— О, Луи, как же выспренно. Во Франции все такие педанты, как вы?

— Нет, я сам по себе.

— А помните, как во время того, последнего покушения, когда я снова, как и на Ямайке, спал в гамаке, а вокруг меня порезали какого-то попа, солда-

та, Сантандера чуть не пырнули, а я-то уж был на коне?

— Да, да, поразительно, как вы умеете.

— Как я кружил на лошади по сельве, спасаясь от них, от тех бандюг! Ох, смех и грех...

— Ничего нет смешного, мой генерал.

— Да ладно, Перу.

— Вот подохнешь в каком-нибудь подлом болоте, как эти, что за спиной,— и ни одна свинья в мире не вспомнит.

— Ну, ну! Вот это чувства!

Они помолчали, на миг снова каменно ощутив то важное и простое, что незримо витало над ними все это время, все эти часы и минуты.

— Да. Время.

Выйдя, он чувствовал только одно: да, он, может, зря пошел к офицерам...

Завтра, завтра и завтра.

Огни догорали над лагерем; со всех сторон волоклась на лагерь черная, тяжкая, непроглядная ночь с ее свистами, треском и шуршаниями; гортанно и грустно перекликались бессонные караульные, фосфоресцировали сгустки лиан и светляки в близкой чаще.

Положив ружье на плечи за шею, бросив усталые руки на дуло и на приклад, ходил у его светлеющей одинокой палатки солдат в широком, поникшем полями сомбреро.

Все как надо.

* *
*

С рассветом лагерь зашевелился вновь. Сдирались навесы с бамбуковых кольев, складывались холстины,
 гамаки и пальмовые листы, набивались мешки, на-

вьючивались сверх меры несчастные, пережившие свой век коняги и мулы. С опозданием суматошно и басом забил барабан. Затаптывались костры, проверялись ружья, и пистолеты, и шпаги, и даже ножи: нет ли ржавчины. Если есть, тут же чистили: запустишь на день — конец оружию. Впрочем, ныне с этим будет полегче. Визгливо, шершаво пели бруски, наждаки и набухшая кожа.

Было обычное — подъем лагеря! — но лица были другие. Все знали: вверх, а не вниз. Туда, вверх.

Вскоре колонна двинулась, поплыла, постепенно втягиваясь в пологие скаты плато и разглядывая холмы и скалы, готовившие Восточную Кордильеру.

Настоящих гор еще не было видно, и потому о них и не думали.

Погода то прояснялась — по нежным полям, перелескам бежали потусторонние тени взлохмаченных облаков, торопливое солнце хватало куски пестреющей пашни, блестело, сверкало в болотцах и каплях, светлило зелень, голуби́ло тревожащие обрывки синих небес,— то снова смыкалось над головою белое, серое, моросило и душно па́рило от земли. Разбитая, в безалаберном гравии и остро растресканных камешках, рвавших подошвы, дорога все время вилась чуть вверх; но все это было смех и одно удовольствие по сравнению с тем, что промозгло туманилось позади; весь этот день прошел в безмятежных сравнениях прошлого с настоящим, в воспоминаниях; вдруг забывалось ужасное, скверное, вспоминалось веселое; даже то, что выглядело тогда серьезным, теперь казалось вполне смешным:

— Он с мула кувырк, а нога застряла, мул его тащит — эдак спокойно,— а он работает, работает, гребет руками-ногами и эдак и так: плывет.

— Понятно... ха-ха...

— А он-то его в ту сторону тащит, вперед. А он гребет — руками, одной ногой,— гребет, конечно, назад. Гребет назад, а плывет вперед. Глаза таращит.

Женщины деревень смотрели, придерживая на груди одеяла, скрывавшие младенцев. Те тоже глазели из-за материнских плеч.

Учащались по сторонам дороги холмы и скалы.

Дорога резко свернула направо; кончилось небольшое, пологое, почти плоское это плато, и возникла еще не очень явная горная хребтовина вразрез пути; дорога уже ощутила ее. Она не пошла прямиком — видимо, в сильный дождь тут повозки съезжали б назад,— а сделала два зигзага, как бы примерив себя на будущий серпантин.

Авангард миновал эти завитушки, вышел на гребень пологой хребтины — и постоял невольно.

Пред людьми ширилось небольшое, лысовато-зеленое степное пространство, а дальше, давя своим могущественным величием собственные ближайшие предвестия и отроги (почти не видные, затененные старшими братьями с этого расстояния),— поднимались дремучие, бело-черные поднебесные Анды — Восточная Кордильера.

Они стояли, безмолвно теряясь в туманном небе, и войску Боливара предстояло их миновать, показать им спину.

Люди постояли, задумчиво посмотрели, но напирали задние, шедшие по горе и, как всякие в таком положении, очень спешившие па вершину; поводья заколебались, отряды двинулись по степи.

Зеленая, в мелкой траве и кустарниках и неожиданно пышных, роскошных пальмах и плосколистых огромных кактусах в ярко-красных, оранжевых и малиновых цветах, полустепь оказалась шире и больше, чем можно было предполагать: горы, как и обычно,

скрадывали однообразную ровную местность, лежащую у подножия. Люди ехали, шли и смотрели на горы, а они все не приближались. Светлели их ледники и снега, и черные трещины, и казалось — вот они, вот они, вот, вот, вот. Но нет — они были столь же задумчиво-близки, и люди ехали, шли довольно быстро и споро, и все смотрели — а горы не приближались. И это рождало особый и смутный страх. Примолкли льянерос — люди степей и простора; все чаще молчали суровые горожане. Все не увяли, не приуныли, но возродилось отчасти чувство, бывшее при начале похода: упрятать силы души и тéла, они еще пригодятся.

Наконец, после длинного вечернего перехода, продолжавшегося в полутьме и во тьме до глубокой ночи (Боливар уж начинал торопить, боясь, что исчезнет важнейший козырь внезапности), после короткой ночи, они полезли при первых лучах, на зеленом и голубом рассвете, из-под палаток, из-под навесов, из шкур, из мешков — и увидели горы совсем вблизи, наполовину озаренные в своей неслыханной белизне охряными, холодно-расплавленными слитками солнца — еще не видного им в сине-зеленой дымке там, на востоке.

Белый снег равнодушно, слепяще, празднично и багряно пылал под огнем светила, туманилось бледное небо, рвано чернели прогалины между льдами, снегами, и зелено золотилась, светлела в теплом сиянии лесистая часть хребта, уже попавшая в солнце. И пасмурно хмурилась и чернела, синела, темнеюще зеленела нижняя часть — еще туманная и вне солнца.

Вершины глядели гордо на фоне бледного голубого неба, они были куполообразны или ровно подрезаны — бывшие, действующие вулканы,— они смотрели на солнце, не видное простым смертным, они

смотрели и на неразгаданную, голубую и золотую страну, бывшую от них по ту сторону — за лучами и плавленым солнцем, за бледно-голубым небом над ледяными, алмазными куполами.

Из тех, кто пришел к подножию, многие не видали в жизни таких высоких гор. Они знали Силью Каракаса и холмы, они разбирались в джунглях Гвианы, лесах Ориноко и плавнях Апуре, они знали толк в мореходстве, плотах с парусами, в саванне, но не встречались с лесами и льдами Анд. Они смотрели во все глаза, они оглядывались назад и не видели солнца, они соразмеряли леса и склоны, и снеговые убежища гор с самими собой, со своими повозками — и глядели один на другого.

Когда они тронулись в путь, Боливар — чуть сонный и хмурый, закутанный в черный плащ, в треуголке — молчаливо проехал вдоль провожавшей его глазами колонны и снова возглавил шествие.

До снегов еще было идти да идти.

* *
*

Покачиваясь на широкой, надежно-баюкающей спине своего мула, глядя вперед на дорогу в оранжево-бурой пыли и пестреющих хрустких камешках, Боливар ушел умом, сердцем от этой дороги и вспомнил о юности — об Устарисе, об изяществе этого старика и самого его, Боливара, юноши, среди темно-багровых колоритов гостиной. На миг отойдя от своего воспоминания, он вновь осознанно, явственно посмотрел на дорогу и усмехнулся игре воображения: дорожная пыль и гостиная Устариса? Но нет, видимо, не было связи в этом; и красный колорит — случайное совпадение. Мы слишком часто ищем верхние связи, а жизнь — могущественнее и глубже. И вдруг

после этого минутного отступления с особенной, поразительной четкостью, определенностью линий, предметов, оттенков представил — Устариса в загнутых кверху туфлях, темных Мурильо и Гойю в углах, густо-багровый паркет с узором, кресла и канапе с вензелями, багрянцем и желтизной. Чем был я — и что я ныне?

Я в юности не готовился к малой битве. Готовился я к большим.

И все же многое ныне не так, как я представлял даже в темных снах. Не хуже, а совершенно по-другому. Как бы в ином мире, в иной легенде, сказке, чем замышлялась в те годы.

Я увидел иное и многое, чего я не видел прежде.

Я видел многое, чего не видел мой Родригес, мой Робинзон, мой учитель, боготворивший Жан-Жака, уподоблявший себя великому путешественнику, создающему цивилизацию на необитаемом острове; Родригес хорошо видел многое, но чего-то большого, особого он не видел.

И нынешняя моя жизнь отличается от прежней не тем, что я делаю нечто иное, чем замышлял; напротив, с этой стороны их не различить. Робинзон может быть доволен. Я — что хотел, то и делаю.

Но всякий ли выдержит осведомленность? Всякий ли выдержит искушенность во всем, чего он не ведал прежде?

Я тверд, я зол, зрел и тверд, как не был в юности; и впереди — четкая цель, и я знаю больше о жизни, чем пятеро юных Боливаров, вместе взятых.

Вот в чем суть, в чем разница: я искушен, и я иду, яростно иду — туда же, куда и шел, куда и стремился в ранние годы.

В этом — мое изменение, моя зрелость.

В этом — мое призвание.

Он очнулся; перед глазами давно уже не было ни Устариса, ни дороги. Но вот опять появилась дорога — буроватая, пыльная и кремнистая.

* *
*

Солнце светило в спину; они поднимались по неширокой дороге, петлявшей и углублявшейся в горы. Теперь было видно, что до главных хребтов Кордильеры — идти да идти: один за другим вставали какие-то лысоватые, кругло-зеленые и крутые холмы, незаметные прежде, крутилась дорога, хитря с холмами и обходя их.

Боливар ни о чем не думал. В груди дремал огонь, который — он знал — проснется, взорвется и запылает, когда надо.

Под копытами мула неловко и хрустко крошились бурые скальные камешки, рябоватые в зелени порфириты, легкая пемза — вспоминались робинзоновские уроки геогностики, химии; порвут люди башмаки до гор!.. По сторонам шуршали сады, кустарники, пальмы, виднелись луга с их козами, пирамидами мощных агав, светло зеленели и лысовато круглились холмы в торжествующем утреннем солнце, бежали тревожные, рваные тени от облаков, голубело туманное небо; сделалось чуть свежей, прохладней. Стояли перед глазами облитые солнцем с востока бело-золотые и зеленые горы; лишь в темных поперечных долинах таились чернь, синева и некий озноб для души, для сердца, для глаз.

Дорога вновь повернула — влево — и забрала вдруг ввысь; мул пошел напряженнее.

— Ваша милость,— окликнул Боливара индеец, взявшийся провожать до снегов (дальше все местные проводники решительно отказываются идти).

 — Да? — повернулся Боливар.

— Скоро пойдет крутизна и плохая дорога. Узко и глина. Ваш мул не возьмет. Прикажите каргеро, он понесет вашу милость.

— Каргеро? Слышал что-то такое. Но как же? Как же он меня понесет?

— Не беспокойтесь; он — знает.

Индеец говорил таким утвердительным тоном, что как-то неловко было сопротивляться; к тому же сзади стоял огромный парень с ремнем поперек лба и плетеным креслом, видневшимся за спиной,— с готовностью во всем теле и алчным блеском в глазах.

Боливар почувствовал на минуту то вялое, масляное безволие, которое возникает под быстрым прямым нажимом со стороны и при опасности причинить кому-то неудовольствие.

— Что ж, я, пожалуй,— протянул он, чуть теребя поводья и глядя то на индейца, то на «носильщика».

Парень немедленно подскочил под мула и встал — согнутое колено вперед, ладони одна на другую в колено; во всем мускулистом теле — твердость и режущая готовность к движению.

Боливар вздохнул, остановил мула, тут же подхваченного под уздцы индейцем, слез с седла и начал топтаться перед спиной каргеро. Какой-то мальчишка тотчас же подлетел и схватил, пригибая вниз, плетеную эдакую ступеньку; Боливар, решившись, твердо шагнул, перевернулся и сел.

— Сидите твердо, мой господин. Старайтесь не шевелиться и ни в коем случае не прыгайте с кресла,— сказал через плечо каргеро и зашагал по дороге. Он шел, по-видимому, легко и свободно, с запасом; он явно гордился перед индейцем, секретарями и адъютантами, что несет президента, и думал о знатной плате.

Они продвигались; индеец шел рядом и говорил,

что в здешних краях каргеро — обычный способ передвижения, без них прекратилась бы связь провинций Восточной и Западной Кордильер, Попаяна и Боготы. Для чего он говорил это? Видимо, на лице у Боливара нет особенного воодушевления.

Дюже ходили мускулы на согнутой спине, на плечах этого малого; он пыхтел и сопел, но шел твердо и споро — надо отдать справедливость; перед глазами, спешившись, шли секретари О'Лири, Перу де ла Круа, стараясь не глядеть на сидящего в кресле, лицом к своей армии, Освободителя — друга Бонплана, поклонника Руссо и знакомца Шатобриана; Сублетте шагах в двадцати внизу взгромоздился на спину второго каргеро — пониже, покоренастей, но столь же ярого, расторопного; далее шел пешком Сантандер; далее шел авангард этой самой армии, посматривавший на Боливара — этого императора на этом наспинном плетеном, колышащемся, наклонном троне, глядящего на свои войска.

Он твердо, сурово сказал каргеро:

— Останови.

И подумал: «Кого же останови? Себя?»

Тот, впрочем, понял и встал. Боливар медленно слез. Индеец и сам «носильщик» смотрели в недоумении.

— Ты прекрасный каргеро,— сурово сказал Боливар.— Я думаю, лучший в этом районе Анд. На,— и он вынул и протянул пиастр недоуменно расцветшему парню.— Но дальше неси другого. Мне нельзя. Мое здоровье требует идти пешком. Ты прекрасный, прекрасный каргеро.

Индеец и малый глядели на президента и друг на друга в туманном недоумении.

Солнце светило, таяли рваные облака; зеленели, белели горы.

* *
*

Как-то, одиноко сидя в палатке, при свече, на шатком ящике от пороха, слушая мелкий, будто бы клейкий дробот дождя по смоленой парусине, он вдруг задумался о том, что ждет его и его сотоварищей в некоем дальнем будущем. И снова четко спросил себя: чего же они хотят от сей жизни, его офицеры, солдаты и генералы, и от кого они представительствуют в сем мире и сей войне? Промежуток тишины вдруг придвинул к абстрактным мыслям. Абстрактным ли?

Чего хочет Сантандер (независимо от их обоюдных отношений)? Чего хотят Паэс, Фернандо и остальные?

Паэс — странный человек, он много приносит пользы и обаятелен в частном общении; но почему-то легко представить его... помещиком, что ли. Помещиком, владельцем больших плантаций, властителем жизней. Он не задумываясь перережет всех «старых», родовитых помещиков; но перережет с тем, чтобы стать новым — землевладельцем иного склада, персонажем от иного слоя людей, идущего по костям исконной земельной аристократии — людей и поколений, одряхлевших с туманных времен конкисты и первой колонизации.

Сантандер — человек тонкий. Он многое сумеет, дай ему волю, силу в руки. Он развернет торговлю, он обогатится сам и даст обогатиться своим собратьям, и тихо свернет шею своим врагам. Он будет хозяйничать, он и в деревню, к пеонам сунет нос.

Фернандо хочет земли и свободы от помещика; рабы хотят свободы от рабовладельца и тоже земли.

И все они прежде всего, конечно, хотят свободы

от испанцев — от заморских людей, навязывающих местным людям свои порядки и грабящих их богатства, которые им, местным людям, все более самим потребны; и оскорбляющих их гордость, достоинство, которые возросли; и режущих, измывающихся над ними, над их детьми, стариками, женами.

Все чего-то хотят и чего-то ждут от будущего для себя лично.

А чего же хочет для себя он, Боливар?

Он в каком-то смущении подумал, потер переносицу; резко встал, двинув брякнувшей шпорой ящик, и вышел взглянуть на чистку оружия.

* *
*

Дорога была все круче, петляла все резче; делалось холодней, ветер стал заметней для тела.

Вскоре путь совершенно сузился, и стало ясно, что они поднимаются по дну поперечной долины. Слева и справа сдвинулись непривычные и суровые ветви, деревья: орешник с огромными, нездорово сочными и ворсистыми листьями, с извилисто-краплеными ветками, дубы, мелколиственный и запутанный можжевельник, древовидные и травянистые папоротники. В рассыпчатые на взгляд, рябые по цвету утесы внедрились крутыми корнями сизые в сучьях, в коре, матовые в пушистых и длинноперстых охапках зеленых игл корявые сосенки. Под ногами месилась бурая жидко-вязкая глина, густо перемешанная с белыми, бурыми острыми камешками; сучки, иголки, шипы, колючки, листья и ветки упруго, капризно цепляли тюки на боках у мулов, шуршали по гнутым веткам повозок, поддергивая и потроша полукруглые верхние остовы, шныряли по ветхой одежде идущих и приводили в негодность последние их лохмотья. Де-

лалось все темнее, тенистее, было сыро; средь бела дня и ясного утра — ясного там, в узкой прогалине наверху,— поднялись откуда-то ожившие матовые москиты и закружились между людьми; высоко в голубом небе парил то ли обыкновенный гриф, то ли кондор, вызывая невольную зависть у идущих, прикованных к тяжкой жиже.

Они подвигались, слегка примолкнув; время от времени им мешали бурливые ручейки, стекавшие по неведомым ходам гор справа и слева и растекавшиеся по узкому дну долины, меся глину с камнем; они давно уже шли навстречу всей этой мелкой воде, спешившей куда-то вниз, но не доходившей, видимо, до подошвы, рассасывавшейся под землю и в боковые руслица; но по мере восхождения число таких ручейков все росло, и они мешали все больше. Глина становилась все жиже. Вдруг спряталось солнце; это тотчас же ощутилось по тихой, нерадостной перемене во всем ущелье. Оказалось, что это незримое солнце все же влияло на тонус природы; теперь, когда его укрыло далекое облако, стало неуловимо-серо и глухо в тиши. Казалось, нависла таинственная, прозрачно-туманная капля и вся природа, все окружающее ждет, ожидает ее вытягивания, стремления, ее падения в тишь; глухо, глухо. Шаги, хрипение, скрип повозок не нарушают верхней, загадочной тишины. А небо не голубое уже. Оно какое-то забытое, полусонное, белое. Начал моросить дождь, глина обрадованно осклизла, оскалилась, поплыла. Стали натужней перебирать ногами и падать лошади, мулы, люди старались идти по бокам, у стен, держась за сучки и ветки, повозки заныли и засипели, пришлось звать людей — подпирать их, подваливать камни под обода. Раздались задавленные ругательства, крики и охи.

Ущелье было все круче, скольжение усилилось,

средь идущих и едущих слышалось лишь надрывное и парно́е дыхание, верхом уже не было никого, не животные везли людей, а люди, цепляясь за мокрые и колючие сучья кустов, деревьев, тянули за собой упирающихся лошадей и мулов.

И вот наконец — ох, слава богу — они начали выбираться на свет. Мгновенно из авангарда послышались радостные клики, и новое настроение распространилось на всю колонну; люди царапались изо всех сил, обливались потом, смешанным с каплями моросящего дождика, и спешили как очумелые вверх и вверх — спешили воочию убедиться, что существует простор, пространство и ровно-зеленые дали.

Перед ними было парамо — полуплоское место, поляна, степь, передышка в горах, продуваемая насквозь и издревле дающая пищу, прибежище землепашцам-индейцам. Их бревенчатые хижины приютились у дальнего ската гор, на той стороне неяркого полуплоскогорья; правда, вдали, ближе к хижинам, ярче зеленела какая-то полоса — видимо, то были не вызревшие к июню посевы пшеницы, маиса или ячменя; впрочем, наверно, пшеницы (судили между собою люди, стоявшие на краю плато). Маис зеленее и выше, он выделялся бы резче, сильнее; ячмень же — темнее, скромнее. Они не очень были уверены — не так хорошо разбирались во всех этих горных и северных злаках.

— Пошли.

Двинулись по широкой, не очень торной дороге, пересекавшей парамо; с боков скромно зеленела небольшая трава, в которой изредка попадались крупные, одинокие, с разлапыми лепестками и выпирающими тычинками, пестиком, малиновые, светло-фиолетовые с нежно-сиреневым ближе к пестику, еще
 реже — кроваво-красные маки. У противоположного

края парамо стояли горы, хребет, ледяные вершины — казалось, такие же равнодушные и высокие, как и в самом начале дня; моросил дождик, снеговые вершины еле виднелись, скрытые белой пеленой, скалы смутно бурели между снегов и темно-зеленого месива. Они шли, деревня все приближалась; вот уж видны и жители у домов; будем запасаться скотом, сыром, другим провиантом. Ночевка — снова в горах, там, выше, так говорит Боливар; а ловко они приютились: и поле ровное рядом, и горы — закрыли от ветра.

Заготовители-интенданты пошли в деревню, колонна же не остановилась.

— Что? Отдохнули на ровном месте? Вперед, вперед,— говорили офицеры, возвращавшиеся вдоль шествия из головы колонны: ездили за указаниями.— У кого лошади крепкие, можно верхом. Впереди неплохая дорога.

Дорога от деревушки и верно пошла неплохая: медленный серпантин вдоль и поперек пологого, чуть кустистого, лысоватого склона. У этих метисов были еще поля и пастбища выше этой террасы, а кроме того, тут где-то в горах долбили каменную соль, и о «коммуникациях» позаботились. Идущие явно повеселели, хвастливые колумбийцы, льянерос, воссевшие на оставшихся лошадей или пешие, глядели устало, но гордо; весь их вид как бы изображал самый процесс преодоления бурных, неслыханных трудностей, а это не худший вид; хуже, когда люди уже забывают о своем виде и о прочем.

Через два-три дня войско Боливара представляло собой довольно печальное зрелище. Шел дождь вперемешку со снегом, потом один снег — огромные, тяжкие, влажные хлопья,— потом крупный дождь, потом град со снегом, потом один град — матово-бе-

лые чечевичины и маслины, долбящие киверы и сомбреро, язвенно обжигающие и царапающие кожу в тех многочисленных оголениях, что торчали из-под плащей, полосатых одеял и мешков, накрученных на плечи, на бедра, на груди. Люди карабкались вверх по дороге, давно уже переставшей быть замедленным серпантином. (Они шли на перевал Писбы, наименее проходимый во все времена года, а особенно сейчас; но там наверняка не стояли разъезды испанцев; все же более или менее «ненадежные» — с их точки зрения — перевалы охраняли их батальоны.) Дорога сурово и круто шла прямо вверх. Лошади на три четверти пали, мулы были выносливее, но тоже падали один за другим; таращили оглобли брошенные повозки, исчезали из глаз засыпаемые снегом тюки; ковырялись в камнях и снеге воины в полосатых накидках, долбя скользящими и звенящими заступами негостеприимную землю; рядом лежали трупы под ветхими покрывалами, под рубашками, натянутыми на лица. Лихорадка, смешанная с сороче — болезнью высоты. Одеяла умерших были у живых. Войско шло мимо копавшихся и лежащих и не смотрело на них. Они, идущие, смотрели чуть под ноги — и исподлобья — вверх. Там ничего не было видно в серой пелене, но они смотрели. Из углов губ сочилась кровь — кровоточили десны; люди шатались, и время от времени кто-нибудь начинал так кружить из стороны в сторону, что не мог идти в тесной толпе, и его подхватывали под руки: сороче, проклятая болезнь высоты, туманила голову. То и дело из рядов выходили в сторону люди: болезнь железными тисками сдавливала желудок, перехватывала дыхание и пищевод, тянула на надрывающую и пустую, слизистую тошноту без облегчения, тянула — и выворачивала вновь и вновь, и начинала сначала, сначала, сначала, когда

уж выворачивать было нечего; сквозь залепленные, слезящиеся глаза казалось: собственные желудок, горло, гортань, пищевод, собственные кишки мотаются пред тобой, впереди, у тебя под ногами; но нет, вновь и вновь перехватывало дыхание, исчезали легкие, горло, нос, становилось нечем, физически нечем дышать, и вновь, вновь и вновь железными, медными, купоросно-заржавленными щипцами сжимало желудок, и яростно и безмолвно рвались пред глазами расплавленно-белые бомбы. И будто сквозь сон — сквозь боль, сквозь забвение — двигались, плыли, переставлялись ноги под животом. Весь ты — отсутствие дыхания и болевой живот, и ноги под животом. Ноги, ноги.

Высокие горы Анды. Поля их — пшеница, маис — их пастбища выше Монблана и Этны в далеких далях Европы.

Здоровый метис отделился от общей толпы и пошел, побежал в сторону, в скалы; его тряпье, его нежно-красная кожа ужасно и нереально вдруг оттенили замятую белизну снега. Идущие с трудом поворачивали головы, следили за ним; он начал выделывать телодвижения, представлявшие причудливую смесь далекого южного ритуального танца кечуа с непристойными жестами. Сам танец включал момент непристойности, но длинный, весь ломкий, босой метис как-то отделил одно от другого и усилил все порознь, он то «бросался» к небу, выделывал самые возвышенные и экстатически высшие, лучшие жесты — призывы к богу, к богам, то вдруг весь поникал и начинал такое, что даже видавшие виды с угрюмым смешком отворачивались и переглядывались. Неясно, чего ему было надо. Вдруг он методично и деловито, размеренно-истерически завизжал, заверещал, как ударенный по лбу конь или раненный ястребом заяц-

агути, упал на колени, потом покатился по снегу, при этом стараясь поймать, ухватить свою пятку; он повернулся спиною вверх и начал ртом вбирать в себя снег.

— Свяжите его. Он поддался сороче. Это бывает,— хмуро сказал офицер, отворачиваясь и проходя вверх.

Трое пошли, отодрали его от снега; на месте его лица на снегу остались кровавые пятна в форме зубов, носа и губ, но сильно увеличенные в размерах. Его связали, понесли.

— Верно ли мы идем? проводника давно нет.

— Дорога прямая. Правда, куда-то она ведет?

— То-то и оно.

— Нет. Нет. Надо идти.

— Ты прав. Будем думать — погибнем совсем.

Время от времени проходили люди, сжимавшие голову; сороче ударила в уши; другие шли, направляемые соседями, щуря глаза: они ослепли; у всех кровоточили десны, рты были неестественно алы, как у вурдалаков, губы разомкнуты, на снегу оставались кровавые плевки; на некоторых лицах — позеленевших и пожелтевших — были зловещие следы будущей лихорадки, уже скосившей десятки человек.

Хуже всего приходилось, когда скалы с той или другой стороны отступали и открывалась пропасть; люди — ослепленные снегом и горной болезнью и изнемогшие — падали и катились, и долго их душераздирающие крики, бередя сердца оставшимся сверху, летели из снеговых и туманных недр: склоны пропастей были тут не отвесные, люди не расшибались тут же, но и не могли зацепиться — вокруг был голый и скользкий, и равнодушно-покатый наст, и больше ничего — ни скалы, ни кустика; и они катились, живые, приговоренные к смерти и оглашающие пустое,



глухое пространство животными криками. Лучше бы сразу — смерть.

Двигаться вверх становилось все невозможней. Как заколдованные, шли люди; кое-кто умудрялся еще тащить в поводу коня или мула, кое-где еще виднелись упряжки, но большинство бросало все грузы, и только оружие было при них. Люди передвигали ноги, и все их силы были лишь в этом: нога, колено, упереть руками, нога, нога, еще раз нога. Человек шел, и все его существо было лишь в этом: нога, нога. Больше ничего не было у него в душе. Он знал: главное — сохранить этот ритм, сохранить этот тихий, ужасный, последний ритм: шаг, шаг. Стоит только перебить, прекратить, чем-то перехватить этот шаг — и конец. Пот и слезы хлынут в пятьсот ручьев, остановится сердце, кровь взорвет, перервет жилы, исчезнут унылые, скудные, нереальные остатки дыхания — и все. И конец, конец. Шаг, шаг. Шаг. Нога, еще нога. Выше. Выше.

Боливар был из немногих, кто еще ехал верхом; его рыжий мул возникал из снега, из града, из пелены и тумана то в авангарде, то сбоку войска — уныло чернел его наглухо зашпиленный плащ,— и слышался голос, охрипший тенор:

— Ребята! Шаг! Шаг! Шаг! Вы помните Магдалену? Э, есть такие? Ведь ты, Бернардо? Ты помнишь? А между прочим, она там. За этим хребтом. Мы еще увидим ее, но не раньше, чем мы войдем в Боготу и кончим всю эту слякоть.

Бернардо мрачно кивал, люди молчали и шли, шли; но Боливар, говоря свои неумелые слова, чувствовал, что они все же слушают их и, хотя и видят их бедность, нелепость в этом труде, и поте, и крови, и белом и красном месиве, в этом крутом, гангренозном и сиплом скрипе подошв и редких колес, и копыт

по снегу, по льдинкам и камешкам, в этом надорванном, лихорадочном и почти предсмертном дыхании тысяч и тысяч глоток, и легких, и ртов,— хотя видят это, но все же слушают и все же светлеют душой. Сквозь собственные тошноту, головокружение и усталость он чувствовал жалость к этим людям, и понимание, что они идут не ради него, и стальное по резкости, пронзительное в этот миг сознание, что они идут даже и не ради земли и отмены рабства, которые им обещаны — даже не ради этого (хотя думают, что и ради него, и ради всего вот этого), а ради чего-то еще более могучего, грозного и высокого.

Он провожал их глазами, и ехал вперед, и вновь отставал.

И вот очередное седло, в двадцатитысячный раз принятое за кризис, за перекат горы,— оказалось не новым обманом, как прошлые девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять раз, а настоящим седлом.

Без особых воплей восторга они вышли на новое, еще более тихое, голое и пустое, чем то — внизу — парамо, поотряхнулись, поотдышались, поогляделись и сквозь редеющую сумятицу снега и мелкой измороси, дождя и мги увидели новый суровый хребет в отдалении — черный и ледяной. Ледяной — отливающий зеленью и свинцом в свете тусклого неба: не белый, не снеговой.

Три серокрылых, черноголовых и черногрудых кондора тяжело, молчаливо кружились над войском.

— Там, у подножия, будет привал, после — привал там, вверху, на самом перевале.

Притихшие каракасцы, techo, мединцы, индейцы, французы, русские, англичане, льянерос, еще задавленно, тяжко дыша, невольно переводили взгляды с высоких,
 и равнодушных, и мглистых льдов на чернеющую фи-

гурку на рыжем муле, метавшуюся вдоль войска, но ничего не говорили и отводили глаза.

Туда, к их подножию и привалу, а после — ввысь.

* *
*

Он, заложив руки за полы шерстяной полосатой накидки, надетой поверх плаща, ходил в окрестностях своего жилища на одну ночь, смотрел, слушал, думал. О чем? Он знал, но не мог бы сказать словами; был в груди какой-то ком и тайный огонь, а более — ничего. Он знал, что все это — готовность к тому, что еще предстоит, но не мог бы сейчас аналитически осмыслить ее. После, после сможет.

Он ходил, время от времени попадая крупным полупрыжком — звенели подковки и шпоры — с примороженной, льдисто-шершавой каменной глыбы на следующую, другую глыбу, слегка проваливаясь в сахаристо-сыпучий снег или, наоборот, нащупывая твердой подошвой мелкую песчаниковую россыпь. Было темно, потусторонне маячили, расплывались в синеющем мареве снеговые пятна, светлея в сгущенной и ровной черни: снег тут лежал островами. Дул неприятный, визгливый ветер.

Он живо вспомнил жуткое шествие по обледеневшим камням вверх, вверх — и тот ветер, обнаглевший, полный морозной пыли, и горькое безмолвное бдение одичалых людей и животных, и мглу, и близящуюся белую темень, и переход по камням, перегородившим пропасть, и крики людей, медленно скатывающихся по голым и гладким глыбам туда, в темь, и взгляды оставшихся сверху, и зыбкий, нереальный канатный мост, бог знает кем — какими индейцами или тенями мирных, таинственных, южных инков, века назад ушедших от суетных плоскогорий к туманным вер-

шинам, на небеса, растворившихся в небе и в снеге,— тут возведенный меж двух полуотвесных каменных стен в насмешку равнинным людям — льянерос — и горожанам; и трепет под ногами переплетенных лиан, будто на крыльях кондоров принесенных снизу, и качка, и колебания, и скрип моста — огромного гамака, растянутого меж двумя почти отвесными стенами; и провисание в середине, и трепет зыбких канатов-лиан, протянутых вместо перил, и тьма и туман под ногами средь жидких и нежных лиан, и падение мулов, людей и повозок в пропасть — их дикие, удаляющиеся в тумане крики,— и затхлое замирание сердца на том конце, у самой стены, когда требуется идти чуть вверх — провисший гамак! — и освобождение сердца на твердой почве, и шествие, и скольжение по обледенелым камням, и льды. Что ж, было. Все позади.

Это позади; но иное — еще впереди.

Он вглядеся в пустынный, казалось бы, молчаливый лагерь, приютившийся под защитой хребта, седловины, зубцов и скал — с этой, с испанской стороны горной цепи. Пройден перевал Писбы, и нельзя разжигать костры, иначе весь этот долгий поход теряет свой первый смысл: огни с перевала будут видны до Боготы. Укутавшись в одеяла и шкуры, скорчившись и прижавшись друг к другу, сидят и лежат, отдыхают солдаты, воины у края невидимого парамо; их не слышно, лишь там, туазах[1] в пятидесяти, надрывается криком единственный человек: рожает жена солдата, добравшаяся до поднебесья по ледяным тропинкам. Что ж, природа. Сколько мужчин не дошло до этого перевала! Он походил, попрыгал по камням, полез назад к своему чернеющему жилищу.

[1] Туаз — около двух метров.

Неожиданно в серебристом огне засиял перед взором мерцающий, явственный женский облик; в нем не было определенности и подробности, однако он был волнующ и трогателен.

В минуты тьмы, сиротливости, испытания и особой тревоги этот образ являлся особенно чутко, хотя присутствовал в буднях сердца всегда; то была не Мария и не иная живущая, жившая женщина; то была некая, та, которую помнит он с детства и так и не видел в реальной утренней жизни. Она была почему-то жгуче, иссиня-темноволоса, ясно блестели ее глаза и кожа, дрожали темнеющие ресницы. И ныне она явилась на миг слепяще и ясно — и вновь невидимо отступила в сумерки. Он позвал ее взором, душой — но уж она не вышла, не выступила на свет, хотя и б ы л а, смотрела в душе незримо.

Он подошел; могильно глянуло из скалы идеально черное, как тихое жерло ада, отверстие этой каменной хижины, будто бы приготовленной темными силами ночи, чтобы замуровать в себе все живое. Что это? Что за дом? никто не знал этого; кого приютила пред смертью могущественная, нагая скала? что за ужас скрывается в этой хижине, в этой пещере? никто не знал; только ветер загадочно воет у входа, только садятся на кожу лица́, на пончо, на плащ замученные соломины, мушки и травки, взнесенные снизу, из благостных, ярких, зеленых и желтых долин и рощ в этот незримый водоворот стихий, первое и голое парамо под седловиной. Он знает это: в горах, среди вечных снегов и льдов, вдруг увидишь трупик распластанной белой иль желтой бабочки, плавно влекомый силой воздушных токов, травину, соломину, москитов и мошек, поднятых из долин. Таковы законы высокого воздуха в этих горах: снизу — наискось вверх. В чем дело? Влияет ли тут далекий пассат

с Великого океана? Иль дело в самих парамо, в самих ледяных вершинах? И почему вот здесь, у входа в это темнеющее, ледяное жилище, особенно сильны все эти потоки, сны, завихрения, этот шелест мертвых соломинок с дальнего плоскогорья? кто знает, кто знает...

Быть может, маги и колдуны, далекие чародеи инки, дети Тупак Юпанки, потомки светлого Солнца, нашли в этом каменном доме последний приют, гонимые новым, самоуверенным и жестоким колдовством пушек и чарами пороха, блеском сабель и солнцем взрывов? Дремуча и далека их суровая родина, Мачу-Пикчу, но долог век рода людского, долог век гонимого племени, и неведомы бдения и пути его. Быть может, одинокий отшельник окончил дни близ спящих древним алмазом вершин? Кто знает... Лишь череп — выветренный, старинный — в гранитном доме-пещере, сыром и одетом камнем по стенам, с полу и с потолка; и нет даже других костей. Нет.

Он наклонился, нырнул как в разверстую собственную могилу в сырую, промозглую, в зияющую черноту и нащупал на поясе трут; прошел через своеобразные сени в «комнату» — шагнул через каменный выступ-порог — высек искру. На каменной плоской глыбе — столе сурово и тускло блеснул железом и стеклами умный прибор — секстант Рамсдена. Он ощутил в руке остылый, враждебный металл; тем не менее прикосновение к филигранным деталям, винтикам неуловимо остудило душу от снов, вернуло ее сознанию и делу.

Какой он странный, несовершенный, какое он вязкое существо при всей его маниакальности, воле. Он деловит и крепок, и он... он... как это называется? Как зовут они? Р о м а н т и з м. Новое поветрие в гулкой Европе. Как далеко, далеко. Романтизм: «роман»,

романская раса. Таинственность, буря, и сила духа, и поиск... Что он за человек?

...Ужасающий вопль летевшего в пропасть там, на мосту... Романтизм?

Он остановился с секстантом в руках, задумчиво гладя эмалевый металл. Он не мог определить свою мысль; собственно, ее и не было, была лишь тревога, не связанная с тревогой грядущего боя, возможной смерти. Другая тревога, но он не знал ее сути. Но как же промозгло, зябко. Безмолвно, темно вокруг и темно в душе, и сырое, тяжелое дыхание камня.

Он все стоял и стоял, глядя в сырую темноту жилища, почти физически чувствуя гул шумливого мира у ног своих, у этой черной бездны, этой небесной могилы, не в силах выйти (чтоб попытаться в полуреальной синеве, белизне этой ночи определить перепад склона, с которого им спускаться завтра).

Под маленьким окном, обнаруживавшим большую толщу стены и уныло мерцавшим в изломе камня на полувнятный небесный свет, заскрипели по льдинкам и по камням шаги; приближались его часовые, ходившие, чтоб согреться, туда-сюда и, видимо, даже не заметившие, как он проник в черную дверь. Фернандо вещал:

— Опоссум был хитрый, хитрей человека, он напустил на его дочерей змея. Прошло два месяца, живот младшей дочери начал пухнуть.— Отчего пухнет твой живот? — спросил ее человек.— Я не знаю,— сказала дочь.— Мне во сне приснилось, что в меня вползал змей, и с тех пор он пухнет. Еще через несколько месяцев она родила кучу мелких змеенышей. Перед этим она долго не могла разродиться. Ее мазали красным соком уруку, давали глодать шипы волшебного кактуса...

Унылость и ледяное дыхание ночи, таинственная

тревога, чернь, синева, и снег, и загробный ветер, и льды, и сырость, и череп неведомого страдальца где-то под сапогом, и неверный свет, и манящая белизна, чернота из окна и пред мысленным взором, и вопли оставшихся в гиблой жиже и падающих в безмолвную пропасть пред мысленным слухом, и эта гиблая, дикая сказка, этот Фернандо.

— Эй, замолчи! Останови свое идиотство, слышишь! Ну что за идиот! — завопил Освободитель Боливар, выскакивая из черной пасти жилища, как из разверстой могилы.— Ну что за болтун, я не знаю!

Последние слова он произнес тоном ниже, ибо увидел, что само его появление произвело на солдат вполне подавляющее впечатление: они шарахнулись, грохнув ружьями о ближайшие глыбы, и, остановившись, согнувшись и дрожа, благоговейно и в страхе слушали ругань рассерженного господа бога сеньора Боливара, возникшего из черного небытия. «Мне — не стыдно? они сторожат меня. Руссо и Шатобриан... вояка... равенство, братство»,— спокойно и обыденно прошло в голове; о темной промозглости не было и помина в сердце. Он помычал смущенно и пробормотал еще ниже тоном:

— Ну разве так можно, Фернандо? Ведь ты надоел со своими сказками. Тут и так темно, ночь, люди устали, а ты еще болтаешь глупости: змей, опоссум, понародила змеенышей. Разве так можно?

Фернандо молчал, и Боливар себя почувствовал вовсе неловко. «Сын Просвещения, черт побери! В сущности я, выходит, невежественней его?»

— Послушай, Фернандо,— уже почти заискивающе заговорил Боливар.— И где ты набрался этих сказаний?

— От бабки по отцу, Освободитель,— как-то недоверчиво (неужели Боливар спрашивает об этом?)

сказал Фернандо.— Она ведь знала сказания чуть не всех индейских племен Америки. Я их перепутал, эти их байки. А уж откуда о н а их знала, бог ее знает,— развел руками (в одной ружье) Фернандо.— Бог весть,— добавил он, снова кутаясь в одеяло и тоже несколько заискивающе глядя на генерала. Боливару снова стало неловко. И все-таки он не удержался и выразил свое подлинное мнение:

— У тебя нет таланта рассказчика, знаешь, Фернандо. Сказки эти — из дикости и невежества, а ты еще не умеешь рассказывать. Впрочем, дело не в самой дикости, а в том, к т о записывает, рассказывает. Думаю, народ сам по себе не может быть туп и дик, а просто — не нашлось человека, да.

В лице Боливара были смущение, чуткость и нежелание обидеть, и одновременная искренность, неспособность соврать, и сомнение, раздражение, работа мысли — нежелание обидеть не только Фернандо, но сам народ, о котором он, видимо, думал в последние сроки немало неприятного, горького и, однако, хотел верить в него. И властность, и снова эти смущение, искренность, вера — все было в этом открытом, как поле, подвижном и тонком лице.

И Фернандо сказал:

— Вы здорово правы, Освободитель. Сказочник я никудышный. Да только охота...

Он прикоснулся ладонью к щеке.

— Охота мне.

— Я понимаю тебя, Фернандо,— искренне и в то же время несколько приосанившись (увидел, что тот не обиделся), отвечал Боливар.— Я понимаю. Да рассказывай себе на здоровье. Кому от этого вред,— вдруг сказал он с оттенком усталости, улыбнулся несколько картинно — но и это понравилось испанскому сердцу Фернандо! — потрепал его по обледе-

полому, холодно-ворсистому одеялу в том месте, где прощупывалось предплечье,— и вновь нырнул в свой могильный зев: наконец за секстантом.

Фернандо и тот, другой, помолчали.

— А все же хорош у нас командир,— убежденно-спокойно, задумчиво выговорил Фернандо.

— Это да.

— Пабло... это...

— Пабло в пропасти.

— Н-да.

— Н-да. Н-да.

— А тогда — хорошо он насчет Боливара.

— Хорошо.

— Царство небесное.

— Царство небесное, хотя бога, может, и нет.

— Да нет, есть, только не такой, как мы думаем.

— Это да, это так. А так — кто его знает. Никто этого не знает.

— Ну да. А как шли вчера — у меня одна щека, усина, одна сторона одеяла — во льду, в инее, а другая ничего.

— Да это у всех так было. Ветер такой.

— У всех ?

— Ну да.

— А я и не видел.

— Не мудрено. Не до того.

Боливар вышел, неопределенно кивнув часовым, пошел в темноту.

Он спустился на три-четыре десятка туазов и только начал вертеть прибор, как услышал какое-то шевеление перед черным кустиком. Он насторожился: последние солдаты, молча привалившиеся к черным глыбам с подветренной стороны, остались сзади; а тут был кто-то другой.

 Он, обнажив мачете, чуть подступил к кусту —

и в безмолвном, задавленном, синем сиянии, полублеске и полутьме увидел отделившуюся от куста и попавшую в муторный полусвет открытого неба жалкую морду мистического, полуреального горного зверя — очкового медведя. Он вышел снизу, из непролазных и черных чащ, чтобы поживиться у смутного лагеря. Убогий и равнодушный посланец, «дух» этих гор... Его темная шерсть, его мертвецкие светлые кольца — круги у глаз, блесткие точки-глаза, вся его испуганная, широкая морда глядели пасмурно и уныло; он раскрыл пасть, высунул черный язык и, неуклюже оглядываясь через плечо, потрусил вниз и скрылся в белесом и синем дыме, во тьме.

Боливару стало вдруг неестественно грустно на сердце; он силился и не мог понять, в чем тут дело. «Хочу уйти сердцем — и вот не дают, не дают»,— капризно, по-детски раздраженно подумал он — и при этих мысленных словах «не дают, не дают» представил лишь убегающего, уходящего вниз этого медведя — голодного, жалкого, так и не дошедшего до еды.

Ах ты, господи.

* *
*

Утром он встал невыразимо бодрый и свежий, будто принявший душистую ванну иль побывавший в густо-синем море; он сделал два-три движения руками — вверх, в стороны,— поплясал, присев, на носках на циновке, подложенной денщиком Родриго, оделся и вышел из хижины.

У него па миг морозно и бодро остановилось дыхание — такое великолепие было вокруг; не было и следа тьмы и хмари, не было и следа сомнения, боли, хандры, охвативших вчера природу и с нею — усталую душу. Все было иначе.

Как ни в чем не бывало — как будто не было холода, тьмы, промозглости — голубело чистое небо; солнца — самого — было не видно, но оно ослепительной желтизной заливало серо-бледно-зеленое небольшое парамо, лежавшее прямо перед глазами и обрывавшееся в пропасть там, в полулье отсюда; прекраснейшей дымкой оттуда — из той слегка отдалённой пропасти — поднимался таинственный, ярко-синий и белый воздух, синеюще зеленела гора вдали, и сама эта густо-курящаяся, невидимая отсюда пропасть казалась загадочной и незримо-прекрасной; белели по сторонам чуть розовеющие, нежно-туманные и дымливые снежные выси пиков, чуть влево — там, внизу, где он встретил медведя,— виднелся пологий спуск в ту долину, в которую как бы впадала и пропасть; там, на пути, еще небольшая гряда холмо́в, а в отдалении — таинственно-синее, кобальтово-синее, как густая синька, прекрасное горное озеро. Ну а тут — залитое светлым, слепящим, многообильным и полным солнцем парамо над спадом, и зелень дальше, и небо, и эта тень от заднего, от пройденного этого склона, и серые, и зеленые, и бордовые гладкие и зубристые камни, и подтаявшие снег и лед, и тишь, и свежий, холодный, но не знобящий — солнечно-утренний — воздух, и бодрость, и свежесть, и свет в лучезарной, розовой, утренней свет-душе.

Он все предвидит и знает заранее.

Спите спокойно, приникнув к своим камням, мои утомленные воины.

Я знаю, я вижу.

Огонь и воля в душе.

Вниз было, конечно, полегче. Выспались у этой горы. Правда, холодно, все продрогли — костров не жгли. Наутро погода хорошая, поели, пошли. Когда спустились с того парамо на нижнее, смотрим — деревня: дома, стадо скота, сосновый лес. Тамошние индейцы сначала перепугались, попрятались — как вымерло. Мы уж думали, не засада ли? Повзвели курки, вынули сабли, ножи. Кондор сидит, развел крылья — дьявол такой, серые крылья, шея голая, морщинистая, кровавая — трудится над человеческим трупом; взлетел. Мы настороже. Но нет: смотрим, появляются. В шкурах, морды здоровые и широкие. Поняли, кто мы такие, радуются, пританцовывают, хохочут по-своему. Испанцы их допекли: людей, детей перерезали много, полстада угнали. Поэтому нам рады. Сами надавали тасахо — пересоленное оно у них, ну их к черту,— пшеничной муки, ячменя, горных орехов и своей чичи. Ничего, мутная такая, желтеющая, но пробирает. Жрем тасахо — тонкие ломти, светятся — запиваем этой самой. Пообнимались мы, потоптались, проводили они нас за свой забор: бревно сверху, бревно снизу, прибиты к кольям. Хорошая древесина — эти сосны: смоленая. Лошадей у них сколько-то взяли, они ничего. Пошли дальше — все вниз. Лужайки, поляны, розовые цветы. Я все тащу своего Солового за узду: не буду я, думаю, маять лошадь до самого низу. Он уж и так: перешел через эти самые Анды, через разные эти скалы и подвесные мосты, через лед, через черт-те что. Молодец, добрый конь. Почти все мулы, лошади там остались, он ничего. Берегу его дальше, идем все вниз, вниз, я впереди, он за мной. Вниз идти — конечно, не вверх, сначала мы очень уж были рады.

А после опять надоело: в коленях такое дрожание, жилы натянуты, ноги как костяные. Тоже не мед. Я иду, Соловый за мной, упирается всеми четырьмя, только сопит. Оглянешься — глядит на тебя. Желтый, весь в грязных пятнах: дались ему эти дни. И помыть-почистить негде и некогда. Добрый конь, жилы хорошие. Мы идем, дорога в камнях, а кругом эти — бурые такие, изломанные — горы; долины, леса. Дубов больше стало, меньше сосен, кое-где — здоровые кактусы. И ветки свисают, мелкие блестящие листики. Озеро во впадине, и смотрю — болотный кипарис. Это уж наше. Мы идем — все как обглоданные. Тощие, заросли́, лица зеленые, царапины, глаза как у бешеных собак. Идем. Ну, правда, чем ниже, тем оно крепче. Сначала брели, прямо как с того света, глядеть тошно, не узнавали один другого. А после ничего — во-первых, наелись, во-вторых, этой чичи хлебнули, да и места пошли не те. Парамо побольше, позеленее — напомнили наши степи — деревья густые, кусты. Вспомнили опять — мы льянерос. Я говорю мальчишке, сыну шурина, Хименеса: «Как оно?» «Лучше»,— говорит дьяволенок и шляпу на лоб, эдак руку в бок. Ну, думаю, ладно. Это дело. Едем, идем, дорога пошире. Догоняют нас те, что отстали,— очухались; кое-где местные индейцы пристали к нашим колоннам: все больше людей. Сел я на Солового (я уж так и зову теперь этого трехлетка). Ничего, везет, даже ему понравилось: видит, все как обычно, я верхом, значит теперь жить можно. Дорога пошире, горы вроде бы раздались, вот-вот повстречаем испанцев. Посмотрел на других: морды хмурые, дикие и ужасные, все, видно, начали думать о бое. Там, наверху, мы были заняты другим делом, теперь же — бой. Бой. Идем, едем, я достаю свой самый крепкий мачете, закрепляю на палке. Чтобы все как

надо. Ружье зарядил как надо. Старая развалина, мое ружье, кольца расходятся, на полке винты вот-вот разлетятся. Да что там, все лучше, чем ничего. Едем, помалкиваем. Вот видим: внизу новое, большое парамо, а там — испанцы. Ждут. Уж видно издалека: синее, красное. Пушки у них. А мы особенно и не скрываемся: едем, молчим. Боливар опять поехал вперед.

Боливар — сто́ящий человек. Повезло мне в жизни, больше не увижу такого. Мантуанец, образованный человек, все знает, а хороший. Хороший человек и сам по себе, и от образованности, от ума. Я не думал, что человек от ума, от знания может быть хорошим, не таким, как мы, живодеры, кровопийцы. Конечно, он тоже человек, а не святой Фома, но вот смотрю я на него, и вижу — чего-то без него не было. Не было чего-то во мне, а теперь есть. Бовес — он, конечно, был поядренее, но он — шакал. А этот — нет. Одно слово — великий человек, большой человек. Чего-то он знает — никто такого не знает. Поехал вперед, убьют — а что же? могут и убить. Но уж ему подругому нельзя.

Спускаемся мы с этой последней горы. Дорога широкая, прямо выворачиваемся и рассыпаемся, рассыпаемся. Испанцы, они и рады бы перехватить прямо дорогу, да знают: тут, в лесу, на этом склоне, много дорог, подойдешь слишком близко к лесу, к склону — спустятся по другим дорогам и грянут в тылы. А мы так и сделали: спускались по многим дорогам. Но и они не подошли близко к лесу, к склону. Знают, спускаемся, а не подошли. Видно, думали, уж очень нас много, мол, со всего хребта посыплемся, а нас и не так много. Ну, нам-то самим нет дела, много нас или мало. Только спустились мы на ровное место — пики вперед, и все. Рассыпались

мы толпой, поглядели эдак один на другого — ну, чистые дьяволы, все тощие, жилистые, заросли до глаз, глаза как у бешеных псов, только белки перекатываются под солнцем, на мордах злоба, зубы скрипят — хорошо. Молчим, пики вперед, подождали немного задних, а после думаем — чего ждать? пошел! Офицер чего-то командует, ударили барабаны, ну, мы не слушаем, сами знаем. Я скачу на своем Соловом — он ничего, резвый, хоть и устал,— пика вперед, рядом, справа, мальчишка, сын шурина Хименеса, тоже туда же — вровень со мной. Ну, посмотрел на него — ничего, неплохо, надо будет отцу сказать. Вот и испанцы. Многие бросают эти свои пушки и ружья — сразу бегут. Оно и верно: вид у нас, когда подъезжали, был ужасный. Пехота там где-то сзади, а мы впереди — мы первые вышли на их позиции — а каков вид! Молчим, не стреляем, скачем плотно, пики вперед, морды заросшие, на руках, на ногах кровавое тряпье или вовсе ничего, морды смотрят так — во сне не дай боже присниться, кони жилистые, кровавые, храпят — сразу после гор,— белки навыкате, пена. Кровавые тряпки, пики и морды что у людей, что у лошадей — как в самом аду, и молчим. Да. Ну, они бросают свои палки для пушек, ружья, сразу бегут. Без выстрелов. Упал их флаг. Но некоторые остались, дураки. Льянерос идут в бой! Кто может противостоять этому? Нет, остались кое-кто. Ну, я выбрал себе — скачу. Обогнал Боливара. По военным правилам ему бы сзади, а он впереди. Связался с каким-то капитаном, что ли. Ну, пусть сам отбивается, он мужчина тоже, один на один. Тем более он на коне (мула сменил), а тот пеший. Остались позади. Скачу — выбрал пушку. Там прислуги никого, по несколько офицеров, синие с золотом, сволочи. Один берет снизу откуда-то пистолет, бах — в меня. Мимо. Дурак, с та-

кого расстояния заряд тратить! Смотрю, берет ружье, приложился, вижу, рука трясется. Шагов за сотню, а видно! Уж эти стрелки! Дрожит — не берись, беги или там спрячься! Если бежишь, все равно догоним. Нет, целится, руки дрожат — честь! Испания! Бах — мимо! Я скачу, посмотрел на сынка шурина Хименеса, он на меня — улыбаемся! Поняли! Эх, вояки! Смотрю, опять он берет пистолет, что за черт! Сколько их там у него! Видно, все разбежались, осталось чужое оружие! Совсем близко, рука у него ходит, бах! Опять мимо, один дым! И дым-то ветер сразу уносит. Ну, правда, скулу у самой шеи он мне ободрал, да разве это стрельба. Я хлоп его на пику, он захлебнулся, я выдернул, поехал дальше. А тут, как первого убил, и пошло! Правда, одного я объехал: лежит, молодой, руки выставил, как от мячика, вопит как резаный. Тут я вспомнил Боливара, вспомнил, как он говорил: «Чтобы никаких бесчинств», и не стал. Что от него толку. Правда, на поле боя — какое же это бесчинство, да ну его к богу в царство — пусть другие добивают, если хотят. Но это было потом, в конце. А сразу после того покрошил я человек восемь — десять. Пока сын шурина Хименеса там возился с теми, с друзьями того — все они побросали оружие, как увидели, что тот три раза промазал (кричат, визжат от страху, кто-то орет обо мне: «Сам дьявол! Сам дьявол!»),— не знаю, чего он там с ними, наверно, всех порубил, поколол; я поскакал вперед и сразу имел еще несколько схваток. Я не люблю возиться с безоружными, с пленными: драка есть драка, без всяких обманов. Не можешь — не берись, отойди — только ты не мужчина, а собака — и не мешай другим. Ну, еду, бои у меня настоящие. Правда, бывает, что дерется, дерется, а после завизжит и бежать, или бросает оружие. Ну, тех я добивал. Не люблю таких.

Опрокинули мы их, как корыто с помоями; они-то думали, мы усталые, и оно так и было, но только это-то нам тоже и помогло. Я не знаю, как тут сказать. Бог не дал мне своего ума, поэтому я рассказываю чужие сказки. Как увидели они наши рожи, наших коней и мулов. Тут и сам Люцифер, прости меня грешного, ужаснется.

Погнали мы их, погнали, рубили, рубили, пехота нам помогла — прикрыла тылы, нас, всадников, и было-то горсти три,— и уж уничтожили так, что небу жарко.

Правда, ребята потом сказали, в других местах было иначе. Там, ближе к Пантано-де-Варгас, в этих болотах и кипарисах, испанцы здорово потеснили нас. Боливар послал туда нашего, льянеро, полковника Рондона с отрядом. Он сам был убит, но дело спасли.

Волонтеры эти самые, не люблю я их, но ничего не скажешь — были хороши, сам видел. Я видел, как этот англичанин Рук размахивал своей культяпкой, своей отчекрыженной, мертвой рукой и кричал: «За родную землю!» Это значит, за нашу.

Были еще сражения, особенно крепкое — у реки Бояки. Резали молчком, без криков и выстрелов.

Скоро нас принимала столица Новой Гранады, а теперь Великой Колумбии — Богота. В августе это было. Ровно два с половиной месяца прошло, как мы выступили в поход. Боливар был впереди, его забросали цветами, грохали оркестры, палили пушки, встречали красные, розовые, голубые девицы, на всех балконах орали, ловили наши сомбреро, и шляпы, и кивера — испанцы уж больно всех допекли,— и засыпали этими лентами и этими бумажками. Улица узкая, прямо от балкона до балкона напротив все небо в цветах, в бисере и в бумажках. И проехали мы на главную площадь к собору: там Боливар и все

они говорили речи. Хорошо было. Уж и веселились мы.

До самой моей смерти я буду помнить эту воду, и горы, снег, лед, и Боливара впереди, и эту победу, и праздник, и англичан, и русских, и немцев, и Боготу. Небо, земля и вода были против нас, но мы победили.

Я верю, Боливар и все другие дадут нам свободу, кусок земли... и что-то еще, еще.

Я, Фернандо, верю и говорю.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1

Боливар, вернувшись от Текендамы, снова прохаживался перед своей белостенной хижиной. В груди была некая затхлость, тишь, пустота и зияние, под мышками, меж грудными мускулами и на лбу проступил особенный, тепленький пот, где-то во тьме усталого тела рождался кашель: болезнь... болезнь. Не прежние годы. Все так же — упругие, злые хрящи и кости — и все не так. Когда и откуда она вошла в пего? он пе знал — не заметил момента,— но мог бы сказать одно: она пришла, вошла, зародилась когда-то, когда и следовало, и полагалось ее ожидать.

Он ходил перед домом и думал об этой своей болезни — нежданной, негаданной, пришедшей пе с поля боя, не от врага и не от похода, а изнутри, из потемок его существа — но душа, будто та океанская рыба, как бы обволакивала собою и переваривала другое. Она бросила эту кость — болезнь — мыслям, чтобы самой спокойно заняться иным — всем тем, чем гремели и ныли прошедшие годы.

Бывали минуты и дпи, когда болезпь безраздельно и властно брала в себя все его мысли, всю его душу, и ни о чем другом он не мог ни думать, пи за-

ботиться; это были дни и минуты животности, слабости и бессилия.

Но сегодня он был — Боливар, Боливар во всем значении этого слова; и сегодня его, его душу и главные мысли, мучило совершенно иное.

В своих воспоминаниях, в отрывочных фактах и мыслях, поступках, ныне соединяемых в единую цепь, суровых и успокоенных временем, отчужденных от свежей, горячей жизни и быта и лихорадки, он постепенно улавливал не то, что было в них раньше, что было в них лишь по делу и по названию. Не то, что видели в них его соплеменники и соратники и враги — независимо от того, превозносили они его, клеветали, холопствовали перед ним или держались с достоинством; не то, что видел в них долгие годы он сам или даже Мануэлита, «главная» его женщина. Иное, иное. Оно неустранимо, как сок из дерева под огнем, проступало сквозь голое дело, и жизнь, и факты, и обычную, примелькавшуюся оценку всего такого. Оно проступало, сочилось, капельно и кристально светлело на чистом и ровном пламени, оно было все четче.

Давно он чувствовал эту тревогу, и ныне душа открыла и облекла собою, и обрела ее специально, крепко, особо.

Великая Богота, столица Великой Колумбии, вот ты белеешь, темнеешь, синеешь вдали на склонах, во впадине и кругом. Вот она ты, которая и в тот раз, как и ранее и позднее, приветствовала Освободителя, победителя испанцев Боливара, ставленника свободы. Великая Богота. Как обычно, белеют твои домишки, синеют и зеленеют твои привычные горы, курится, грохочет твоя Текендама, кристально синеет на севере круглое, как монета, озеро Гуатавита. Так что же?

Он механически всматривался в вечереющий город и вовсе не ждал ответа. Он задавал торжественные вопросы так — по извечной испанской привычке. Он знал, что сегодня никто ему не ответит, кроме него самого. Всем сердцем, всем существом он знал сегодня, что он — Боливар.

Так что же? Что было дальше? Не в те ли дни зародилась сегодняшняя тревога? И лишь сегодня он проникает, силится вникнуть в особенный смысл ее, уяснить ее для себя?

2

Он принимал меры, которые были умны и необходимы.

Он вовсе не позабыл, что головоломный поход через степи и Анды задуман был как последний, решительный и итоговый из походов — из всех великих походов этих немолчных лет. Так оно и свершилось. Он точно не знал, что там именно нацарапал Морильо за океан своему Фердинанду, но мог представить, что в том письме было именно то, что там было: «Эти злосчастные боевые действия отдают в распоряжение повстанцев, кроме королевства Новой Гранады, много портов в южных морях, которые будут использованы их пиратами. Попаян, Кито, Пасто и все внутренние области этого континента вплоть до Перу находятся во власти того, кто господствует в Боготе. В распоряжении повстанцев одновременно оказались монетный двор, арсеналы, оружейные фабрики, мастерские и все то, чем владел наш король в этом вице-королевстве. В один день Боливар разрушил плоды пятилетней кампании испанцев и одной победой возвратил

себе все то, что армия короля отвоевала в многочисленных сражениях».

Да, он мог представить, что писанина Морильо была такова. Да, поход был самым итоговым из великих походов. Но в этом ограничительном слове — «великих» — было все дело. Если бы, если б он был последним из всех походов!

Как это вечно бывает в жизни, нахлынули те и другие дела, о которых не думал, когда пред глазами стелилась хмурая толща воды, стояли хребты ледовитых Анд. Тогда казалось и думалось — выйди из поймы, перевали хребет — и откроется вечное, чистое, белое, голубое и лучезарное. Он, Боливар, он в сердце, в уме своем, казалось бы, не питал иллюзий на этот счет. Слушая крики солдат, выходящих из преисподней серого месива, он помнил о снежных Андах; минуя Анды, он думал о предстоящем сражении и победе. И все же и он попался на эту удочку. Думая о победе, он не подумал дальше.

Так? Не подумал ли?

Он в рассеянности слонялся по «президентскому дворцу», отведенному ему услужливыми холопами, медленно думал о пышной, восторженной встрече 10 августа, думал о новых празднествах, затеваемых 18 сентября,— двадцать девиц в снежно-белом будут венчать его, победителя, лавровым венком,— хмуря брови, отдавал все необходимые приказы, а сам все старался не думать об этих приказах, как и обо всем происшедшем, происходящем. Не думать по-настоящему: тихо и в глубину, до дна.

Все же те мысли и чувства просачивались в сознание и время от времени, на секунду, на миг отвлекали его от конкретных дел, как бы коробили мозговые извилины. Война не кончена, это ясно. Он принимает необходимые меры. «Великий» поход

исполнен, но малых еще будет много. За каждым прекрасным, трагическим, грозным спектаклем следуют толкотня из зала, поиск лакеев, плащей, брань извозчиков, скрип разбитых рессор, неудобства дороги, ворчанье прислуги, капризы бессонницы — и где они, чистые, розовые восторги и клятвы Карла Моора, прелесть Розины, возвышенные призывы сеньора Позы? Такова жизнь.

И он разве не предвидел? Там, при начале, вблизи Ангостуры, он разве не знал в душе, в самых глубинах души, что этим не кончится, что «один удар» — это, может, и мощный, и грозный, величественный удар, но что после всякого такого удара еще требуется долго и кропотливо мести, подбирать обломки?

Он разве не знал, обещая солдатам, что это — последнее, что так не будет?

К черту. К черту. Следует лишь быстрее подобрать эти обломки. Чем больше он киснет, тем медленней дело. Да, впрочем, разве он киснет? Он делает, делает. И все правильно. Но есть еще червь. Он противится сердцем, но что с ним поделать, с этим сердцем Боливара, человека, в общем весьма любимого им, Боливаром. Что с ним поделать, если он не просто убежден, а з н а е т, з н а е т, что никто так, как он, не достоин в современной Америке мировой и высокой славы; что он один сумеет объединить, сделать мощной и славной Америку от Карибского моря до южных островов. А кто же? А кто же другой? Кто? Мариньо, Паэс, Бермудес? Умный Сантандер? Ребята все — ничего, но они мелко плавают, они — не политики, не государственные мужи, они — не командующие, в лучшем случае — генералы.

Есть еще Сан-Мартин... Ну, хватит.

Но что это? Что за голос в душе? Робеспьер? Бонапарт? Нет. Тот бессмысленно рубил головы, этот

завоевал чужие народы, а я... а мы — мы боремся за свободу. Для этого нужны единство и умный руководитель. Ведь так же? Ведь так? А как же? — именно так.

Во всяком случае, дело не довершилось, не сыгран последний акт, эпилог, не подметены обломки. Уж столько жертв — он зябко поежился неожиданно,— и не довести до конца? Нет. Довести. Довести.

Нужны необходимые меры. Нужны еще те, другие походы, ставящие точку в деле свободы.

И этим он занят.

Самое горькое, что они и правда нужны.

И правда нужны.

Он поразился тому, как эта последняя мысль вдруг пепельно-серо и горько стиснула его душу.

Как будто до этого он все что-то выдумывал, выдумывал и сам знал в душе, что выдумывает, и от этого, хотя мысли были печальны и беспокойны, тоски настоящей не было.

И вдруг вот эта первая серьезная мысль — ведь и правда нужны, она впервые и привела тоску.

И тут он понял все деловое значение этой мысли, приведшей тоску: и правда нужны, иначе все пропало; и понял до глубины души, что единственно возможное — это делать, делать и делать; и тут же тоска ушла, душа будто закрыла бесплотные, внутренние свои взоры,— и осталось лишь четкое, очевидное: действие, действие, действие.

Действие до победы.

* *
*

Он объявил мобилизацию в армию. Спрут поражен в свое тулово, в свой суровый глаз, но остались чмокающие, смердящие и давящие щупальца в Эква-

доре, Перу и Венесуэле. Если дать им жить, извиваться, они породят новых смертоносных гадов. Поэтому — армия, армия. Жалованье гражданских служащих урезано вполовину. Конфискации у врага и сочувствовавших ему. Сломить хребет упрямому происпанскому духовенству: десятину — в казну. Наказывать мародеров. Рабам — свобода и мобилизация в армию: пусть сами отстаивают свою свободу. Революционные трибуналы: хватит терпеливо ожидать ножей в спину. Помощь сиротам и вдовам героев войны. Пост вице-президента: пусть будет — Сантандер. Малый он умный, с мыслью и просвещением в сердце, хотя медлительный очень.

Пусть, пусть.

Что еще?

Праздник.

Там он произнесет речь:

— Солдаты, вас было всего лишь двести, когда вы начали этот поразительный поход. Теперь вся Америка слишком мала, чтобы вместить вашу храбрость. От севера до юга в этой половине мира вы сеете мир и свободу. Вскоре столица Венесуэлы встретит вас в третий раз, и ее тиран не посмеет сразиться с вами. Богатое Перу увидит знамена Венесуэлы, Гранады, Чили и Аргентины, и население Лимы с восторгом встретит освободителей континента, которыми по праву может гордиться весь современный мир.

Но главное — Ангостура.

* *
*

Он поспешил в Ангостуру.

Там почему-то считали, что он потерпел поражение — так хорошо работали почта, курьеры великого континента! — и удивились его прибытию. Мариньо уже щеголял в главнокомандующих. Боливар навел

порядок и начал готовиться к экспедициям против Морильо, предварительно доложив конгрессу о состоянии дел и внеся предложение объявить о республике под названием Великая Колумбия в составе Венесуэлы, Новой Гранады и Эквадора.

Конгресс утвердил его предложение, Боливар начал готовить армию.

Медлить было и верно нельзя, ибо Фердинанд готовил новую карательную армаду. Перед ее прибытием следовало добить Морильо.

Так и шла жизнь.

Переговоры с Морильо, который в связи с беспорядками в метрополии возжелал перемирия. Переговоры, во время которых Боливар, по собственному признанию, лгал, лицемерил и изворачивался так, как не приходилось ему за всю жизнь. Чего не сделаешь ради дела! И удалось: как многие люди, искренние по природе, Боливар, сделав в душе ударение на хитрость, хитрил хитрее других и в хитрости этой выглядел столь же искренним, сколь и был — в душе: особая инерция и привычка души и тела; сознание важности, справедливости и необходимости дела рождает привычную мину, гримасу правды, душевности, простодушия, обаяния, внятные взору запутанного врага. Перемирие было достигнуто, армия и республика получили время и передышку, многие жизни и дело были спасены.

Уговоры со стороны Морильо забрать назад привилегии и поместья — богатым креолам, Боливару лично — и получить права, и договориться с Испанией, но только не разрушать великой и славной империи: не объявлять независимости колоний. Двусмысленные ответы Боливара обо всем остальном — и твердость лишь в этом: нет. Нет, нет. Америка будет свободна.

Победы Паэса, Мариньо и Урданеты и моряков Монтильи. И перемирие на шесть месяцев. И договор о ведении войны, обязывающий стороны не притеснять, не трогать мирное население: разумеется, по инициативе Боливара.

И личная встреча и даже банкет с Морильо, вызвавшие среди соратников истошные крики ярости. Сам Боливар немало думал об этой встрече и полагал, что она была очень полезна. Он вбил Морильо в башку, что дело Испании проиграно, что он, Боливар, умнейший вождь, что республиканцы не остановятся на полпути. Пусть он едет к своим кастильцам (Граф Картахены Морильо подал в отставку и убрался за океан!) со всем этим на языке. И все-таки было в воплях соратников что-то такое, что задевало больные струны. Как радостно было видеть могущественного врага, сидящего за одним столом и от имени короля беседующего с республикой.

И наступление их, патриотов, в нарушение перемирия — правое дело не терпит отсрочек! — и битва при Карабобо, и бегство испанцев в Пуэрто-Кабельо, и — вступление в город детства.

Да, многое было за это время.

Круглая Авила, Сан-Игнасио...

Нахмуренно постоял Боливар пад обвалившимися, некогда белыми стенами своего дома. Мой Сан-Матео... Грусть, одиночество, сиротливость давили сердце. Тут был и старый нелепый камин, и щипцы, и книги, книги, и пол, и патио там, вон там, и балконы, портьеры, и тихие, тенистые, таинственные углы, казалось, пришедшие из далеких, древних времеп, из сна, с того света, из тех миров, которые были еще до рождения и томят болящее сердце — томят воспоминанием и зарницами от того, что невыразимо сердцем, что лишь приснилось в этой сияющей, суетной жизни.

Или наоборот? Или эта жизнь, эти горы, и степи, и кровь, и мелькание, и Европа, и лошади, и повозки, и копья, и свет, и Америка, и солдаты, и вихрь, вихрь, вихрь, мелькание и стремление — или это приснилось? А там была настоящая жизнь — и душа еще возвратится к ней?

Где же? Но где же там?

Лежат сиротливые камни, остатки от белых стен, и ровно светит солнце, и бедно и жалко выглядят эти разбитые камни, и дома, и патио в резком и безразличном сиянии дня; и нет тайны, все видно, нет уголков и тени, нет снов, синевы или забытья; нет детства, все резко, и четко, и безнадежно — кирпич, вот еще кирпич, камень и еще камень,— и ничего нет.

Ничего нет.

Да.

В Эквадоре, в Перу у испанцев еще изрядные боевые силы.

* *
*

Им все уже было ясно обоим, и наступил момент, когда Боливару следовало вновь обнаружить, что он президент и Освободитель — не только вояка и старший товарищ,— а Сукре вспомнить, что он и символ и генерал («На освобождение Кито!»), а не только Сукре.

Впрочем, ему-то, Сукре,— мало горя. Он, как всегда, тих, уверен и собран, он молча стоит посреди комнаты, улыбается — руки по швам — и спокойно ждет, когда же Боливар скажет свои напутственные слова. Захочет еще задержать — он, Сукре, останется; скажет просто «Уйди», не прощаясь и без торжественной речи — он тоже примет как должное, лишь слегка потускнеет в лице, повернется и выйдет.

Боливару стало досадно от этого. Может Сукре хотя бы немного расшевелиться? Старею я, что ли? Если его укокошат... Как жаль, что нет дочери, сына. Привязываешься к другому, а он равнодушен. Впрочем, хорошо, что нет. Раньше не было этой мягкости, этого теплого воска в душе.

— Послушай, Антонио Хосе,— заговорил ходивший взад и вперед Боливар.— Ты-ы... как?

Он не приготовил, о чем спросить, мычал и начинал беситься.

Сукре увидел, что речи еще не будет, немного ослабил ноги и спину и отвечал:

— Я что? Ничего, Симон.

— Ну... может...

Боливар сделал нервический жест кистью, как-то вывернув пальцы; на тонком, морщинисто передернувшемся лице изобразились страдание и нетерпение.

— Мне жаль тебя отпускать,— как-то устало сказал Боливар, будто махнув рукой: мол, зачем биться в поисках форм.

— Мне тоже не очень охота с тобой прощаться.

— Да-а-а, ты не такой, как я, грешный,— капризно протянул Боливар, все продолжая мотаться по комнате и сердито поглядывая вроде бы на Сукре, но не доставая глазами его лица.— Ты уж другой. Тебе что? Пошагал, и все. Все вы, молодые, ныне деревянные: все рассчитано, точно. Как у Сан-Мартина. Здесь — то, а здесь — это. Раз, раз.

— Я только на десять лет моложе тебя, Симон,— посмеиваясь, заговорил невысокий, как и Боливар, довольно красивый, черноволосый и узколицый, мечтательный с виду Сукре; он уже понимал раздражение собеседника, и оно забавляло его. Как женщина! — Тебе тридцать семь, мне двадцать семь, в эти

годы разница в десять лет — чепуха. Конечно, когда мне было лишь семь, а тебе семнадцать, и ты уже...

— Да! Я в семнадцать разъезжал по Европе, готовил восстание против испанцев! А ты!

— Может, ты и готовил восстание, только, по-моему, вместе с доном Мальо ты больше лазил в корсажи...

— Я! в корсажи! Чушь! Мы, наше поколение, сохранили нечто от старых идальго.

— Да я понимаю, только что это ты сегодня? Поколение, поколение. Разве мы не одно поколение? Ты брал Ангостуру, я сутки плыл на бревне от стен Картахены. У тебя погиб брат, у меня — четырнадцатилетняя сестра.

— Ты напрасно тасуешь карты таким манером. И кстати, не десять лет, а больше.

— Ну сколько?

— Да, больше. Я старше тебя на одиннадцать лет, думаю, даже больше.

— Да нет.

— Не нет — да! Вечно все надо подтасовать!

— Послушай, Симон, я могу обидеться. Что ты пристал? Десять, одиннадцать. Три и три четверти.

— Что за три? Какие три четверти?

— Нет, ты не в духе. Ну, я шучу.

— Все ты шутишь.

Боливар опять заходил по комнате.

— Но послушай, Симон,— помолчав, заговорил Сукре.— Я понимаю тебя. Ты не веришь? Тебе нужно теплого человека рядом. Пепита растаяла в тумане, да и не нужное это было. Еще этот дом твой — разбитый. И я — ты не знаешь, как я хорошо к тебе отношусь. Я прекрасно к тебе отношусь; согласен быть даже за сына, если уж ты так настаиваешь на

разнице наших поколений. Тем более, у нас общий родственник, предок — Дьего Лосада, основатель Каракаса. Хе-хе... Но ведь ей-богу. Какой я тебе наперсник? Ты знаешь, кто я и кто ты. Ты — политик, ты друг людей, друг Тальма и Бонплана.

— Ну, уж и друг,— самодовольно возразил весь вдруг расслабленный, посветлевший Боливар.

— Ну, пусть не друг,— терпеливо ответил Сукре.— Так вот. А я?

— Сейчас начнется великая самоинквизиция.

— Нет. Ты сам знаешь. Я не из тех, кто самоуничижается, я себе цену знаю. Но я — я не то, что ты, и ты это знаешь, и я. Я всегда поддержу тебя, для меня огромное удовольствие с тобой разговаривать, тебя слушать, но у меня не пропадает чувство, что ты относишься ко мне не как к брату, а как к сыну, и в отношении твоих сердечных чувств, привязанности, и в отношении разума. И это естественно, Симон. И это меня стесняет, а ты принимаешь это за отчуждение.

Боливар стоял перед Сукре потупившись.

— Да, ты прав,— сказал он, отворачиваясь, пытаясь не глядеть в улыбчивые и спокойные глаза Сукре.— Ну, ты прав. Прав не в том, что хвалишь меня, хотя это приятно, прав, что чувствуешь как-то. Что же. Тебе надо идти.

— Вот видишь,— проговорил Сукре, еще не остывший от речи.— Вот видишь. Ведь мы военные. Ты не сердись, Боливар.

Тот помолчал, потоптался и произнес уверенным и глубоким голосом:

— Что же. Военного счастья тебе, друг мой. Друг мой, генерал Сукре. Иди. Начинай. А я скоро приду на помощь. Пока же иди один. Здесь тоже
 дела не ждут. Встретимся где-то у Кито. Иль, может,



в Кито? Штурмуй вулканы и Гуаякиль, прощай, мой друг, будь здоров и будь светел сердцем.

Это была та самая речь...

— И счастья тебе, Освободитель Боливар.

* * *

Армия Сукре успешно продвигалась от Гуаякиля на Кито. Однако людей было мало — вдвое меньше, чем у испанцев,— и местность была тяжелая. Боливар, как всегда, требовал чуда. Сукре был под угрозой.

Боливар, управившись со своими президентскими и центрально-военными суетой и делами, взял новых солдат и пошел на юг.

Переход был утомительный. Приставали дикие, глупые партизаны из Пасто и Патии, навербованные попами «против безбожников», донимали тропические насекомые, горы были тяжелые.

— Слушай, Франсиско, обманем этих попов,— говорил Боливар угрюмому, хмурому Сантандеру.— Ну, сочини что-нибудь. У меня уже голова не варит.

Они послали зловредному епископу, засевшему в Пасто, фальшивые газеты и разные бумаги, свидетельствующие о том, что метрополия признала свободу колоний. Не помогло. Старый черт разгадал подделку и поднял такой визг, что стало хуже. Бессмысленно гибли те и другие люди — крестьяне Пасто против крестьян Гранады,— но ничего нельзя было поделать. Город защищал Басилио Гарсия, бывший раб на королевских галерах, сражавшийся против республиканцев, за короля уж двенадцать лет. Было две-три баталии, Боливар потерял намного больше людей, чем Патия, Пасто, испанцы. Но наконец он продрался вперед, а Сукре ударил с тыла. Антонио Хосе был верен себе: хладнокровно выбрал

момент и все провел, как хирург. Он разгромил годов у вулкана Пичинча, взял в плен генерала Аймерича и ускоренным маршем вышел на Кито; город пал, а Гарсия, видя такое дело, сдал Боливару Пасто.

Они, как и замышляли, встретились у Кито, пошли в дом к Сукре.

— Ты молодец, Антонио,— говорил Боливар.— А мне что-то было так тяжело. Эти чертовы дети инков. Освобождаешь, освобождаешь — они же свое: да живет король!

— Да. Но что же? Ведь делать нечего, надо сражаться и с ними,— задумчиво проговорил Сукре как бы от лица самого Боливара, будто бы продолжая его слова.

— Это так.

* *
*

Он валялся на мягком, роскошном диване из дуба, муслина и лучшего пуха ламы в доме плантатора, убежавшего то ли в Горное Перу, то ли вовсе в пампу, наслаждался орнаментами и люстрами прямо перед глазами и краем уха слушал Антонио, столь же раскидисто расположившегося на канапе напротив (нога безалаберно свесилась, видно краем глаза) — и длинно, со всеми подробностями повествовавшего о Пичинче и чертовых этих индейцах, которых еще придется теснить:

— Испанцы, те люди отпетые, но хотя бы сдаются в плен. А эти — ох, устал я. Им объясняют, им объясняют — мол, мы друзья, мы освободители, они слушают, а после — сзади подходит, стук — и готов человек. Вы, говорят, против бога.

— Да знаю я — ну чего ты? уж решено: пойдешь, побьешь. И Сан-Мартин с юга поддержит.
 (При этом имени Сукре быстро взглянул на Боли-

вара, но тот смотрел по-прежнему устало и тихо.) Тут выхода нет. А как, по-твоему, будет праздник? — вяло спросил Боливар.

— Что — как? — спросил Сукре, с явным сожалением переводя себя от военных проблем на сегодняшнее и простое.— Что — как?

Тот помолчал, ленясь говорить; в соседней комнате суетливо топтался О'Лири.

— Ну... как встретят, что будут говорить...

— Да известно — что. Хотя бы поскорей напоили, а то начнут болтать. Любят у нас болтать. Гло́ток свинцом не зальешь.

— Красивые тут вулканы. Я их люблю. Правда, вид их напоминает о том землетрясении, помнишь, с которого все началось. А все равно люблю.

— Вулканы красивые. Только хлебнули мы у Пичинчи!

— Это да, это да.

— Вот. Так я говорю...

— Прекрасно, Антонио Хосе. После поговорим. А вернее — чего же после? ведь все уж ясно. Что перемалывать. Война — это война.

Сукре помолчал.

— Поспим? — спросил он после этой своей характерной паузы.

— Спи, брат, спи.

Вскоре он тихо засопел, будто загадочно рассказывая самому себе что-то; Боливар лежал, смотрел в потолок бездумно.

Послышался шум:

— Господин Боливар! Вас ждут!

Началось.

Он испытал приятное, свежее шевеление в сердце, в груди; он любил народ, любил праздники, танцы, любил быть в центре внимания (что поделаешь?) или

даже и в стороне, но чтобы вокруг веселье, шум, чтобы хмель в голове.

— Да, сейчас,— внешне ворчливо, но даже не скрывая притворности своего «неудовольствия», крикнул он в направлении двери. Он, верно, не возражал бы и полежать, поглазеть в ничто, но желание праздника было сильнее.

Он встал, сбросил халат, открыл чужой шкаф и начал разглядывать в нем свои мундиры, все думая, какой выбрать; вошел денщик и остановился за его плечом.

Этот черный с оранжевым, шитый золотым лавром? Этот синий с изящным воротником? А лосины? Красные, белые? Кем ему лучше выглядеть? Кавалергардом, гусаром?

Это было в июле, в двадцать втором году. Здесь, на высоте, не очень мерзок период дождей. На улице хорошо, сквозь облака пробивается чистое солнце; он кожей ощутил, как блеснули его манжеты, его воротник, его оранжевая и золотая грудь. Гренадеры и денщики сторонились и поглядывали с особенным уважением; одежда — великая вещь. И сам себя чувствуешь иначе, и для людей ты на белом коне и в пышном мундире — совсем иной Боливар-и-Паласиос, не тот, что на муле, в грязном плаще и сомбреро. Тот — свой, этот чужой и высокий. Он с удовольствием крутился по патио на белом крупном коне; он выпячивал сияющую грудь и вновь и вновь видел в лицах приязнь, одобрение и некое особое отчуждение. Баюкающее, сытое чувство славы, самодовольства и гордости мимо воли полнило душу; он знал умом, что нехорошо, недостойно, но легкий и солнечный, свежий голос твердил в душе: «Почему же? Разве я не заслужил?» Он не стал разбираться в своих ощущениях и весь отдался этому внешнему,

свожему, легкому и красивому; он представил город, флаги, толпы на улицах...

— Все готово, мой генерал.

Он выехал в арку из патио; перед ним блеснули алым и желтым роскошные груди построенных конных гвардейцев, с которыми он поедет в город. Знакомое чувство кристальной и бодрой радости при виде блестящего, строгого войска вошло ему в сердце; он тихо приветствовал молодцов, поднеся ладонь к треуголке, они салютовали блеснувшими саблями, и, слегка потоптавшись, посоветовавшись с Сукре и адъютантами по поводу порядка и способа следования, онп отправились.

У ворот города их встретила депутация на парадных конях, присоединилась к кортежу; сердце зашлось баюкающим, пьянящим чувством величия, солнца и легкого счастья. Пред ним образовалось на миг пустое пространство; главная улица Кито была довольно широка, хорошо мощена, солнце таинственно, матово и приветно играло на гладких камнях, разноцветные толпы с букетами, с зеленью, флагами над головой и в руках стояли впереди по сторонам торжественного пути, ликующе приветствовали шляпами, сомбреро, мантильями и даже вуалями, кричали, заранее кидали по направлению к въезду алые, розовые, белые и голубые маки, тюльпаны, розы и альпийские луговые цветы; он подъехал — сзади слышался ровный цокот копыт — рука к треуголке — к этой суживающейся части улицы, где ожидала его толпа, миновал какие-то ступеньки (улица повышалась) и оказался в гуще ликующих граждан Кито; его забрасывали цветами, лиц он почти не различал — одна сплошная россыпь сияющих глаз, розово-смуглых и темных щек и открытый в восторженном вопле длинный, волнистый рот; он медленно ехал,

конь слегка мотал головой, хрипел, гарцевал, пританцовывал — не любит медленно! — с фигурных, резных балконов свисали флаги республики — желтое, красное, голубое — и просто разноцветные ленты и флаги, стрелял серпантин, сыпалось конфетти, синело небо, сияло солнце, слышались выстрелы: возбужденные жители Кито от полноты восторга палили в небо.

Он ехал, смеясь направо, налево, сжимая руки, прикладывая их к сердцу и, удерживая левой поводья, правую поднося ко лбу; он ехал и ехал, сыпались цветы и венки, мелькало, мелькало, сердце распирали радость, волнение, любовь к людям, к себе и к огромному, любящему его и любимому им подзвездному миру. Он ехал, и он увидел на ярком балконе красавицу в белом, зеленом, красном и голубом. Она смеялась, кричала, поднимала руку и грациозно — чуть вверх, с изгибом — швырнула ему лавровый венок. Он поймал, поклонился, счастливо смеясь своей ловкости и все полукланяясь, помахал ей венком, прижал руку к сердцу, подумал: «Какая... Великолепна!» — проехал дальше. Десятки женщин швыряли ему цветы и венки, но они сливались в одно ликующее, шумящее, яркое и большое пятно, а эта — вспыхнула, выступила из розового, белого, голубого месива четко и резко, и ослепительно, и одна — и тотчас же снова потухла перед глазами, в сознании; тотчас же вновь замелькало, запело, поплыло и заклубилось все. Возникла легкая, блесткая, серебристая мысль, что он еще непременно увидит, увидит, увидит ее — и опять все поплыло и замелькало; он ехал, ехал, сзади слышал Сукре и адъютантов, и стройный цокот коней гвардейцев, и было прекрасно, туманно, лазурно, розово и баюкающе, и весело.

Он проехал по улице и попал на площадь; мель-

кнули па́рные приземистые шпили — звонницы знаменитого Сан-Франсиско, горы и холмы в отдалении, но некогда было глядеть и думать — надо было произносить речь.

Они вошли на помост; не пропадало ощущение сна и розового тумана, оно сгущалось даже. Боливар глядел на толпу, на открывшиеся в пространстве площади горы (бледная зелень и белое), на белеющие стены домов и башенки Сан-Франсиско и слушал приветствовавшего его отца города, но вовсе не слушал его. Он смотрел, смотрел, тихое волнение подымалось в груди, но в этом волнении был и розовый, белый, туманный покой. Золотисто голубело чистое небо, ватные облака опоясывали два-три зеленеющих и белеющих пика с обрубленными вершинами, будто привязанные к их склонам и не пускаемые в девственное и высокое, пронзительно-ясное небо; на площади ощущалась прохлада, неощутимая на улице и в толпе; гордый Кито — высокий и белый, голубой и высокий Кито. Он, верно, ближе к небу, чем вершина Монблана. Здесь — не Европа. Прекрасные горы, холмы, эти вулканические пики. Но эта красота обманчива. Кто не помнит землетрясения в 97-м, потрясшего всю Америку? В две минуты 40 тысяч людей исчезли с лица земли, вода и сера накрыли город, обваливались хребты и скалы. А Котопахи? О, апокалиптическая гора, где она? Ее не видно отсюда. Когда это было? Да, в 738-м — деды помнят. Огонь Котопахи поднялся на 900 метров, все было забито камнями и шлаком. В следующее извержение, лет через пять, рев вулкана был слышен у Магдалены за 200 сухопутных лье, а лет через тридцать количество пепла, извергнутого этим бездонным жерлом земли, было так велико, что в городах Амбата, Такунга, имевших легкомыслие при-

ютиться близ самого чудовища, ночь продолжалась до трех часов дня и жители в потустороннем, животном страхе мчались по улицам с фонарями. А лет пятнадцать назад извержению предшествовало ужасное: таяние снегов на склонах,— и волны хлынули на селения. Гумбольдт, сидевший тогда в Гуаякиле, за 50 лье, утверждает, что слышал и днем и ночью ужасный грохот, напоминающий залпы бесчисленных батарей... Он где, Котопахи? я, кажется, вижу, вон там, на юго-юго-востоке, геометрически правильный, идеальный, чуть усеченный конус. Нет. Одна видимость, дымка, мираж, видение, блеск... что за прекрасный день; погода не балует Кито, как говорят, его небо печально и мглисто; и время — июль — плохое; но нынче какое солнце! что за покой и радость! и эти вулканы — жерла единой, незримой и колоссальной огненной бездны, ее орудия, выходы. Где Чимборасо? Не тот ли? Кажется, я вижу его. Что за настроение? что за настроение у меня сегодня?

—...великий Освободитель, покоритель сельвы и мощных Анд, победитель Бояки и Карабобо, великий... великий...— поймало сознание фразы оратора; так, хорошо — баюкающее, серебряное и сытое чувство славы вновь посетило душу; звенела, и пела, и золотилась радость; и все это было и покоем, хрустальной усталостью, печалью.

Он говорил речь, он смотрел на лица, дома и горы и думал о том, что встреча, покой, и радость, и свет, и солнце — все впереди.

— ...Вы, граждане Эквадора, мужественные жители высокого, поднебесного Кито, бесстрашно живущие рядом с огнем колоссальной, таинственной преисподней, взнесенной огнедышащими и белыми

 вулканами к небу, в небо,— вы, граждане Эквадора,

свободные жители свободных и белых гор, вы, граждане города и провинции Кито, вы, победившие солнце и небо...

Он был в ударе, он смотрел на небо, на солнце, на бледно-зеленые, серые и багровые эти холмы и на белые горы — и звуки, слова звенели, как золотые пиастры на мраморном блюде, и не было дела, о чем этот звон, звук, что он значит, изображает — так был он прекрасен, звонок, нежен и мелодичен.

И, уходя под клики с помоста, он видел, уверенно видел в толпе восторженное лицо, блестящие, жгучие, смоляные волосы и светло-золотые, сияющие глаза, и сияющие взоры и кожу, и вновь все скрылось, и улыбался он, улыбался, и видел, и знал, и чувствовал что-то.

Он поехал, переоделся более скромно и снова вышел на улицу. Его узнавали, махали руками и окружали, и бурно кричали «Вива», рукоплескали; но он, улыбаясь, посмеиваясь и пожимая руки, выбирался из тесной толпы и шел прочь, прочь, ища сам не зная чего.

Веселые индейцы, пришедшие из северных, из колумбийских провинций, в кружке танцевали кумбию.

Боливар остановился и начал смотреть. Кое-кто оглянулся; соседи радостно зашептались, заулыбались и начали расступаться, но он замахал руками и сделал кисти крест-накрест, и снова соединил толпу; все продолжалось своим чередом. Улица кишела народом, блестящие мундиры смешались с белыми шерстяными накидками — пончос, с красными плащами и полосатыми одеялами, кивера и корзины на головах теснились и двигались вместе с сомбреро и шляпами из цветистого войлока, ламьей шерсти и тростника, монисты, кофты, широкие юбки и покры-

вала бедных креолок, метисок и индианок перемежались с мантильями и вуалями, с богатыми, яркоцветастыми шалями, сыпались дынные корки, ошметки лимонов и апельсинов, орехов и ананасов и тыкв, все смешалось, и вскоре толпа перестала следить за Боливаром и шушукаться о его наряде и виде: не до того, он уж сам — не зрелище, он участник... Били барабаны, тампоры, трещала гуачаррака, звучали гитары, и четкие, отрывистые звуки танца, выпевавшие шипучую, будоражащую мелодию, как бы треугольно вздымавшуюся и ниспадавшую каждые две или три секунды,— будто гора, и восход, и снег, и вершина, и дикий, самозабвенный, мгновенный обрыв,— леденили, и ширили, и сжигали душу, и все окружавшие тех, танцевавших, дружно притоптывали и вертелись из стороны в сторону, не сходя с места, и дико били в ладоши, и мощно, гортанно и гордо вскрикивали,— а там, в центре круга, там танцевали парень в сомбреро, в алой расшитой рубашке, и с полосатым одеялом через плечо, и в мохнатых брюках,— и мощная, темная, мускулистая и по-стальному гибкая девица в оранжевой юбке,— и, в противовес будоражащей, огненной музыке, они танцевали сдавленно и пасмурно-сильно, скупо вертясь из стороны в сторону, изображая мощь и грозу подземных вулканов и самой преисподней, не вырываемые, не пускаемые наружу и въявь. Они танцевали по-настоящему; так и положено. Дикие, дикие, ярые и крутые звуки — и сдержанная, подавленная и гордая сила самого танца. Да. Да. «Мы — Испания. Да, мы Испания тоже,— больно, хрустально, певуче и солнечно подумал Боливар.— Да, мы... но вот. Вот она».

Он вновь, и почти в открытую, улыбнулся ей —
 ей, с волосами цвета вороньих крыл, с персиковым

цветом прекрасных креольских щек, с золотыми, сияющими глазами; и она улыбнулась ему, и они, легко улыбаясь друг другу, снова разошлись в разные стороны, чтобы преждевременно не плеснуть вина из прекрасной, резной и тончайшей вазы. Он не хотел подходить; и она не хотела и понимала; и весело и лазурно, и празднично разошлись они снова — вновь разошлись они в разные стороны.

В цирке шумела неизбежная коррида. Он вновь отыскал глазами свою красавицу — она плавила алые губы, сияла алебастровым рядом зубов — и начал смотреть, как этот дурак на запуганной лошади разъярял, дразнил флегматичного, задумчивого быка. И после, когда угрюмый и жалкий бык бросался на дутого петуха со шпагой, вновь отступавшего от его рогов и кивавшего ревевшей толпе, он все никак не мог войти и проникнуть душою в перипетии, конкретности древней битвы, а прислушивался лишь только к восторгу и свету, и ликованию, вновь царившему вокруг него и в его душе, и смеялся, и что-то вопил, и поглядывал искоса на красавицу — на нее, на нее. Этот укокошил быка — вид крови не произвел впечатления, он не осознал, что это кровь, и лишь кольнула жалость к тому быку, что угрюмо и мутно метался все мимо шпаги,— к тому быку, чей образ почему-то совершенно не соединился и не совпал с недвижной и слишком, уж слишком мертвой и черной тушкой, валявшейся на арене,— и вновь пошел он, не дожидаясь отрезанного бычьего уха, и замелькало, и зашумело, и заходило вокруг него — и он видел лишь свет и цель своего присутствия в жизни, и здесь, и везде.

Кружилась, работала карусель, визжали девицы и ребятишки, крутились юбки и шали, струились накидки, ленты, мантильи и спущенные косынки. Рас-

крашенный гриб вращался быстро, но плавно, задумчиво и в разящем противоречии с этим безумно скрипели, гудели, застыв на отлете, на этих канатах, корзинки с людьми, с мужчинами, женщинами и детьми — алыми, белыми, желтыми и зелеными пятнами; он глядел и смеялся, крики неслись и сыпались, в гаме взмывали отдельные визги, и вопли, и бравадно-гортанные кличи; хозяин мотался у маленького заборика, зазывая прохожих, размахивая огромным и неуклюжим, раскрашенным и разлапым сомбреро, и не было среди несущихся лиц т о г о и единственного; так что же? он улыбнулся, и посмеялся, и посмотрел на небо, и пошел дальше. Шумели, ревели улицы Кито, пестро и разноцветно плыла толпа; за прозрачным забором, внутри фанерного круга, шел петушиный бой. Он подошел и облокотился на жердочку хинного дерева; никто уж не обратил на него внимания; все орали, подбадривая петуха с блестящим серебряно-золотистым жабо и в металлическом блеске синим хвостом; он наскакивал на белого с ярким и мощным гребнем, тот приседал и квохтал и пятился, припадая к земле; этот наскакивал сверху и норовил нанести серию последних, смертельных ударов в затылок; этот увертывался, вывертывался из-под когтистых, бугристых лап, выскакивал, выползал из-под крыльев победоносного золото-синего и — весь в крови, напряженно-усталый, с налитыми розовым соком кругами глаз — следил за движениями врага, чтобы снова вывернуться, увернуться и ценой невероятнейшего усилия продлить себе жизнь на одно-два мгновения. Нетерпеливые зрители жаждали смерти слабого и вопили:

— Добей! Добей!

Женщины тоже вошли в раж и орали, сжав кулаки и тряся ими над черными, смоляными, русыми

головами; он тихо поймал себя на том, что пробегает взором по лицам женщин, ища, все ища.

Она была во втором ряду напротив него и, размахивая кулаками, блистая под солнцем иссиня-черными космами, вопила на всю вселенную — звонкий и одновременно глубокий, грудной ее голос был слышен поверх других:

— Э! Белый! Что же ты, гадина, сволочь! Не поддавайся! Как можно! Дай ему, рыжему. Как это можно? Поддай же, поддай! Долбани его! Да вставай, карамба!

Она поглядела через арену, где бились петухи, на Боливара, как на своего, и — забывшись, забыв, что они не знакомы, что только невидимый магнетизм, незримые токи связывают их души, больше ничто — заорала ему в лицо:

— Ведь что же! Что же за негодяй такой! — она смешно, грациозно выгнула смуглую руку с протянутым пальцем в арену, как бы пытаясь ткнуть прямо в петуха, чтоб уж не оставалось сомнений.— Он не дерется! Он — закис! Да ты ответь, долбани его, эту тыкву, зоб! Долбани! — обратилась она к хрипящему петуху, уж совсем распластавшемуся на дощатом помосте.— Ах ты болезный! Милый ты мой! — вдруг сменила она интонацию.— Что? И совсем не можешь? Да встань, да ответь ты! — с особой настойчивой нежностью вновь возвысила она голос.— Ответь! Ответь! Вон ты — белый! Эх! Эх, эх!

Последние восклицания были в такт ударам нахального желто-синего, наскочившего с новой силой; он мощно долбил противника в шею, добираясь до нужной цели — загривка; тот снова выскользнул.

Какое-то сложное чувство мелькнуло в груди у Боливара, тут же пропало и растворилось в безмерной и бирюзовой, и тихой радости, умилении: он,

конечно, смотрел уже не на петухов, а туда, на нее. Она тоже взглянула, заметила его взгляд, и на лице ее, еще полном огня и азарта, возник оттенок иного; оно как бы говорило (не глядя): ну да, я смотрю, я за белого, но я знаю, что ты вот так взглянул, посмотрел, я гляжу на них, но я принимаю твой взор — твой светлый, влюбленный взор.

Он растроганно усмехнулся, чуть оттолкнулся от изгороди, запечатлел взгляд — как бы запоминая,— отошел; он направлялся неизвестно куда, перед глазами пестрела толпа, слышались клики, но меж душой и глазами была она — все она, она, радость и свет.

Он пошел и пошел по улице; вдруг, как будто бы нечто вспомнив, подобрался, очнулся взглядом и скорым, нацеленным шагом пошел к своей резиденции.

Через десять минут Боливар, в синем походном мундире и на белом коне, промчался по боковым узким улицам мимо ошалелых пьяниц и вскоре выскочил за черту города; он не знал, куда ведет эта хрусткая, в белых камнях дорога, она забирала все круче, но он погонял застоявшегося, могучего коня, тот нес его плавно и крепко, и через час примерно он оказался на круглой вершине пустынного, каменистого и почти лишенного трав и кустарников лишайникового холма; среди валунов лишь кое-где торчали малиновые альпийские маки и нежные сиреневые колокольцы; дорога вела во впадину, а после приближалась к тому, снеговому хребту, таинственному nevados; он хотел продолжить путь, но увидел хижину, застрявшую сбоку холма. Она была крыта серой соломой и тростником; он подъехал, спрыгнул с коня, привязал его к стойке крыльца и вошел.

В жилище было пусто — как в том, в горах; видимо, жители покинули его, уйдя в город или, наоборот, на высокогорные пастбища. В глиняной миске возились муравьи, с голого стола спрыгнула землеройка и побежала по полу, пригнувши нос-полуклювик. Заметалась летучая мышь, затряслись паутина и жестяная утварь на гвоздиках, вбитых в голое дерево. На полу были свалены одна на одну несколько растянутых шкур. Он рассеянно пометался по комнате, поглядел туда и сюда, повалился на шкуры и начал смотреть в дощатый и драночный потолок. Было тенисто, прохладно и тихо. Он долго лежал, как-то открыто, светло и радостно задремал, потом вдруг резко открыл глаза и снова взглянул в потолок. «Да? Да».

Он встал, потянулся здоровым и сладостным, бодрым движением всех мускулов и вышел из хижины на крыльцо.

Он не ожидал (хотя таинственно ожидал!) душой — и вдруг весь, без подготовки попал во власть открывшегося — величественного и ясного.

Когда подъезжал, он был разгорячен и вспотел — погонял, гнал коня, работал ногами, поводьями — и как-то не посмотрел вокруг; смотрел только на дорогу.

Теперь душа отдохнула и успокоилось тело — и он увидел.

Внизу лежал белеющий мирный Кито. Розовело и голубело закатное небо, и там, впереди, через ровное плоскогорье, спокойно и мощно вставал белеющий конус вулкана Пичинча, рассыпчато окруженный чернеющими, белеющими вершинами и вершинками более мелких вулканов — его вассалов и подданных, и отрогов; Пичинча был ближе прочих великих гор и виден прекрасно, четко, белеюще

и торжественно; и там, в стороне, на юго-юго-востоке от Кито, там, в десяти иль двенадцати лье, белел, голубел, розовел могучий, геометрически, кристаллически правильный, бритвенно срезанный конус великого Котопахи, и легкий, голубоватый прах и поныне курился над этим гигантом, ужасным в минуты своей живой, огнедышащей ярости; ажурный и снежный, хрустальный вечерний воздух принес в окрестность волшебную, ясную ясность и белое средоточие зрения, видения, и Котопахи был близок и строго резок, как блеск опрокинутой сабли. А там? Там? Что это? Неужели то белое, снеговое, расплывчатое и глубокое в своей белеющей синеве там, на дальнем юге, с темного краю светло розовеющей и узорной зари — неужели то царь царей, великолепнейший Чимборасо? Или что это? Разве это возможно — увидеть отсюда, от Кито, снега Чимборасо? То сон или явь, или фантазии, образы, игры поющего в радости сердца? Я вижу иль нет? Нет? Да? Не знаю... Он быстро спустился с крыльца, зашел за хижину и посмотрел в противоположную сторону. Он готов был биться на тысячу пиастров, что видит острый трехглавый, ступенчатый белый шатер Каямбе на севере — да, видит Каямбе, покоящий на себе экватор. Полуденная страна! Моя родина, полуденная Америка! О радость! А эти вершины — здесь, близ Пичинчи. Могучая Антисана. А там Корасон — гора-сердце, гора в форме сердца. Лишь гордая и причудливая фантазия полуденного человека, полуафриканца, полуиндейца, полуиспанца, могла присвоить грозной, белой и ледяной вершине такое горячее имя — гора-сердце, Корасон. Быть может, я вижу и Каргуайрасо? О голубое, огромное небо с

 таинственной, нежной зарей! О пламенный вихрь

преисподней, той огненной и единой бездны, что выслала к небу все эти белые, голубые жерла, вершины, немолчно курящиеся суровым подземным прахом! О твердь, о великий огонь! О небо! О беспредельный ажурный, лазурный купол, и чистый вечер, и светлые дали там, вблизи великой зари, и сама высь, и город внизу — черные хребты, и белые купола, крепи, шатры! О природа, о пламя, о небо, о нежность и белизна!

Он зябко, от разрывавших грудь великих и светлых чувств, скрестил руки, поежился, посмотрел кругом; бессмертным покоем веяло от молчаливых вершин, кружил кондор, молчала таинственная земля, уходя дымливо и мглисто вниз — город был еле виден,— и в сердце плавно и медленно пели волнистая, розовая радость и белый серебряный свет, поднимались тишина и великолепие нежности и покоя.

Он быстро вскочил на заждавшегося коня.

* * *

В муниципальном дворце открывался бал в честь Освободителя; все было готово, дело было за малым — ждали Освободителя.

Вскоре он вошел в парадном мундире, в сияющем атласе и застежках; блестящее общество расступилось, давая путь своему кумиру, и распорядитель подвел к президенту, генералу и маршалу великолепную женщину с матово, смугло сияющими плечами, в золоте глаз и черной синеве роскошных волос и, церемонно, в парижской манере кланяясь, промолвил:

— Мой генерал, перед вашим взором сеньора Саэпс по имени Мануэла. Она поклонница вашего гения, вашей звезды, хотя ваша милость впервые видит и лицезреет ее.

— Я счастлив, сударыня, впервые видеть и лицезреть ваше солнечное лицо, вашу красоту.

И пока счастливые, сияющие Боливар и Мануэла — впервые увиденные друг другом! — оба прекраснейшие танцоры и грациозная пара, в контрдансе открыли сверкающий бал, поддержанный факелами и ликующими кликами из глубин темно-синих окон, пока звучала нежная и дрожащая ария Альмавивы из оперы великого и беспутного итальянца, и звуки «amore... amore» плыли под сводами золотого, серебряного, зеленого и оранжево-охряного зала в необъяснимом согласии с гулом бубнов, тамтамов и мелодичным звоном гитар на улицах, и пока мчались в огненном танце пары, шли сверкающие багряным нарядом слуги с темными лицами и зеркально-сияющими подносами, пока пришедшие с улицы негры, креолы и чибча отплясывали перед благодарными зрителями огнистую смесь ритуальной пляски, хоты и кумбии, прогибая пол и срывая ритмические хлопки раскрасневшихся смуглоплечих дам,— пока все это происходило, неслышно, сама собою вдруг приоткрылась прозрачная дверь балкона в черную синь — и тихий, никем не замеченный свежий ветер вдруг покатился по алым лицам и ярким взорам.

И вечным покоем, и гордым снегом, и белой грядою великих вулканов мира вдруг снова вздохнуло сердце.

Он посмотрел на Мануэлиту. Она алмазно, тепло и гордо взглянула в ответ.

* * *

События шли своим чередом.

С юга теснил испанцев победоносный, но обладающий слишком немногочисленным войском, степенный, медлительный Сан-Мартин. Явившись из само-

уверенной Аргентины, он освободил Перу и начал в Лиме различные нововведения, но дела его были непрочны, а душа его жаждала прочности. Он в отличие от необыкновенного легкого на подъем и на риск Боливара два года готовил переход через Анды в Чили и совершил его основательно.

Он разгромил испанцев, но они сгруппировались на плоскогорьях и ждали своего часа. В Перу богатые креолы колебались, принять ли девизы свободы или, наоборот, поддержать испанцев. Сан-Мартин обещал сохранить им земли и привилегии, но заволновались индейцы — потомки туманных инков. Испанцы пообещали им возродить империю Солнца, страну великана Тупак Юпанки. Из Аргентины шли новости о восстаниях партизан, резавших и испанцев и патриотов. Члены правительства в отсутствие военачальника перессорились и предавали один другого. Армия здесь, в Перу, таяла: начались болезни и дезертирство. Испанцы могли ударить совсем и наверняка: их силы, собранные воедино (20 тысяч штыков и сабель), раз в пять-шесть превзошли бы армию Сан-Мартина.

Впрочем, на всем юге огромного континента авторитет Сан-Мартина по-прежнему был велик.

Начиналась обычная испано-американская история, и основательный Сан-Мартин обратился к Боливару за поддержкой.

Диктатор Юга — диктатор Севера.

Освободитель Юга — Освободитель Севера.

Двое.

Я, несомненно, не буду повторять своих писем, записок и манифестов, и сообщений правительству. Те сложные чувства, которые я испытывал при свидании в Гуаякиле, в них не раскрылись.

Как это объяснить? В каждую минуту, когда я писал то или иное, я был вполне искренен деятельной частью души. Она излагала себя, а нечто глубокое, то, что составляет мою суть,— было за семью печатями и молчало. Лишь после оно пробуждалось.

Таков я и в разговорах порою; я редко говорю вещи, которые не думаю в данный момент, но это не значит, что я в е с ь в каждом слове. Через какое-то время во мне открывается то, второе. Поэтому все, что я говорил своим секретарям, адъютантам, помощникам и даже Мануэлите — все это не полная правда. Впрочем, Мануэлита понимает и так, сквозь слова. Однако же к делу.

Несмотря на все эти записки и разговоры, в сущности никто не знает по-настоящему, что́ же произошло между мною и Сан-Мартином. Мы несколько раз говорили наедине, и нам обоим досадны были уловки и приставания, любопытство черни. Мы слишком хорошо понимали друг друга — хотя сам я вел себя не лучшим образом и, видимо, Сан-Мартин, как человек глубоко честный, считает, что я не понял его,— и мы не могли бы объяснить тех тонких и сложных переживаний, которые владели нами, когда мы смотрели в глаза друг другу.

Я с тревогой ожидал этой встречи, и я заранее чувствовал в сердце нечто унылое. Я, разумеется, был наслышан о Сан-Мартине. Его успехи в Аргентине, Чили, Перу задевали мое честолюбие. Но дело не только в этом. Вернее, есть оборотная сторона того

же. Мы оба отдали жизнь свободе Америки; я издали чувствовал, что перед нами человек вроде Миранды (хотя и не во всем), что это не наши Паэс и Мариньо, что это не кровожадный шакал, а человек идеи и разума. Мы явно шли навстречу друг другу. Два человека, сознательно отдавшие жизнь свободе и единству Америки перед всем миром? Два человека, пожертвовавшие всем своему огню в душе? Два, два? Я в глубине души не знал, что мне делать. Я понимал, что один из нас уступит в этом невидимом поединке. И понимал я, что уступивший — и победит, хотя внешне события повернутся против него. Я не знал, что почетней, что лучше для моей чести и дела свободы: та или другая победа. Я не понимал этого. Материальная фортуна оборачивалась явственно в мою пользу. Он, Сан-Мартин, вновь столкнулся в Перу со всем тем, чем мы оба мучились эти годы (уж он-то и я это знали). Не знаю, как это назвать, но это ужасно — ускользание... ускользание. На данный момент я был на коне — победитель Кито и все такое; он — нет. Формально он был победителем Перу, но на деле у него началось... началось. Я не знаю, как это назвать, но мы оба испытали это чувство и состояние — когда словно спишь и во сне тебе снится, что ты стоишь двумя ногами на двух плотах, и они расползаются в разные стороны. Замутились тылы, зароптали индейцы, армия. Мы оба понимали, что без меня ему не удержать Перу, а он, наоборот, хотел просить, чтобы я помог ему солдатами, отдал часть Эквадора, провинции Кито. Меж тем как мои солдаты и генералы давно мечтали вторгнуться в перуанские земли без аргентинцев, добить испанцев, а кое-кто — что греха таить — пограбить богатые клады и патио всех этих королей картофеля, табака, маиса, их слуг и крестьян, потомков инков и

Писарро. Я и сам мечтал о Перу. Я не знал, как мне быть.

Я не знал, как мне быть, ибо в этом положении отказаться от славы и уступить ее Сан-Мартину было бы особенно сладостно для души. Я знал, я знал, что трудно было бы только одно — решиться, а сделав дело, я испытал бы и радость и облегчение. Разве я и так уж не на вершине славы? Но нет. Нет. Что-то жгло, пылало в душе, я не находил решения. Хотя знал, как и он, что вдвоем нам не быть в Америке, это невозможно для этой земли и для нас самих, как руководителей, ныне понимающих и страну, и дело, и свои полуиспанские, полуамериканские души.

Я не имел решения, и, однако, я действовал так, будто имел его. Не часто в жизни бывал я в столь сильном разладе с самим собой. Бывало ведь в жизни всякое, и всегда я искал спасения в действии, в подвиге, и находил, находил его, это спасение. Ныне же было иначе. Я думал, что не имел решения, и имел его, и все-таки не имел — и слова мои и приказы, помимо всего такого в душе, выговаривались и пелись твердо и недвусмысленно. Одиннадцатого июля я прибыл в Гуаякиль с солдатами, и на фоне лазурного моря, палящего зноя и темных пальм объявил собравшимся жителям и властям, что беру территорию под свое покровительство. Между тем именно эти земли просил Сан-Мартин, они были нужны ему как плацдармы. Двадцать шестого июля двадцать второго года пришла «Маседония» с Сан-Мартином. Я, разумеется, встретил его как надо, но в самом начале были принужденность и скованность у меня в манере, в лице, в поведении. Я это чувствовал, и ничего не мог с собой сделать. Сан-Мартин оказался именно таким, как я думал о нем: высокий, степен-

ный, с красивым тяжеловатым носом, с прочувствованным грустным взором, полный достоинства, скромности и усталой, признательной доброты. Я внутренне придирался к нему и должен был наконец признаться, что придираться не к чему. Но душа моя бунтовала. «Как? — думал я.— Уступить дело жизни, отдать свой огонь, свое дело, свое дитя этому аскетическому папаше, этому покорному сыну масонской ложи Лаутаро, послушному агнцу комнатного политика Бернардо Монтеагудо — некоего пророка, незримо, неслышно стоящего за спиной военной звезды «Короля Хосе», как уже зубоскалят о Сан-Мартине в Перу? Как будто я сам не политик, не воин».

Он, наклонившись и сдержанно улыбаясь в усы, говорил, что благодарит меня за прием и желал бы лишь отдохнуть с дороги. Я вымолвил что-то высокопарное и нескромное.

Когда мы уединились и отослали секретарей, адъютантов, присных и прочих, мы сели за стол друг напротив друга и долго молчали — так долго, что становилось неловко. Чего я ждал? Что было в моей душе? Быть может, я инстинктивно ждал какого-то чуда, которое спасет меня от ответа перед собой.

И оно пришло.

Впрочем, он был со мной жесток, этот Сан-Мартин; он, все внешнее взяв на себя, не пожелал снять груз с моей *души* — оставил на ней незримую тяжесть и цепи.

Помолчав сколько надо — чувствовалось, что он-то не испытывает никакого смущения и *ждет сознательно*,— он спросил:

— Господин Боливар, вы ничего не имеете сказать мне?

Он спрашивал как учитель школьника; я почувствовал, что краснею. Вся моя взрослость, весь опыт,

приобретенные за последние годы, падали перед этим спокойным взглядом человека, который будто знал все, что я, и что-то еще сверх того. Я ответил, краснея все больше:

— Нет, господин Сан-Мартин. Я жду ваших собственных слов.

Он флегматически усмехнулся и откинулся в кресле. В его лице я прочел, что он читает в моем лице решение дела — хотя я не знал, я не знал еще ничего о себе — и что разговор, к которому мы готовились столько времени, по сути, окончен и остается только перевести его в материальное слово. Без этого тоже было нельзя: мы были политики и военные.

Он после новой паузы четко и медленно, как бы скандируя, как бы не от себя, произнес:

— Ваши адъютанты, помогавшие мне выходить из лодки, поздравили меня со счастливым прибытием на колумбийскую землю. Значит ли это что-либо? Или это инициатива адъютантов?

Я не хотел отвечать так прямо и холодно; сердясь, возразил:

— Приступим к делу, дорогой Сан-Мартин.

— Но разве я говорю не о деле?

Что тут поделаешь с этим богословом? Он смотрит тебе в глаза и читает душу, и ты смотришь и тоже читаешь, но все равно тебе хуже, потому что та правда, которая подразумевается в этой встрече,— не за тобой. Но и не за ним же?

И тут он сказал:

— Я не буду вас мучить, Симон Боливар. Мы не на исповеди, мы военные, и я понимаю вас и ваше раздражение. Вы сейчас увидите, что разговор наш будет и деловым, и коротким.

Тут на лице его вдруг изобразилось смущение,
 которого не было раньше. Теперь-то я понимаю суть,

смысл его: как человек скромный и в то же время втайне неизмеримо более гордый сердцем, чем я, он не терпел внешних жестов и сильных фраз, а ситуация была именно такова: он нравственно «убивал» и одновременно неслыханно, неожиданно возвеличивал меня одним эффектным словом, одной краткой фразой. Ему неприятно было, что так получалось, что к этому подвела ситуация.

Он сказал, тоже краснея — ему неловко было от своего нравственного величия, от своей скрытой гордости (две стороны одного) и от того, в какое положение он поставит меня:

— Я подам в отставку, Боливар. В Испанской Америке не будет двух Освободителей.

Я сидел озадаченный, оглушенный; я не ожидал этого. Да, я не ожидал этого. Теперь-то я понимаю и то, что творилось в моей душе. Я не в силах был сделать то, что он, но и не предполагал, что он в силах; я ожидал споров и обсуждений, и — как знать? — я, быть может, втайне надеялся, что эти обсуждения приведут к прямой ссоре и тогда все упростится, облегчится; но ныне? теперь?

Я молчал подавленно, глядя на Сан-Мартина и не в силах произнести слова, которые следовало бы произнести: «Нет, что вы, я сам, я сам подаю в отставку». Слова эти были бы очень выигрышны: я видел по Сан-Мартину, что слово его обдуманно, твердо и ясно, и мой ответ принес бы мне славу без платы: он все равно не согласился бы на мой уход. Но я не мог на искренность и величие отвечать чем-то мелким: я не чувствовал в сердце той твердости, что была у него. Мне по-прежнему все казалось, что Америка без меня, именно без Боливара,— никуда.

— Я способен понять ваши чувства,— после молчания глухо проговорил Сан-Мартин.— Мне тоже не-

просто далось мое решение, а вас я, вижу, застал врасплох. Но вам не следует сомневаться. Да вы и не сомневаетесь, по-моему, просто вам неловко. Вы именно тот человек, который еще нужен Америке, этой земле. Скоро вы сами убедитесь в некоторых вещах, которые мне уже понятны — я старше и опытней вас,— но не о том сейчас речь. Речь о том, кто больше нужен Америке — я или вы. На данный миг времени — вы. Вы, ибо я вообще уже не могу быть полезен ей. Это долгий разговор, но тут можно и не говорить долго. В Аргентине снова гражданская война; правительство требует, чтобы я вернулся для подавления мятежников. Но я не подниму шпагу на своих братьев, единственное, что я мог себе позволить — это убивать испанцев, поработителей. Но и это, как видите, не привело к желаемым результатам.

— Вы против насилия? Против крови? — неожиданно спросил я его, усмехаясь.

Он посмотрел на меня пристальнее, чем прежде; думаю, если у него и мелькнула мысль, что я понимаю его, как и он меня, так это было именно в то мгновение.

— Это долгий разговор,— наконец отвечал он; вся наша беседа шла в неких паузах и вглядываниях друг в друга.— И мы здесь не для этого. Да и вы сами, наверно, знаете, как трудно ответить на ваш вопрос.

Я продолжал усмехаться и все же напирал:

— Но надо же оказать сопротивление насилию? И как обойтись без потерь? Вы — военный, вы сами знаете, что сопротивление непротивлением, кротостью и любовью — это фикция. Тут заменены слова. Это не сопротивление, а смирение, и это разные вещи. Зло подавляется только средствами зла же —

насилием, кровью, и надо отдать себе в этом отчет. Или отдать землю, земную жизнь во власть безраздельного и ненарушаемого зла — зла без борьбы против него. Не борясь за свободу, человек не будет свободным. Идя по логике кротости и смирения, быстро придешь к мысли, что только зло естественно и законно на этой земле; ибо всякая борьба против него смирением — то есть добром — есть не борьба.

Я нарочно вдался в абстрактные сферы: передо мной сидел человек, понимавший этот язык.

Я кончил, но он еще смотрел на меня, как бы ожидая, что будет что-то еще; потом усмехнулся, потупил взор.

— Заметьте, что вы постеснялись ответить на мой невольный вызов тем же, но ныне вы, сами того не желая, боретесь против моего решения и, таким образом, против себя.

Начал он с добродушной, спокойной улыбкой, но последние слова произнес уже в какой-то задумчивости, как бы переходя от своей душевной реакции на мою речь к самой моей мысли.

— Заметьте также,— продолжал он,— что я не задавал вам никаких вопросов, и, таким образом, вы отвечаете скорее самому себе, чем кому бы то ни было. Но ваша мысль в той форме, как она была выражена вами, все-таки убеждает меня, несмотря на сказанное мною выше, в верности моего решения. Вы уже задали себе роковой вопрос.

— Стоит ли свобода стольких потерь, убийств? — не удержался я.

— Даже одного убийства,— спокойным и обыденным тоном перехватил Сан-Мартин, подняв на меня ровный взгляд.— Но дело сейчас не в этом, и я — не об этом. Мои собственные убеждения на этот счет достаточно больны и противоречивы. Видимо, тут

нет однозначных решений. Чувство справедливости живет не отдельно от нас, а у нас в душе, и справедливое решение — это то решение, которое принимает в данной особенной ситуации данный особенный человек. Если пьяный разбойник заносит саблю над головами детей, доверчиво глядящих на радужный блеск оружия, я никогда не задумаюсь, спустить ли курок. Но речь сейчас не об этом. Мое решение продиктовано не моими убеждениями, которые на данный момент в глубоком тупике, а моим внутренним чувством, тем самым чувством справедливости, как я его понимаю, конечно. И оно подсказывает мне, что вы — более подходящий человек, чем я.

— Но почему?

Злость моя на него давно прошла — не скрою, что тут сыграли роль и его слова! — но я продолжал ощущать неловкость и стыд. Кроме того, меня угнетал его педагогический тон, желание заглянуть куда-то, куда никому не было ходу, даже мне самому.

— Несмотря на то, что вы уже задали себе тот вопрос — как, видимо, и другие вопросы,— и будет время, когда эти вопросы отомстят вашей военной славе и вашим внешним успехам — но это особое, и я не хочу об этом! — вы тот человек, который еще нужен Америке. Вы сами отлично видите разницу между нами. Вы талантливы, веселы, раздражительны, влюблены — ах, эта Мануэлита! прелесть, прелесть! — вы еще живы. А меня слава не волнует. Нет, пожалуй, волнует, но я ничего больше не сделаю для свободы Америки. Вам еще жить и действовать. И напрасно вы раздражаетесь и смущаетесь: ничего. Вы верно чувствуете: вы сейчас нужнее, чем я. В вас еще много жизни.

Я долго молчал; различные противоречивые чувства боролись во мне.

— Давайте обсудим детали,— чуть помолчав, посмотрев на меня, промолвил мой собеседник.— Впрочем, какие детали? Тут суть не в них. Но нельзя же нам разойтись так быстро и тем разочаровать адъютантов и генералов, выстроившихся там в очереди к замочной скважине.

— Вы все же не очень правы насчет меня. Вы жестоки. Вы пуританин,— сказал я с усилием.

— Я только масон, да и то не ортодоксальный,— отвечал он со скромной и при этом несколько самодовольной улыбкой.— Да. Ну так что же? Мы еще поговорим, а после проведем еще несколько разговоров. Пусть ритуалы будут соблюдены, и пусть историки погадают, о чем шла речь. На мою скромность можете положиться.

Я тяжко молчал; невыносимую сиротливость чувствовал я в болящем сердце. Прорвавшееся чувство самодовольного и скромно-гордого превосходства в словах Сан-Мартина, мое собственное малодушие и одиночество, моя Америка с ее одинокой свободой — это беззащитное и трагическое дитя, которое ныне некому защитить, кроме меня, до которого никому нет дела, кроме меня,— неожиданная и горькая мысль о Миранде, покинувшем нас, как и Сан-Мартин, и, по сути, преданном нами; страшная и неожиданная тяжесть на сердце от своего одиночества и невыносимого груза, легшего на одни мои плечи,— им хорошо, они уходят чистыми! — тяжесть вместо ожидаемой радости, легкости светлой и нераздельной славы, и все-таки отблеск и свет этой самой славы и тихого ликования — все это волновало мне душу.

На пире я вел себя нескромно, плясал не в меру, произнес тост за «двух самых великих людей Южной Америки» — который мой гость тотчас же

холодно и спокойио парировал правильным тостом «за быстрое окончаиие войны, за рождеиие новых республик и за освободителей, за героев Колумбии»,— много пил и на людях обнимал Маиуэлиту.

Ои вскоре уехал, и немедлеино из Лимы пришло известие о его отставке.

Ои отбыл иа родину, в Аргеитину, ио иедолго пробыл и в Аргентиие; ои предпочел Европу — Фраицию.

Когда он уехал, я долго бродил по комиатам своей резидеиции и не находил себе места; не хотелось ничего делать. Время от времени я ловил себя на приятиой и сытой мысли, что я теперь — один на всю Америку южнее Карибского моря; в другие минуты эта же мысль страшила и угнетала меня.

И чувствовал я, что близок к своему обычному: действие, действие, действие.

Антонио меия спрашивал, чем я недоволен, ведь все в порядке; я пе мог вразумительно объяснить. Спокойный и виутреиие твердый, Сукре недоумевал.

Маиуэлита сказала, что я, конечио, устал, но что я должен помиить, что я — Боливар.

Я помию.

ПЯТАЯ ГЛАВА

1

На следующий день после возвращения от Текендамы Боливар встал поздно — плохо спал ночь — и вышел на крыльцо (блеснули солнце и синь) и далее — к тем же воротам, к которым вчера подводили коня. Он вышел из арки; снова, как много раз, толпились гвардейцы, похожие в своих мундирах на индюков и на петухов, снова храпели, хрипели кони в сверкающем, переливчатом снаряжении; снова бегали адъютанты и денщики. Увидев Боливара, многие подтянулись, умолкли, другие тут же вскочили в седло, третьи пошевелились, приближая к себе коней или перехватывая их за узду; все постепенно умолкали и начинали смотреть на него: уже? все?

Он молча и безучастно посмотрел на это блестящее и пестрое стадо людей, лошадей, чуть вздохнул и ушел назад в патио; там он сел на лавку у ветхого каменного крыльца и задумался, казалось, позабыв обо всем. С этой лавки не было видно города — мешали стены; но это было и хорошо, ибо ничто не отвлекало и перед глазами безоблачно, ярко, сине и дымно стояла вчерашняя Текендама, белый, зеленый,

багряный ее туман и прах. Природа — свет или природа...

Он встал, вздохнул, непроизвольным движением провел по груди и сказал:

— Да. Да.

Он снова пошел к воротам, а к ним уже подводили белого танцующего коня.

2

Положение было плохое. Сан-Мартин, подавая в отставку, правильно оценил безнадежность дела свободы без новой большой крови. Боливар же, оставаясь «один», кроме всего прочего, правильно понимал всю незавидность такого единодержавия на данный момент — весну 1823 года.

Главное было — Перу, которое, как гангрена, теперь угрожало всему организму Великой Колумбии.

Никто, как Боливар, не понимал, что испанцы, имея в горах страны инков столько войск, не преминут объединить их в одно и двинуть на север, поднимут индейцев и партизан Патии, соберут попов. Тогда будет поздно. Надо было бить их на месте, без промедления, срочно. Тем более что они раззадорены диким разгромом, который успели учинить аргентиночилийским армиям, раздражены успехами Боливара, быстрым продвижением его войск на юг и поэтому будут особенно злы, сосредоточены и жестоки. Теперь, после похода колумбийцев на Кито, испанцы слишком явственно и свежо ощутили опасность, чтобы млеть, медлить и ждать перемирия.

Небольшая армия во главе с Сукре тотчас же выступила на юг. Но Боливар не мог повести на испан-

 цев главные силы, ибо конгресс Боготы, вдохновляе-

мый умным Сантандером, не помогал Перу и испытывал раздражение против Боливара. Все война и война — беспросветная, увязающая. Плевать нам на перуанцев — пусть сами пошевелятся ради себя; пора нам заняться делами родины — Новой Гранады, выбрать спокойное, деловое правительство, наладить торговлю, послать к черту маньяка Освободителя. Пусть, пусть он выступит самовольно в Перу: ему не привыкать стать; но и конгресс тогда волен освободиться от Освободителя. И солдат ему не давать.

Боливар писал Сантандеру: «...я применил суровые меры для сбора людей и денег на перуанскую экспедицию. Это было сплошное насилие. Чтобы заполучить три тысячи рекрутов и двести тысяч песо, пришлось опустошить города и деревни. Я сам знаю границы насилия; их мы переступили. В Кито и Гуаякиле мы ловили людей на улицах и в церквах. Деньги добывали штыком. Местные люди не привыкли жертвовать собой и считают себя в безопасности, если фронт находится в трехстах милях от их жилья... Если я прошу у правительства помощи, то потому только, что иного выхода нет».

Сантандер тянул.

Верный товарищ Сукре тоже говорил, что Перу не вытащить — только погибнут люди и деньги; лучше заняться своими делами.

Испанцы разбили перуанскую армию.

Новый лимский президент и полный страха конгресс предложили Боливару не только все командование, но и всю власть в республике; пришло разрешение и от собственного конгресса. Много времени было потеряно, но все же Боливар явился в Лиму.

У него под командой было пять тысяч солдат, у испанцев в Андах — около двадцати тысяч.

При этом его мучила лихорадка, в Кальяо же — в

тылу у столицы, под боком — поднял бунт аргентинский гарнизон.

10 февраля 1824 года конгресс в Лиме провозгласил Боливара диктатором с неограниченными правами. Правда, все понимали, что в нынешней ситуации мало нашлось бы людей, которых прельстил бы такой почет и власть.

Сукре был прекрасный военный и верный малый, но сердце его в последнее время было не на месте. Боливар порой понимал, что творится с ним, но писал ему в штаб, в Трухильо, твердо, сухо, официально: «Конфискуйте все необходимое для армии. Не стесняйтесь, будьте решительны и беспощадны, когда речь идет о благе родины. То, что не сможете взять, уничтожайте. Нас должна отделять от испанцев выжженная земля».

Испанцы спустились с гор и одним ударом забрали Лиму.

Сукре в своем Трухильо приуныл и тихонько просился домой, в Эквадор и Колумбию; но не таков был Боливар. Неизменно опустошенный и вялый после побед и возни в городах с конгрессами, генералами и городскими властями, кабильдо, он оживал — и вновь ожил — при живой и свежей опасности, он раздувал паруса и шел напролом с фанатической и беспечной верой в удачу и интуицию. Он требовал от Сантандера армий, от Сукре — стойкости в этой трясинной, болотной беде, от солдат — терпения и упорства:

— Еще одно, последнее, да, последнее, да, последнейшее усилие.

Действовали убийцы-наемники. Пришлось устроить блуждающее правительство, как на Ориноко. Солдаты роптали из-за неуплаты денег. Он реквизировал церковную золотую утварь, пустил с молотка

 правительственные поместья, конфисковал собствен-

ность испанских семейств и предателей, мобилизовал женщин к шитью мундиров и прочего снаряжения, заставил детей собирать железо — старые гвозди, подковы, жесть, подносы и обручи. То и дело можно было слышать его визгливый, режущий голос:

— Войну не делают из любви к господу богу. Будьте жестоки. Дисциплинируйте солдат. Если нет достаточно ружей, вооружайте людей пиками. Третий и четвертый ряды бойцов, вооруженные пиками, могут принести большую пользу... Я сам видел. Когда те возвращаются, выстрелив и приняв первый штыковой удар, вдруг выходят эти — с легким и длинным оружием... В бою среди новичков бывают большие потери. Если хотите иметь тысячу солдат, мобилизуйте пять тысяч... Перу мы будем защищать даже зубами.

Стали прибывать подкрепления из напуганной наконец Колумбии; помогли индейцы, которым Боливар раздавал земли.

Вскоре армия выросла до десяти тысяч.

Силы испанцев были еще сравнительно рассеяны; следовало немедленно выступать.

В июле армия двинулась в горы. В авангарде был Сукре, во главе основных полков — сам Боливар. Как и всегда под сенью своего господина, Освободителя, Антонио воспрянул духом; все было ясно, ясное было дело, и за спиной — Симон.

29 июля, пройдя свирепые ледяные хребты, армия вышла на плоское парамо близ вершины Паско. Боливар устроил смотр.

Вся Америка, весь мир добивал врагов великой свободы. Здесь были люди из всех провинций и городов, из Европы и из далекой Московии, из Африки и Соединенных Штатов.

Через несколько дней они в полном молчании и без единого выстрела бились в долине Хунина; стоял

равнодушный, густой и хрусткий треск стали; Фернандо, орудуя копьем и ножом, чувствуя в душе спокойную злобу и некую решительную усталость, уложил человек двенадцать; почти все начальники крутили шпагами, палашами в гуще сражения; Мануэлита, в штанах и мундире, лезла куда не просят, таскала раненых и, взбудораженная и красная, срезала две усины у мертвого годского офицера и приклеила смоляным раствором себе надо ртом; Боливар в ярости оборвал все это с ее лица.

Испанцы были разгромлены и бежали.

Вскоре вновь была собрана королевская армия; было двенадцать тысяч. Боливар освобождал Кальяо и Лиму, один на один с испанцами оставался бессменный Сукре. Армия шла на армию; не было смуты, мглы и тумана, было ясно, что делать. Людей у Сукре было гораздо меньше, чем у испанцев, он долго отступал в поисках удобного плацдарма — и наконец нашел его невдалеке от Куско, при Аякучо.

Слово это на языке инков значит — «угол мертвых».

Оно вошло в торжественную историю Южной Америки.

Перед сражением из рядов обеих армий, противостоящих друг другу, вышли родные и близкие и простились друг с другом: одни умирали за бога и короля, другие — за свободу Америки.

К удивлению всего мира и самих испанцев, патриоты, без артиллерии против артиллерии, в численном меньшинстве и измотанные переходами, наголову разгромили испанскую армию; и Боливар, получив эту весть, провозгласил Антонио Хосе де Сукре маршалом Аякучо.

Это было вроде подарка к тридцатилетию Сукре.

Это было в декабре 1824 года.

Больше в континентальной Америке не было регулярной и целостной армии Великой Испании.

Рассказывает Сантандер

Я не буду повторять своих мемуаров. В них изложены факты и последовательность моего участия в освободительной войне, в том числе и мои отношения с Симоном Боливаром в их внешнем виде. Все это известно. Я думаю о другом — о внутренней стороне этих отношений.

Я помню Боливара с самого того дня, когда он примчался, как взмыленный, в ту деревню, Ла-Грита, в 1813 году, в начале «славной кампании», и застал меня двадцатилетним юнцом, студентом, ушедшим в армию и произносящим красивую речь перед группой солдат, которыми я командовал. Он заорал, чтобы я немедленно выступал, и я немедленно же и подчинился. Дело было не в том, что ему было тридцать, мне — двадцать; впоследствии мы достигли возраста, когда разница в десять лет уже не имеет существенного значения. Дело в том, что в Боливаре, в его личности и манере, были особая убедительность, обаяние; правда, он часто говорил трескучие речи, позировал, как это свойственно людям испанской крови, раздражался и лгал по мелочи, причем все это видели, и это только подчеркивало его природную искренность,— но часто внушал любовь и даже, я бы сказал, умиление. От него, я повторяю, исходили особые флюиды, душевная убедительность; я не раз говорил и сейчас повторю, что с ним невозможно было сражаться лицо в лицо; он смотрел на тебя, и ты уступал ему. У него в лице вечно было написано вот это: я знаю, я знаю истину, и надо спешить, спешить, а ты

мешаешь, ты топчешься под ногами; ну как мне тебя убедить? — и это выражение, эта манера его убеждали.

Но дорого стоила нашей земле, нашим странам его эта убедительность. Я не люблю Боливара, и он не любит меня: мы слишком душевно противостоящие люди. Это, вероятно, наложит свою печать на мои слова. Но что же делать — ведь я не могу же быть кем-то иным, чем я. Я убежден, что высказываю чистую истину. Предупреждаю же о своей нелюбви лишь на всякий случай: по чувству долга, для той же истины.

Я сознавал все безумие того, первого, перехода затопленных льянос и Кордильеры в районе Писбы. Он шел одним путем, я другим. Когда мы встретились там, у Касанаре, я видел, как утомлены его люди и как им трудно придется в горах. Я не одобрял этого авантюристского трюка: не говорить полкам, куда их ведут. Это, конечно, предотвратило ропот и разложение армии, но как-то это... не то. Все это видел я. И молчал, как молчали и другие; мы понимали, этот поход необходим, каждый человек раз в жизни совершает такой поход, и никто лучше Боливара не подходит на роль главы подобного предприятия. Мы прошли, и мы победили. Этот поход был вершиной Боливара, зенитом его, его совершенным произведением (совершенным именно для него, для его манеры жить). Вся сила и все пороки его натуры сказались в этом походе. Сколько он зря погубил людей! Какие мучения! И все же в конечном итоге — не зря, ибо мы победили, а могли и не победить, и победили все-таки с меньшими жертвами, чем если бы маневрировали и воевали с той армией года два-три-четыре (как делал, например, Сан-Мартин). И какой восторг, какое воодушевление было в людях!

Но все это хорошо один раз, и люди не могут жить на одном лишь нервическом напряжении. Время от времени им нужно показывать и самую цель, а не только стремление к цели. Боливар не понимает этого. Он — фанатик, герой, а большинство людей не герои, а просто люди; он — политик, и удивительно острый и дальновидный,— во всем, кроме одного: он невольно переносит свойства своей кипящей и ненормальной натуры на всех людей, а люди совсем другие. В них всякий порыв проходит, они устают, и они вспоминают — о Пользе. Даже Руссо, «Общественный договор» которого он вечно возит с собой, понимал это; но мы, к сожалению, выбираем у философов только то, что созвучно нашей природной натуре.

Боливар и ранее был словно безумен, но после похода в Анды он просто воистину сошел с ума. Безмерное честолюбие, властолюбие и даже не только это, а — как бы это сказать? — какое-то странное и сверлящее, беспредметное беспокойство грызли его и влекли все вперед и вперед, все в войну и в войну; он любит цель своей жизни — свободу и единство испанских колоний — как женщину, как ребенка; его чувства к реальным людям — к Мануэлите, к Сукре — как-то печальны, им не хватает тепла, постоянной полноты и ровного света; он мучается, он страдает от этого, он понимает, что одинок, как волк — и ничего не может с этим поделать. Эти люди — Сукре, Мануэлита — ему нужны, но он иссушает их, как вампир, и сам бредит во сне от этого, но бессилен справиться с этим. Да, он любит абстрактные вещи — человечество, свободу родины, славу — как-то телесно, физически, как женщину, как сына или как дочь — к несчастью. К несчастью, ибо, люби он меньше, он меньше принес бы страданий предмету своей любви — своему отечеству. Ему ничего не стоит

потребовать расстрела Миранды или Пиара, или кого угодно, ибо между его глазами и тем, на кого он смотрит,— его маниакальная любовь к неощутимому. Я сам испытал на себе могильный холод его «великого гнева», но то уж было другое время, и сам он был другой. Иной человек видел бы, на его месте, лишь лицо друга, глядящее на него молчаливо и моляще; и сам он в иное время — когда не задет за живое в своих идеях — может быть добр, как дитя. Но обычно для него не существует жертв, сомнений. (Я говорю о прежнем Боливаре; теперь он меняется, и это особая тема.) Опасность всего такого вот в чем. Когда человек направлен на истинно благородную цель — например, изгнать деспотов из своей страны,— то все это хорошие качества; но слаб, слаб отдельный человек, сложна, прихотлива мета его судьбы, и горе согражданам витязя, у которого незаметно сменилась линия пути. Знаете, как гадание по руке: иногда идет, идет линия и вдруг — оборвана не оборвана, а как-то тут же, на месте сменилась другой, и гадалка (мне так гадали раза два-три) не знает, как быть, что делать.

Горе витязю, у которого линия свободы сменилась на линию беспокойства и славы. Я, может, особенно здесь несправедлив; я всегда понимал, что Боливар, как всякий верховный деятель, не до конца властен над своими поступками и делами, что есть незримая необходимость, напирающая со всех сторон и сжимающая человека в кольцо; для прочих-то видимость, что решение принимает он, и лишь он один знает об этом незримом, но ощутимом давлении сверху и снизу, справа и слева того объема, невидимого сосуда, в котором живет он. Все так; и я вечно завидовал, сознаюсь, этому умению Боливара весело и легко идти навстречу судьбе, принимать ее решения за свои и

всегда в роковую минуту выбирать — действие, действие, действие, без зазора, без этого воздушного промежутка меж зовом, самим этим зовом судьбы и свершением. Я не мог. Я вечно был слишком разумен, во мне не было этой гармонической равнодействующей всего давления сверху, снизу, со всех сторон, гармонического импульса как стройного результата воздействия тех подземных сил. Во мне всегда присутствуют и другие решения, импульсы, равновесие нарушается, приходится делать чисто волевое усилие; нет той естественности действия, как у Боливара. В мою кислоту всегда подбавлен шипучий и горький натрий. Все так, все так; я понимал, что Боливар во многом, по сути, не волен в своих поступках, что Кито следовало добить, что следовало ударить на армию в этом Перу — иначе она сама бы ударила на север — и истребить партизан и так далее; и все-таки он тут перешел невидимую границу. Я завидовал его славе, непроизвольно сопротивлялся ей, мешал ему действовать, и все-таки было чувство, что слава его надорвана внутренне и что я не только мешаю славе его, но тоже выполняю какую-то волю рока. Да, я не только говорил это — это само собой,— но я зачастую и чувствовал это.

Вся цепь событий после Перу подтвердила мои ощущения и догадки. Вот они, эти события; они проходят передо мной в своей неприкрытой истине, и не нужно особой мудрости, чтобы разобраться в них. И дело не только в том, что он предпочел славу свободе; нет, я неточно выразился раньше. Это в общем верно и в то же время неверно, это настолько переплелось, проросло у него одно в другое, что стало немыслимо отделить; но сила истинного политика как раз в умении инстинктивно отдавать себе отчет в деле и не путать все эти вещи. Он может выбрать

славу и эгоизм, но все же — не путать, не путать это с добром, справедливостью и свободой; мало того, побеждают, как правило, именно те, которые четко проводят эту границу и выбирают первое — эгоизм (хотя, бывает, делают это бессознательно и утешают себя и других какими-нибудь туманными доводами); другие — выбравшие добро, справедливость — обычно действуют лишь в короткий и патетический отрезок времени, а после сходят со сцены — чаще всего погибают, оставляя по себе благодарную память. Но горе тем, которые спутали. Которые спутали не в уме, не в лукавом рассудке, а там, в душе, в глубинах души — там, где, собственно, путают уже не они, а сама природа, что ли — как вам угодно. Я не был таким политиком; я выбрал эгоизм, разумно сочетая его со спокойствием и хотя бы относительным наведением порядка в этой стране, неспособной к счастью более, чем весь остальной мир. Впрочем, это я тоже сказал по-боливаровски. Весь мир — такой же, но только лишь в меньшей иль большей степени, чем у нас; нам бросается в глаза, что есть более благоустроенные страны, и мы в своем ревнивом ослеплении забываем о тех, о вторых — менее благоустроенных. Боливар — был. Он — спутал и гибнет поэтому.

А теперь о событиях.

После победы Сукре при Аякучо большая война окончилась. Добивали Оланьету, брали Кальяо и прочее, но это уж действительно были осколки, обломки, как выражался Боливар. Однако же новая, страшная и незримая опасность нависала над его беспечной головой,— а он и не подозревал, разъезжая по всем провинциям, принимая венки, подарки и тут же раздаривая их своим генералам, сподвижникам и кому придется. Как было не понять? как было за столько лет не понять ему, что Америка не любит своих побе-

дителей. Эти богатые по природе, но бедные, жалкие, эти несчастные земли, эти льянерос, индейцы и горожане! Они вечно ждут чуда, ждут манны небесной и каждого победителя принимают за господа бога. А он не господь бог. Победили испанцы — долой испанцев, ведь мы снова голодны и раздеты, и без земли, и мрут дети; освободил, победил Боливар — страна была страшно разорена войной, прекратилась торговля, погибло больше миллиона местных жителей, были разрушены города, заброшены порты и прииски, захирели ремесла, были забыты поля, народ разленился и оторвался от почвы, привык к дикой жизни и легкому пиру. Все это неминуемо должно было произойти, и Боливар понимал это и принимал меры, но все же был легкомыслен в своем ослеплении грандиозностью проделанных им (им?) дел.

Вместо того чтобы заняться действительно безотлагательным и насущным, он был полон новых испепеляющих планов. Он толковал о «последнем усилии», которое состояло бы в том, чтобы объединить всю полуденную Америку против Северных Штатов; как тут сказать? в идеале он был опять прав. Северяне с большим беспокойством смотрели на наше объединение (как, кстати, и Европа, чего недооценивал Боливар, хотя обладал глубоким и острым политическим умом; ну тут уж моя слабость — чрезмерная осмотрительность). Они весьма желали бы слопать нас, пока мы еще молоды; им не хотелось, очень им не хотелось иметь под боком объединенную мощную Южную Америку. Он бредил Бразилией («уничтожим монархию»), Мексикой, Чили, Кубой. Все это было верно по крупному счету, но на деле, на данный момент, иллюстрировало лишь зыбкость, несбыточность главной мечты Боливара, мечты всей его жизни: свободы и одновременно — единства Южной Америки. В каж-

дой крупной мечте есть какая-нибудь вот такая скрытая несоединимость. Планы Боливара были прекрасны и грандиозны, как многое в его голове, как пики хрустальных вулканов у Кито; но за этими планами он забыл о народе этих несчастных стран — о народе, который устал от испанцев, освободителей и от войн, хотел пахать землю, возить на Кубу тасахо для Европы, рожать детей и дремать под пальмами; а этого не следовало забывать. Я сам не люблю народа, и доконали Боливара не индейцы, торговцы и не льянерос, а мы, политики, генералы и прочие рыцари эгоизма, корысти, тщеславия, беспощадности и обмана; но если бы он не носился со своими не совсем пустыми, но вовсе далекими, мировыми химерами, а вспомнил о т о м, судьба его, возможно, была бы не так скромна при конце ее.

Он послал сенату Колумбии и конгрессу Перу торжественные отставки со всех своих диктаторски-президентских постов: что-то беспокоилось в нем, он хотел, чтобы совесть была чиста, чтобы он не нарушил клятвы Освободителя. Ведь он обещал, обещал не раз, что в конце войны сложит с себя все свои блистательные полномочия; и не раз демонстративно пытался сделать это, но каждый раз в такой ситуации, когда это было невозможно: среди победы и блеска славы. Справедливости ради надо напомнить, что в поражении и беде гораздо легче почти для всякого сердца просить об отставке, чем в дни победы; но не таков Боливар, его приходится судить иначе. Он прирожденный боец и в беде он весел, ему, по сути, не стоит никакого труда оставаться мужественным — это его естественная стихия (правда, не в последние дни; но это — опять — особый разговор). А в дни победы он подает в отставку, зная, что шансы ее приятия — наименьшие. В сущности, как это ни странно звучит,

от него (именно от него) потребовалось бы гораздо большее мужество, чтобы уйти с арены в беде, в безнадежности — то есть реально, по-настоящему уйти с арены,— чем сделать такую попытку в блеске славы, когда такая попытка несерьезна. Так было и на сей раз; он долго упирался, но оба собрания, сенат и конгресс, там и там, разумеется, подняли крик о том, что без Боливара всю Америку и весь свет ждет немедленная и жалкая гибель. Он остался у власти, хотя, надо признаться, я не видел в лице его в эти дни особого торжества, а видел следы какой-то борьбы.

Он немедленно вновь взыграл духом, подтвердил отмену рабства, хотя у крестьян по-прежнему не было земли (у тех, кому досталась в ходе войны, давно скупили богатые), отменил принудительный труд индейцев на рудниках и в других местах (хотя им все равно было негде заработать на хлеб, кроме как там же) и провозгласил прочие высокие принципы; он объездил с Родригесом — своим старым учителем, руссоистом и вольтерьянцем — страну и в полную меру насладился и принял восторги и поздравления; он опять почувствовал свою власть и упорнее заговорил о войне с теми и с теми; тут-то и надвинулись более густые тени.

Наконец, он начал носиться с конституцией Горного Перу, или государства Боливар[1].

С этой конституцией мы хлебнули особо. История ее такова.

Антонио Хосе де Сукре, ровесник мой, талантливый генерал, честный боец, преданный как собака Боливару (такие люди всегда кому-нибудь преданы, жить сами по себе они не могут),— решительно шел на

---

[1] Ныне Боливия.

Ла-Пас и думать не думал ни о какой независимости Горного Перу: для него само собой разумелось, что это будет еще одна планета около его обожаемого солнца — Освободителя. Но патриоты этих провинций потребовали учредительного собрания и уперлись на этом. Положение было двусмысленное: получалось, что освободители от испанцев снова насилуют освобожденных и навязывают свое, но ненужное патриотам счастье. Сукре к тому времени тоже как-то устал от всего этого — человек он, повторяю, честный, а все выходило как-то не так, не по совести,— объявил о созыве собрания. Боливар сначала бесился, а после вдруг и сам дал согласие. Что он думал при этом? Собрание собралось, торжественно провозгласило независимость Горного Перу, наименовало его Республикой Боливар и, разумеется, объявило последнего президентом; но только на те времена, когда он будет пребывать на земле республики. Так поступили эти доморощенные талейраны, фуше, меттернихи. Боливар — умный человек — не мог не проникнуть в суть их настроений, некоторое время дулся, пыжился и поглядывал на свои полки, впервые за много лет без дела топтавшиеся в казармах и лагерях, но вдруг к нему явилась депутация с предложением составить конституцию для новой республики, и он опять загорелся, как фейерверк в старом Версале. Он тормошил своих Сукре, Мануэлиту, О'Лири, Перу де ла Круа и других, писал письма Паэсу, мне и так далее — все распространялся о том, что раз никто не понимает его, раз все ссылаются на усталость и жажду мира, раз в людях потух огонь героизма, гражданства и вольности и никто не желает идти на Бразилию, готовить армии против Мексики и Соединенных Штатов и освобождать от монархов Европу,— так он поступит

 иначе: он покажет на примере маленькой республики

своего имени, как надо жить и строить свободу, счастье и благоденствие. Вновь полились речи, замелькали слова «Город Солнца», «вечная мечта человечества», Кампанелла, Платон, Фемистокл, Монтескье, Вольтер, Рабле и, разумеется, неизбежный Руссо. Он построит, он всем покажет, подаст образец. И первое, главное — разработает конституцию.

Боливар — типичный маньяк, когда он что-то забрал в голову, этого из него не выбьешь — это все знают,— и это тем более опасно, что народ доверяет его огню, его искренности, его умению «знать что-то», и поэтому его сумасбродные идеи приносят вполне реальные несчастья земле и странам. Поэтому мы даже рады были сначала, что он перескочил от Бразилии и так далее на свой Город Солнца: пусть себе колдует там, за горами. Не тут-то было!

В конституции были искренность, «романтизм» и бессознательная демагогия; трудно было распутать этот клубок. Мне было ясно, что все это очередная утопия и предлог для несчастий; но внешне все было очень красиво, и всякий взявшийся это опровергать оказался бы в невыгодном положении. Провозглашалось равенство граждан перед законом, гражданские свободы, республика. Образовывались три парламентских учреждения с громкими названиями сената, палаты депутатов, или трибунов, и палаты цензоров. Эти последние должны отвечать за духовное состояние нации, воспитывать молодежь и так далее. Все это был звук пустой в такой земле, как наша,— дикой, феодальной, первобытной, лишенной элементарных навыков цивилизации и демократии, не понимавшей абстрактных законов и правил и знавшей один лишь закон: плеть, мачете и пистолет. В такой земле вы можете вводить и придумывать какие угодно слова и названия — это ее не изменит; и «парламент»,

«сенат», «конституция» и прочие слова, всерьез воспринимаемые где-нибудь во Франции, здесь, в полуденной Америке, звучат лишь пустой насмешкой и издевательством над здравым смыслом. Горе тому мечтателю, который поверит в них здесь. Ему грозит немедленная и жалкая гибель. Надо уметь видеть эти слова, эти названия отстраненно, подразумевать под ними совсем иное, чем в Европе. Боливар держался все годы на своем военном таланте и умении обращаться с вооруженной массой народа; пока был поход, пока была битва, пока была ясная и прямая цель, он был на коне. И военный политик он тоже был умный, с широким диапазоном. Но время от времени, и особенно во времена мира, строительства жизни, ему изменяло чувство земли, чувство реальности. Он вспоминал свои европейские замашки, свою школу, и, вместо того чтобы применять эти свои познания с должной трезвостью, скептицизмом и учетом дела, он обрушивал их на головы бедных сограждан со всем своим пылом и торопливостью, лихорадочностью, полезными в молниеносном походе, ударе, но вредными в другом. Нетрудно было Руссо (как литератору, любимому мною так же, как и Боливаром), дискутируя с господами Дидро, д'Аламбером, отстаивать «естественные законы», ругать Париж, восторгаться природой и бедностью и вещать о равенстве. В центре Европы, в уютных салонах этого самого развратного Парижа, среди женевских и бернских пасторов оно приятно и безобидно. Однако же здесь — совсем другое. Но я все отклоняюсь от темы. Все это было хорошо, но, разумеется, совершенно неосуществимо. Равенство перед законом богатого мантуанца и дикаря-льянеро с копьем у седла и повязкой на бедрах вместо одежды? (К тому же и сам Боливар предусмотрел неучастие в голосовании неграмотных, че-

ляди, рабочих плантаций, так что конституция противоречила и сама себе.) Свобода печати в странах, где всякое печатное слово рассматривается как непосредственное волеизъявление великого нашего господа бога Иисуса Христа и девы Марии, а три четверти населения никогда не видели букв? Я сам за свободу печати, но это следует делать иначе. Республика там, где всю жизнь имя короля заменяло имя господа бога? Палата цензоров в странах с живыми традициями инквизиции? Много можно было бы задать подобных вопросов, но главное было еще не в этом. Главная сложность была в том, что Боливар — со свойственной ему внутренней алогичностью, раздирающей противоречивостью — предлагал пожизненного президента и вице-президента с правом наследования. Тем самым он ставил себя в положение не только странного мечтателя, но и человека, самолично подрывающего собственные идеи. Какая это республика — с пожизненным президентом? С правом наследования? Уж лучше, честнее сразу объявить монархию, диктатуру, империю или деспотию. Я-то понимал Боливара: он воспринимал свободу и единство Америки как свое кровное детище, больной и жилистой пуповиной соединенное с его собственной кровеносной системой, и был глубоко уверен, что только он и никто другой мог сделать для Америки то, что было сделано, и обеспечить ее ближайшее будущее. Как он мог отказаться? Как он мог иначе составить эту злосчастную конституцию? Но если теми ее пунктами он отталкивал от себя народ и страну — которые не понимали, чего от них хотят, — то этим он отвергал от себя людей мыслящих, своих же товарищей, республиканцев, рационалистов и вольтерьянцев. Он рубил под собою сук и не видел этого. Он писал мне письма, расхваливая свою конституцию и требуя пропаганды ее на весь континент;

а я испытывал сложные чувства. Я сам любил все те государственные формы и тех философов, коих любил Боливар; но я сознавал, что требуется спокойствие, скромность и хладнокровие, отсутствие лихорадки во всем. Я первый заметил, что Боливар губит себя — никто еще не мог подозревать этого, он был в зените славы, он разъезжал по странам, встречаемый толпами восторженного народа,— и я невольно радовался тому. Мне было неприятно его наивное честолюбие, тогда как сам я собственное честолюбие и тщеславие воспринимаю как тайный и мучительный порок, от которого я не могу отделаться, который и горек, и сладостен, и тяжел,— меня томила его веселость и цельность в жизни, умение забыться. Я не любил в нем то, чем не обладал сам, чем обделила меня природа; но неприязнь моя была неприятна мне, я старался быть честным. Я честно писал Боливару о вздорности его планов, его конституции и всего остального, но насмешка судьбы была такова, что он именно эти письма, могшие спасти его, если бы он отнесся к ним лучше, воспринимал как зависть, желание ставить ему палки в колеса, бесился, негодовал, требовал денег, мобилизаций и проведения конституции в жизнь не только в «государстве Боливар», но и в управляемой мною Новой Гранаде: зря он, что ли, нам подавал пример? Я невольно радовался такой его реакции на мои честные письма, но было и что-то нехорошее в сердце. Я сознавал все крепче, что близится его главное поражение и что я — несмотря на мои письма или в чем-то даже благодаря им — каким-то дьявольским образом ускоряю это поражение. Я чувствовал, что, когда я усвою эту мысль, я начну действовать против него более открыто: немыслимо долго хитрить с собою, когда-то придется ставить точки над i.

Как я говорил, внешне конституция звучала очень красиво, и боливийский конгресс, в присутствии творца, конечно, одобрил ее. Поскольку в то время Боливар был занят мировыми проблемами и ему было еще не до мелких дел своего образцового государства, в президенты временно выбрали Сукре. Он, надо отдать ему справедливость, упирался, наконец согласился повластвовать, но только в пределах двух лет. Как всякий прилежный ученик, он был трезвее своего учителя и не мог не сочетать послушание с зовом здравого смысла. В других местах — в Перу, в Венесуэле, у нас — конституцию встречали с восторгом, изучали — уже с раздражением, а после — просто бранили. Вскоре она была повсеместно отклонена конгрессами (ею были недовольны как просвещенные богачи, так и представители народа), что вызвало желчные филиппики в наш адрес со стороны Освободителя, но не подняло его авторитета.

Меж тем по континенту стали распространяться слухи о монархических планах Боливара. Многие сами уговаривали его сделаться императором Анд (Симон I!) — так, мол, будет понятней людям — и уже на этом основании пускали соответствующие слухи, ибо в душе не любили Боливара и собственные советы ему переносили на его намерения; таков был Паэс, этот новый кровавый шакал степей, ныне обратившихся против испанцев, но от этого не изменивших своей дикой сущности; таковы были многие военные — полковники, генералы, — желавшие власти простой, недвусмысленной, голой и при этом законной. Другие, наоборот, как огня боялись Боливара в качестве императора (помня его неукротимый нрав и свои раздоры с ним; а в ссоре с ним были многие) и тоже заранее поддавались слухам: у страха глаза велики. Третьи болтали просто так. Когда некое на-

строение овладевает толпой, двигает чернью — поди разберись, откуда оно взялось. Это чума, эпидемия.

Сестра Боливара Мария Антония письменным образом торжественно умоляла его не делаться узурпатором, Бонапартом, тираном: помни, мол, нашу великую юность. Он столь же торжественно отвечал ей, Паэсу и прочим, что навсегда останется только Освободителем и больше никем. Он не сознавал и не чувствовал — или чувствовал, но не сознавал,— что поток истории, времени и событий имеет свои законы, что он несет и подталкивает его, и вскоре настанет момент, когда ему, Боливару, придется уже твердо и ясно решать — бросаться с порогов вместе с ревущей толщей воды или выкарабкиваться на берег. Пока же он терял время и не думал о близком будущем; в голове его был океан, а не ждущие там, впереди, пороги. Он не мог ликвидировать слухи, ибо действовал как бы в соответствии с ними. Он продолжал носиться со своей конституцией и с идеей Андской конфедерации (так называлось то, что должно было выйти у него вместо империи. На деле второе слово было б и проще для понимания и честнее. Но Боливар как-то умел и схитрить, и остаться честным. Все дело в том, что хитрил он наивно, невольно, он в чем-то был как бы ребенком. Что было бы вопиющей ложью, например, для меня — для него, для его души — не рассудка! — было позволенной хитростью). Несмотря на то что я все яснее видел, как он бесит людей и приближает собственную гибель — что отвечало моим невольным мечтам,— я прямо написал ему, что не только не вижу толку в Андской конфедерации, но считал бы полезным распустить и Великую Колумбию, дав свободу и независимость Эквадору, Новой Гранаде, Венесуэле. «Федерация к добру нас не при-
 ведет, у нас ежегодно будут восстания в Кито и Ве-

несуэле. И если мы применим оружие, это вызовет нескончаемые войны, которые неизбежно истощат нас...» — писал я. Он воспылал гневом и решил созвать великий конгресс латиноамериканских республик в Панаме. Этим он собирался утереть нос и мне, зарвавшемуся сопляку, и всему миру, чтобы он, мир, помнил, что на планете возникла новая грозная, грандиозная сила — безмерная сила единой Латинской Америки; и пусть, мол, трепещут Соединенные Штаты и дряхлая монархическая Европа, народы которых ждет свобода, освобождение, идущие с Юга. Трудно передать раздражение, с которым я перечитывал эти химерические послания, полные гордых намеков, детской самовлюбленности, рыцарства и беспечности. Я еще раз подумал, как хорошо быть «романтиком» и как невыгодна участь нас, грешных «людей без крыл» — может быть, и желающих, но не могущих не видеть сей мир в его истинном, резком и четком свете. Страны были разорены многолетней войной, люди устали, поля заросли сорняками, хижины пустовали, торговля замерла, казна зияла дырою, высасываемая расходами на содержание армии и военного флота — без дела, праздно крейсировавшего вдоль наших безмерных границ,— а эта легкая и горячая голова вновь полна безумных и солнечных планов, и вновь у него, Боливара, на уме ненужное и даже вредное предприятие, и снова он запалит от своего фитиля какие-то горячие кровь, сердца, головы — мы не были бы Испанской Америкой, если бы среди нас нельзя было в любой подходящий и неподходящий момент найти такие,— и снова вокруг него будут прыгать восторженные, разукрашенные, разодетые бабы, и снова будет в замирании духа глядеть ему в рот эта сорви-голова в юбке, этот дьявол Мануэлита, и снова у него найдутся дух, сердце, и снова он будет счастлив, весел и

легок. Да, я всегда тяжелей, во мне больше свинца и камня. Я резко, категорически возражал против этого дурацкого конгресса, а когда он все-таки был объявлен — тщеславие в здешних местностях всегда возьмет верх,— я пригласил на него и представителя Соединенных Штатов, чтобы смягчить впечатление от нашего бахвальства у могущественного и настороженного соседа и заставить воочию убедиться, что все это вздор и фикция. Последнего я достиг с успехом: делегаты съезжались больше полугода и наконец собрались в количестве... восьми человек. По двое от нашей Колумбии, от Перу, Гватемалы и Мексики. Чили и Аргентина никого не прислали. Правда, и сам человек из Соединенных Штатов приехал уж к шапочному разбору, после закрытия — не очень-то мы напугали северян,— но наблюдатели от Англии и Голландии все ему изложили красочно и с успехом. Восемь человек проболтались — кто сколько — в Панаме, поговорили, приняли резолюцию о «вечной конфедерации» этих республик, договоры о взаимной защите и о запрете работорговли. Потом эти самые рабы, за которых они так болели сердцем, отвезли на тележках кого куда, и они разъехались восвояси. И ни один конгресс, даже наш, не ратифицировал этого великого братства; извне откровенно смеялись над этим «континентальным конгрессом», в самих республиках на вернувшихся делегатов не обратили внимания.

Между тем в разоренных войною землях снова начались мятежи. Восставали и бедные и богатые. Боливар вынужден был ответить расстрелами. Не миновало это и Лимы, где трибунал приговорил к казни военных Бериндоага и Терона. Люди они были популярные и любимые в Перу, не следовало чужестранцу в такое смутное время вести себя столь лег-

комысленю; но Боливар и не подумал удовлетворить прошение о помиловании, с которым обратился к нему муниципалитет, пышно мотивировав свою непреклонность словами о справедливости, дисциплине, порядке, свободе, успокоении и прочем. Этим он только взбесил и народ, и спесивых, мнящих себя аристократами перуанских богатых креолов; но до поры до времени было тихо. Все ждали чего-то.

В Эквадоре и у нас, в Новой Гранаде, тоже было уныло; там начались открытые бунты, мне, благодаря давнишней любви новогранадцев к Боливару и различным хитрым уловкам, удавалось удерживать равновесие — во всяком случае, резни не возникало,— но с чудовищными взяточничеством, спекуляцией, воровством и коррупцией — этими верными детищами войны, бесхозяйственности и дикости — я справиться был не в силах. Я намекал Боливару, что не мешало бы и ему, вместо мечтаний о городе солнца и общественных договорах, естественных законах и прочем, перевести свою колоссальнейшую энергию на борьбу за повседневные нужды, действительную свободу и благоденствие граждан; если бы ему удалось внести во все это неискоренимо и по натуре свойственный ему элемент «романтизма», огня и света, если бы его энергия направилась в эти русла и наполнила собою все капилляры жизни, всю ее кровеносную систему,— я согласился бы уступить ему первое место; не впервые мне быть на вторых ролях. Но вся его жизнь, вся его судьба, вся его энергия были нерасторжимо связаны с утопическими и грандиозными авантюрными планами; к сожалению, как это часто бывает с людьми его склада, его энергия не существовала отдельно от них, они были неразрывны. Он продолжал настаивать на Великой Америке, которая просветит и освободит целый свет, и больше не

хотел ничего знать; он был неизмеримо талантлив внутри этой своей идеи, горячо и толково входил в подробности, двигал дело, организовывал, но стоило ему натолкнуться на что-то не имевшее отношения к его главной идее, теме, как он тут же сникал, становился вялым и безучастным; его интуиция на сей счет была поразительна. Сколько раз, желая разрешить какое-нибудь неотложное дело и использовать для этого зря пропадавшую колоссальную энергию, силу Боливара, я подсовывал ему это дело под предлогом того, что, мол, это часть его общей работы, имеющая к ней такое-то, такое-то и такое-то отношение, но ничуть не бывало. Он тотчас чуял обман и уходил от дела. Так было с переговорами о поставках из Англии и еще много раз. Что же касается главной этой его идеи, то энергия, сила по-прежнему растрачивались впустую. Бывают такие эпохи и люди, которые мобилизуют громадные средства, силы, деньги, народы, пехоту, гусар и артиллерию, чтобы доказать, что дважды два — пять; но поскольку дважды два — все же четыре, то все напрасно.

События развивались, и становилось все тяжелей. Боливар требовал держать солдат под ружьем, но им нечем было платить, и многие разбегались. Им раздавали скот вместо денег; они его убивали, шкуры продавали, сами все равно уходили. Скота стало меньше, солдат стало меньше. В степи и саванне, в сельве шныряли никем не контролируемые банды, имевшие лишь одну религию — ружье и нож; число их увеличивалось, бороться с ними было все невозможней. Их обезвредить могло лишь само население, но оно роптало больше на нас, чем на банды. Начинались старые песни. Земли у крестьян по-прежнему не было: они спустили ее спекулянтам и мантуанцам
 за хлеб и вещи первой необходимости — в разорен-

ных провинциях это было важнее земли,— и проблемы вставали старые; это последнее рождало особые опасности.

В этой мутной воде снова выплыл наверх давнишний мой «друг» — Паэс; как только с Апуре и Ориноко, из этих проклятых льянос, начали приходить какие-то странные, сомнительные известия, я сразу понял в чем дело. Паэс — правитель Венесуэлы — не желал подчиняться Боготе, правительству Великой Колумбии, которое для него, конечно, равнялось просто правительству Новой Гранады. Я давно ждал этого; ошибкой было, видимо, само назначение Паэса на столь высокую должность — правитель Венесуэлы. Конечно, он авторитет для льянерос, но для такого места нужно и кое-что другое. Однако ж он ловко подмазался к Освободителю. Как многие умные и просвещенные люди, Боливар был зачастую беспомощен в общении с такими людьми, как Паэс; он видел в последнем талант из народа, голос народа, представителя народа; между тем «катире Паэс» просто водил его за нос, и разум и просвещение Боливара были бессильны против природной хитрости шакала Паэса. Боливар, хотя и сам порой бессознательно лгал, подходил к людям с иной меркой, чем Паэс; он не мог представить, как можно столь восхищенно и сладко глядеть в глаза, петь дифирамбы твоему гению, говорить о своем ничтожестве перед этим гением и о том, что народ обожает своего Освободителя, и в то же время спокойно лгать. (А всем, кроме Освободителя, было известно, что за глаза Паэс его поносил как мог; но делал это со свойственной таким людям осторожностью — только в кругу своих присных,— и никто бы не мог поймать его за язык.) Боливар видел в Паэсе человека и самородка и умилялся своей дружбе и взаимопониманию с народом; между тем

Паэс-то как раз не видел в Боливаре человека — по своим понятиям о людях,— а видел в нем некое странное и особое существо, с которым надо считаться, пока оно в силе, но которое на деле не следует принимать всерьез. Я, чуждый лести, с досадой наблюдал эти отношения, дивился близорукости гения и несколько раз, не сдержавшись, высказал устно и письменно свои соображения Боливару; но он только морщился и считал, что с моей стороны это зависть к природным талантам Паэса. Поскольку идея зависти вообще входит в понятие Боливара о моей личности, то спорить мне было трудно; но тут он неправ. Я вообще человек не добрый и с неширокой душой, но я не люблю таких сознательных шакалов, искусно подделывающихся и под свой «народ», под своих льянерос — которыми он вертит как хочет, ибо он свой парень и обещает им землю, скот и блага, отобранные «адвокатишками»,— и под таких, как Боливар; он, Паэс, подл по натуре, у него нет души, а у меня она есть, хотя и несовершенная. Поэтому сравнение с Паэсом конечно же для меня обидно; но зависти к нему у меня быть не может.

Так вот, Паэс, воспользовавшись моментом, возомнил себя если не Бонапартом, то уж Жозефом, Мюратом или Даву и решил стать правителем государства Венесуэла. Пожалуй, и черт бы с ним, но, во-первых, я, как все-таки вице-президент Великой Колумбии в составе Эквадора, Новой Гранады и Венесуэлы, не мог на это смотреть сквозь пальцы, а, во-вторых, этот человек мог снова поднять льянерос и двинуть на города, в том числе и на Боготу и куда угодно, и это уж было бы совсем невесело.

Опасность была велика; я, воспользовавшись каким-то предлогом, отстранил Паэса от власти и сообщил об этом Боливару. Паэс, в свою очередь, как я и

ожидал, провозгласил себя верховным правителем Венесуэлы и начал бомбардировать Боливара письмами, требуя моего свержения.

Я с интересом ждал, что решит Боливар. Положение было критическое и для него неприятное. По слухам, он был в растерянности. На юге Перу, Боливия, Эквадор только и ждали момента, чтобы освободиться от Освободителя и его свободы, и он уже видел это. На севере — Паэс; и Боливар знал, что такое льянерос — голодные и свирепые, как обычно, как было века. Да, он знал, что такое льянерос. Но примириться с Паэсом — это потерять тем временем всех остальных, все провинции и друзей, в том числе и меня. Но иного выбора не было.

Особенно яростно встала пред ним проблема народа. Он привык считать само собою разумеющимся, что он, Боливар, действует от лица народа, что он один его представляет последовательно и во всем объеме, что он знает о благе и нуждах народа больше, чем сам народ. Он вечно тыкал в лицо нам, «адвокатам», наше пренебрежение, забвение народа, Паэсу же и ему подобным — потворство порокам народа, неумение возвыситься над ним и опереться на лучшее, что в нем есть. Словом, он один знал, чего надо народу. Народ же ныне и сам не знал, чего ему надо (Боливар уподобился той жене, муж которой, спрошенный, чего же он хочет, ответствовал: «Спросите вон у нее»), и ясно хотел только одного — не голодать и пожить в покое. Этого-то и не было, и этого-то не хотел и не мог дать Боливар. Поэтому он начал бояться. Я видел это по его письмам. С одной стороны, он знал, что авторитет и влияние, обаяние и внушение его посреди толпы еще неизменно высоки, и использовал это против нас, «кабинетных политиков» (забыв, что и я командовал армиями и ходил со

шпагой перед полком); с другой же, он, направляясь из Перу в Боготу, писал мне такие вещи: «Или Колумбия примет мою конституцию, или общественный договор уступит место хаосу первородных элементов. Никто не сможет сдержать угнетаемые классы. Рабы разорвут цепи, каждая раса будет стремиться к власти путем уничтожения своих соперников... Ненависть вновь вспыхнет между социальными группами. Все захотят властвовать...»

Пока он следовал в Боготу через Гуаякиль, я, не теряя времени, пытался убедить его письменно, чтобы он не самовольничал, не диктаторствовал в столице, а шел в Венесуэлу и наказал Паэса; я не верил, что он послушает, но считал своим долгом сделать все, что могу. Странное у меня было чувство; я не любил Боливара, я единственный из всех предвидел его близкую политическую гибель, и в то же время я как бы стоял на доске над пропастью и знал уже, знал, что сейчас упаду, и все же еще отчаянно балансировал руками, всем телом, борясь до конца за совесть и жизнь. Я все хотел испытать себя до конца. В глубине души я не хотел успеха, и каждое новое ожидаемое действие Боливара в ответ на мои шаги — невольно втайне радовало меня; но с тем большим странным ожесточением испытывал я судьбу. Что-то есть в этом человеке, что заставляло меня вести себя таким образом. Какой-то он внутренне чистый, что ли, несмотря ни на что. Было и внешнее соображение: его авторитет в народе, с чем нельзя не считаться. Во многих местах народ был настроен так, что все плохо, ибо Освободитель не здесь, а в Перу (или в Ла-Пасе, в Гуаякиле, Кито). Приедет, и все устроится. Старая монархическая закваска!

Боливар не поддавался, в Токайме мы встретились после пятилетней разлуки весьма раздраженно;

бесплодно проспорили целые сутки. Он ничего не понимал в деле, долбил про свою прекрасную конституцию, навязывал ее Новой Гранаде, но видел, что лучше не ссориться: не то время и настроение в этой стране. Кое-как мы договорились: я обещал поддерживать конституцию, оговорив лишь свое несогласие насчет наследственного вице-президента, обещал поддерживать идею Андской конфедерации, благо это все равно ни к чему не ведет и ни к чему не обязывает, а он обещал не вводить в Боготе свою диктатуру (это было бы особенным несчастьем при его нынешних планах и настроении) и как-нибудь усмирить Паэса: наказать или в крайнем случае заставить все же подчиняться правительству. Расстались мы холодно. Я поспешил назад в Боготу, чтобы уговорить своих согласиться на сделанные мною уступки Освободителю, а он отстал, застревая в каждой деревне для длинных речей, приветствий и лавров. Все это ему нравилось в последнее время. В Фонтибоне, где его встретили городские власти, почетный караул, Освободитель немедленно поругался с губернатором города храбрым Ортегой, который посмел в своей речи не бить в литавры герою, а восхвалять каких-то вождей, которые верны законам республики. В Боготе, разъезжая по городу со своей Мануэлой, он тоже нервничал, придирался к порядкам, отпускал разные колкости на мой счет; он, как и некоторые, считал, что я положил в свой карман часть английского займа, пошедшую на благоустройство города. Я хотел предложить ему самому заняться благоустройством *такого* города (землетрясения чуть не каждое полугодие!) в *такой* стране, но махнул рукой.

Он решил выступить против Паэса и приготовил армию; но я предвидел, чем это кончится.

Увидев родные холмы и степи, узрев великие тучи

голых льянерос, которых Паэс уже сколотил воедино там, у Апуре, почуяв запах родной земли и грядущей обильной крови в случае «дикой войны», вспомнив юность, ужасные междоусобные войны тех лет и свое имя Освободителя, он, конечно, должен потерять присутствие духа. С другой стороны, от такого, как Боливар, можно ожидать всякого; опасности он не боится, и стихия его — сумасшествие и война.

Случилось, однако, первое. Я предвидел правильно, и — не знаю почему — от этого мне сделалось грустно. Я как-то надеялся втайне, что такого, как Боливар, рассудком не вычислишь; то, что мне это на сей раз удалось, говорило о каких-то печальных переменах в самом Боливаре.

Он увидел степи, Каракас, народ, льянерос, и он помирился с Паэсом; таким образом, в его поступках явилось еще одно, что им не было свойственно ранее,— непоследовательность.

Однако, как генерал и правитель Новой Гранады, я не мог допустить ничего подобного; я тотчас выступил против отделения Венесуэлы от Великой Колумбии с центром в Боготе, чего желал Паэс и готов был подтвердить Боливар,— это означало бы новую гражданскую войну, ибо Паэс не успокоился бы на этом,— и против самого примирения Освободителя с Паэсом. Я понимал Боливара и даже сочувствовал его трудному положению, но у политики — своя логика.

Боливар ответил как-то жалобно: «Я иначе не мог поступить,— оправдывался он передо мной, своим подчиненным.— Здесь все были настроены против Боготы. Чтобы сломить сопротивление венесуэльцев, нужны были потоки крови. У генерала Паэса имелись все средства для успешного сопротивления. Он

 уже начал освобождать рабов...» Я представил Боли-

вара громящим Паэса, освобождающего рабов (то есть выполняющего заветное желание самого Боливара),— и невесело усмехнулся.

Пока они мирились с Паэсом, дарили друг другу шпаги и всякую всячину, я счел своим долгом отправить Боливару несколько писем, в которых предупреждал об опасности и о недовольстве в Новой Гранаде.

Что же касается самого Паэса, то он, видимо, на сей раз пересолил и вызвал отвращение у Боливара. Несмотря на речи, подарки, Боливар признался Перу де ла Круа:

— Генерал Паэс — тщеславный и самый властолюбивый человек в мире. Его интересует только его собственная ничтожная особа...

Тем временем, как и ожидалось, начались волнения в Лиме и Эквадоре. Я, потеряв терпение и надежду поссорить Боливара с Паэсом, решил, что пришло время кончать со всей этой уродливой и дурацкой громадиной — Великой Колумбией и примыкающими к ней странами,— и, видя, что все равно все трещит по швам, решил: чем быстрее, тем лучше. Я приветствовал мятеж Бустаманте в Лиме и написал Боливару злое письмо: «Теперь Вы пожинаете плоды своей политики в Венесуэле. Не наказав, как того требовал закон, венесуэльских мятежников, Вы подорвали уважение к правительству и показали, что его можно безнаказанно поносить и оскорблять...» Не скрою, что это письмо было продиктовано и личной досадой; я много способен понять и предвидеть, но же я человек, и всему есть пределы. Кому же не ясно, что примирение Боливара и Паэса было пощечиной для меня, и кому же это должно было быть более внятно, чем самому Боливару! А он продолжал, как ни в чем не бывало, писать мне капризные и

самовлюбленные письма. Меня это наконец взбесило.

Он сразу же «прервал отношения». Я, однако, писал ему еще раз.

Он по-прежнему ничего не понимал; между тем восстания учащались, зашевелилась его любимая Боливия, «Город Солнца», не просуществовавший и четырех лет и так и не увидевший солнца; в Картахене мятежный Падилья (некогда героически воевавший с Морильо) сверг верного Боливару служаку Монтилью, и вся эта кучка рифмующихся фамилий перемешалась между собою, а город заволновался.

Боливар, виня во всем меня, пошел в Боготу отстранять меня от правления.

Что тут сказать? Он был прав и не прав.

Я был против него, считал, что он взял неверный курс и в данный момент я ближе к сути всей ситуации, чем Боливар; здесь он был прав, что почуял во мне врага.

Но кроме меня была и сама ситуация; и из самого моего изложения, по-моему, достаточно четко видно, что дело было не только во мне.

Да, я не люблю Боливара, и Боливар не любит меня; не знаю, рассудит ли нас судьба. Если рассудит, то, вероятнее всего, в его пользу. Он был всегда блестящ и смел, а во мне есть что-то недостаточное; люди же все готовы простить ради первого и не прощают второго.

Однако же смею уверить, что эти же самые люди в мое правление — а оно, напомню, началось отнюдь не по смерти Боливара, а через два года, я не пришел к власти по его костям, я был в изгнании — эти же самые люди в мое правление жили более вольно, покойно и сыто, чем при Боливаре.

Я очень хорошо понимаю, что это еще не все, что потребно сердцу людей; но что делать.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

1

Рассказывает Боливар, вернувшись от Текендамы

Я видел насквозь Сантандера; я видел его натуру, больную страхом посредственности и вечно борющуюся сама с собою где-то у этой черты; я видел его отношение ко мне, я видел его презрение к моим «всемирным претензиям», «романтизму», «маниакальности», необузданности; я видел все это. И я ничего не мог поделать с собой. Но никогда, как в те дни, я не ощущал, что у него — своя, у меня же — своя судьба, более яркая и больная.

Паэс тешил мое самолюбие, особенно в последнее время, когда я был столь одинок; в таком положении, как мое, даже на лицемерие смотришь сквозь пальцы, если оно согревает сердце; но в глубине души я всегда знал цену Паэсу. Поэтому он не выбивал меня из седла даже тогда, когда обнаруживалось его коварство. Сантандер — иное. Он не давал мне покоя.

Мы бранились tête-à-tête и вели раздраженную переписку, но это не выражало сложности наших отношений. При всей его полупосредственности он был единственным из близких мне людей, имеющих воз-

можность соревноваться со мной, который бросил мне вызов, не отступился от дела и при этом достиг определенных успехов. Он знал это, и я это знал. Кто был прав? я или он? глупый вопрос: у нас были разные судьбы. Меня бесило, что я невидимо отстаю от событий, и то, что пóтом и кровью, надрывно, с таким трудом завоевано мною, прибирает к рукам Сантандер; все, что не получалось у меня, он делал более спокойно, тихо и скромно — и у него получалось. У него за плечами не было стольких лет, не было этого груза и боли... да, я боялся, боялся бросить на произвол судьбы это свое дитя, Америку, оторвать пуповину; да, я потерялся, я наряду с гражданскими свободами выдумывал эти пожизненно-президентские и диктаторские посты, юлил я с собой, выгадывал, мерил, горел, метался, как в лихорадке, безумии или бреду; и слава маячила, стыла и полыхала вокруг, впереди, кругом. И Мануэлита, и люди, любившие, верившие в меня. Да, я не мог оставить, я думал о многом, о многом мечтал, во мне было чувство: как? после стольких жертв? после всего? всего? не довести до конца — до последнего, до сияющего конца? и это — когда наконец улыбнулась истинная удача, когда звезда моя взошла! Я будоражил народ, я спешил, и за этим — я понимаю ныне — была уж усталость души и тела, болезнь и бред. Я слишком спешил. Я слишком спешил для человека, который уверен в себе, в звезде, в своей жизни и завтрашнем дне. И это была не жизнь, не судьба: в этой спешке была усталость. Всю жизнь я спешил, но тут я спешил особо, много, болезненно, дико, надрывно; спешка и лихорадка стали моим девизом и манией. Я спешил так, словно боялся не успеть.

Да, я всю жизнь спешил. Быть может, и в жизнь я пришел слишком рано?

А он никуда не спешил. Он понимал. Он не выдумывал пожизненных президентов, а просто ввел в Новой Гранаде, малой Колумбии, гражданские вольности: тихо раскрепостил печать, позволил собрания, обеспечил права. Как они поливали меня, его газеты, меня, который ведь мог же расстрелять их всех, этих писак! Да, я не сделал этого, но ведь мог... Пока я мечтал о войне со Штатами, он наладил хозяйство в новогранадских провинциях; я не уверен, что он и себе не сколотил на этом какой-нибудь капиталец (но это я со зла), во всяком случае, и стране принес выгоду; он поощрил владельцев и возобновил торговлю, он стоял за строгую выборность всех должностей, он единственный имел мужество сначала робко, неявно, а после в открытую выступить против меня — победителя и Освободителя, и любимца народа.

И все же он не понимал меня, а я его понимал.

Он не понимал, что во мне живет вот этот, второй человек, который теперь говорит во мне; он не понимал, что я не только сумасброд и фантастический гений, удачливый авантюрист, но и что я понимаю его, его, ибо я — внутренним своим чувством и разумом, этим вторым человеком в себе — понимаю все то, что он понимает (что он, не очень искренно, хотел заставить меня понять),— и нечто сверх того. Да, нечто сверх того.

Я видел все то, что он видел — что нужен отдых, хозяйство, покой и жизнь и другое,— я видел и понимал и его, и его отношение ко мне; но я ничего — ничего я не мог поделать с собой. Силы, которые сильнее меня, владели мной. Я сознавал — внутренне сознавал — их пагубность для себя и людей; но я ничего не мог поделать с собой. Воля моя отказала мне в этом, бог — если он есть — проклял меня, и я

не мог. Я считаю, и в этом сказались моя усталость, моя чрезмерная ненависть и чрезмерность любви, и силы, и воли. Душа устала и прекратила повиноваться сама же себе, я видел, чувствовал, но не мог.

Что делать? Ему хорошо, с его сердцем, с его душой. Он был молод, трезв, он все рассчитал. А я... мой ребенок рос, погибал у меня на глазах, и разве не должен был делать я последние, небывалые, отчаянные усилия, чтобы спасти его? Должен, должен.

Ведь я мечтал не о кучке грызущихся и враждующих меж собой государств, раздираемых камарильями и диктаторами. Я мечтал о свободной, единой — да, единой и одновременно свободной! — Южной Америке, освобождающей от власти беспринципных дельцов могущественные Северные Штаты, разбивающей оковы прогнивших монархий в старой Европе. Да, об этом мечтал я в юности. И когда, казалось, мечта начала сбываться, когда мы победили... о, я понимаю. Я понимаю трезвого, умного Сантандера.

А слава? что́ слава? Да, я мечтал о славе. Да, я любил ее. Но извечно, всегда во мне жило на первом месте,— не жажда славы, о нет,— а некое странное чувство, что никто не сделает на земле моего дела. Да, я как мать, как отец. Кажется, я ошибся.

Кажется, я ошибся.

О, как много я понимаю ныне.

Родина моя! Полуденная Америка! Быть может, я послан тебе, в наказание за твою красоту и гордость и мощь,— я послан тебе лишь силами ада? Кто знает! Родина моя! Загадочная страна ледовых вулканов, сияющих водопадов, всемирных рек и великих землетрясений! Как мне разгадать тебя? Что я могу ныне сказать тебе?

 Что я могу сказать?

Прости меня.

Что я могу сказать.

Прости.

Вижу и сознаю я, как я грешен перед тобою, и это знание крушит, раздирает мне сердце.

Я погубил себя, я погубил многих. Я погубил близких, далеких я погубил.

Прости же, прости меня.

И накажи.

Все справедливо.

Все справедливо на этом свете.

Вперед.

Никто не узнает моих сегодняшних чувств, вперед.

Вы опять увидите своего Боливара, улицы Боготы.

Где Мануэлита?

О, вперед.

Я еще не ходил назад.

Я еще не сейчас умру — не сейчас уйду; еще понесет меня ветер событий.

Я никогда еще не ходил назад.

Но все уже сделано, все известно.

Все справедливо.

Мануэлита... ты где же?..

Конституция была хороша.

Она была продумана гораздо спокойней, глубже и вдохновенней, чем это кажется Сантандеру. В ней я, Боливар, пытался учесть и достижения Просвещения, и лучшие заветы Вашингтона, и опыт, особенные черты своих ярких, невозможных экваториальных стран.

И недаром я предназначил ее сначала для одной

страны — для государства Боливар. Как лаборатории для Франклина, Фарадея и Лавуазье, так же эта страна была бы исходной территорией, первым пространственным воплощением моих государственных, нравственных, политических целей.

Жизнь по закону, а не по взяткам и не по родственным связям; длительность президентской власти в землях, привыкших к ясности и стабильности государственных институтов за триста лет (отмени эту ясность — и эти страны, увы, ожидает анархия, коррупция и мелкая тирания, раздирающие жизнь и уже провидимые мною на ближайшие десятилетия, столетие даже); «моральная власть»? да, как всегда в мире, тут есть опасность выворачивания наизнанку, замены истинного содержания — содержанием ложным: «дьявол» силен, он все «божественное» (по-нашему — разумное, справедливое), начинаемое человечеством, умеет сменить фальшивой монетой; так что же? Боясь обмана — не начинать истины?

В наших землях, с их мощной историей жестокости, дикости, насилия и садизма, нельзя обойтись без государственного органа, следящего за нравственным состоянием общества; н а ш е дело — не допустить за этой вывеской возрождения иезуитства, иначе вернутся сами иезуиты.

Конституция была хороша; она предусматривала отмену рабства, относительное юридическое равенство граждан в этом мире, много столетий не знающем человеческой справедливости, силу законодательно-парламентской власти при силе и авторитетности власти исполнительной; она предусматривала единство Испанской Америки против северной и восточной угрозы.

Об этих последних: разве не так? Разве не требовалось единства? Какой государственный деятель,

если он не последний тупица, будет спокойно смотреть на могучую монархию, глухо и тупо рычащую под боком у молодых республик, на хищного волка за Карибским, Саргассовым морями, за Мексиканским заливом — клещи! — на брызжущие скорпионовым соком, взбешенные нашим упорством, ничего нам не простившие монархии старой Европы?

Пожизненный президент! Это, конечно, звучит странно; но разве можно рассуждать об этом, не принимая во внимание состояние наших дел? Я не так безумен, как думает Сантандер. За нами не было традиций просвещенной, законодательно-опытной власти; за нами не было развитых институтов правления. Я знал, что за спиной — толпа генералов и командиров, умеющих поднять роты против испанских мортир, но не умеющих вести политическую борьбу; при частых перевыборах главы государства неминуемо возникали бы анархия, стрельба на улицах, террор темных шаек. Все это настоятельно угрожало, угрожает и будет угрожать нашим странам.

Я хотел положить этому конец; власть должна была быть справедливой и просвещенной, но твердой и постоянной. Я чувствовал опасности, таящиеся в моей идее, и принял противоядия. Моя конституция строго предусматривала: президент не обладает законодательной властью, а только исполнительной; законы творит парламент, народное собрание. Президент — власть, но — не диктатор. Сам я не так уж стремился быть президентом; я не раз публично заявлял об этом в ответственные, решающие минуты.

Впрочем, я тут немного путаюсь: «слаб»; пусть.

Я знал, что северяне поработят хозяйство разваленной, обескровленной, дымящейся в руинах нашей испаноязычной конфедерации; я видел, что мелкие

тираны, не дай им сильный центр, вцепятся в глотки друг другу и, рыча и катаясь в клубах шерсти и пыли, забудут о славе, народах, доблести; я знал, что так будет, и я боролся.

Но я понимал и иное — то, что столь твердо, и ясно, и без сомнений в угрюмом сердце понимал Сантандер, этот упорный деятель с тяжелым лицом.

Так что же мне было делать?

Я делал что мог, что считал я нужным; что полагалось делать мне по моей звезде, по моей судьбе.

Я делал.

Ты все же обрел свободу от испанцев, народ. Свобода от чужеземцев и обновление правления, государственности — единственное, что обрели мы в этой борьбе.

Я не хотел крови, о мой народ. Я не хотел крови, но я, видно, виноват в том, что ее было так много.

Прости меня.

Ведь свобода все-таки есть.

Но мне ли бороться с Паэсом, паэсами, Сантандером и сантандерами?

С Паэсом, который перехитрил народных вождей, всех этих Короморо, Алмейда, и обманул своих степных людей, договорившись с гордыми мантуанцами; он делается помещиком, Паэс, и еще будет диктатором в родной нам обоим Венесуэле.

Мне ли бороться с Сантандером, с его холодом, тактикой, умом и умением ладить со всеми, с кем надо, и опереться на городских владетелей, и успокоить новогранадского землепашца посулами свыше.

Я был занят совершенно другим.

 Время обошло меня и настигло своей волной.

Прости меня за кровь, которой я не хотел, за недостижимость благоденствия, которого я хотел, за власть этих мелких испано-американских хищников, шакалов, койотов, которых я не звал, за вековечную бедность льянерос, которых я не обогатил, за безземелие землепашцев, которым я думал дать землю, за новое рабство рабов, которых я освободил, за сокровища королей какао, индиго и кофе, за белые и желтые пиастры торговцев, которых я хотел лишить их сокровищ, пиастров — и не лишил.

И главное — за кровь, море крови народа, которой я не желал.

Которой н е я желал.

Но я виноват.

Прости меня.

Береги свободу — она дается раз в жизни.

Что же в итоге?

Я хотел тебе блага, народ. Хотел тебе славы, богатства и благоденствия. Я и себе хотел славы, но прежде — тебе. Но я чрезмерно спешил; я пришел рано.

Пройдет пятьдесят, сто, сто и пятьдесят, пятьдесят и сто, пройдет много лет; и придут люди. И придут люди.

Пока же — прости меня. Я не понимал многого. Я пришел до утренней звезды, до рассвета — и я гордо трубил в свой призывный рог; эти звуки не пусты, не холодны, не растают они в синеве, они отзовутся через ряды поколений; но пока — им нет отзыва.

Прости меня.

Нас помирит история: мы делали одно дело.
Нас помирят народы: мы делали одно дело.
Я — начал; он — продолжал.

Все справедливо.

Но тайно в чем-то так и непримиримы, не братья мы: я — человек Боливар и он — человек Сантандер.

Моя правда менее доказуема, его правда более доказуема.

Его правда более доказуема, как всякая правда спокойствия против правды могучего солнца, играющего на белых льдах Чимборасо; против правды свободного, ясного ветра, летящего из зеленой сельвы.

Что́ солнце, что́ ветер? они неощутимы, они недоказуемы в прочной жизни.

Мое дитя — дитя солнца и снега, дитя великой Ориноко, зеленой чащи и ветра; дитя чистых, белых почтовых голубей из далекой Европы; дитя мира.

Тебе ли любить его?

Ты живешь для сегодня, и ясным, широким своим умом ты готов понять человека, который живет, жив для завтра; но нет, тебе не понять, не уразуметь человека, который жив, живет не для завтра, а для тех — тех дней, которые — после завтра.

Они далеко, далеко.

Зачем они мне?

Зачем мне потомки, если я — мертв?

Но они мне нужны не мертвому — они мне нужны живому.

Они мне нужны, пока я жив.

Вперед! я еще не ходил назад.

Но помни, Сантандер: без моего порыва к солнцу и серебристому ветру, без моего сумасшествия — не было бы и твоего спокойствия, твоей силы.

Благ мудрый воспитатель, крутой и трезвый; но прежде чем воспитывать, надо родить дитя, а для этого — мало трезвости.

Но я? Разве я был не трезв, не умен тоже?

 Разве я не выше его и в этом?

Но прочь, мысли суеты и бессилия; мы братья, Сантандер, мы братья и мы — одно;
здравствуй,
здравствуй,
мой новый удел.
Где Мануэлита?

2

Это было еще не теперь.

Они задумчиво шли меж кактусов с плоскими, волокнисто-изорванными листами (внутри бело и деревянисто), меж потресканных бурых глыб. Дорогу они оставили позади — она завернула вдоль склона — и стали карабкаться на вершину этого пологого холмика. Время от времени попадалось как бы голенькое хинное деревце; сизовато синели дикие ирисы, мелькала кольчато-серая ящерка, вдали над грядою гор черным одеялом пластался гриф. Небо висело туманное, но сравнительно светлое.

Мануэла, в неловком кивере слегка набекрень — черные короткие волосы наружу во все концы — в голубом мундире и плотных мужских лосинах, в ботфортах шагала рядом с Боливаром, время от времени упираясь рукой в колено или отшвыривая острый камень носком ботфорта; резко гремела шпора. Боливар искоса поглядывал на нее с непонятным неодобрением. Тут еще деловито и хмуро ковыляет за ними этот звереныш — этот худой, толстолапый, нелепый, буреющий сверху, крапчато-желтый на нежно-пушистом брюхе котенок пумы. И где она откопала его? Идет, ковыляет, нюхает камни широкой, жестко-усатой кошачье-собачьей мордой.

— Родри-и-и-го! — вдруг завопила Мануэлита.—

Ты что же бросил коней, паршивец? Ты что же бросил коней? Ты куда прешься с девкой? Оставь ее, она шла к отцу. Чтобы понесли, экипаж разбили? Чтобы верховые кони удрали? Сейчас же на место! Хочешь — валяйся с нею за экипажем, а уходить не смей, черт, карамба, олух ты этакий!

Она смотрела вниз, на дорогу, где Родриго и правда остановил девицу и потащил ее на ту сторону долины, за камни. Бог весть для чего Мануэлита, приехав верхом, приволокла за собою и экипаж: в нем ехала одна эта пума, этот звероподобный младенец.

Он возвращался тогда из Венесуэлы, чтобы отстранить Сантандера; он был не в духе. Мануэлита, как и обычно после тех из его походов, в которых она не участвовала, ускакала с виллы, отведенной Боливару в центре Боготы, ему навстречу; и ныне они гуляли в окрестностях города, обсуждая разные вещи и планы, оставив гвардейцев бродить по селам и Фонтибону и не спеша пока в этот унылый и с некоторых пор неприветливый город. Боливару надо было кое-что выяснить у Мануэлиты, которая вечно носилась в центре событий и знала все; и он уже выяснил, обсудил все это и все ходил, ходил по камням, не спеша к своему коню и к коляске, глядя на камни, и плосколистные, порванные камнями кактусы, и на небо; она ходила с ним рядом и несколько раз уже торопила — даже втайне и обижаясь по-женски, что он не спешит в их дом,— и он видел это — но он ходил.

— Послушай, Мануэлита,— ворчливо сказал Боливар, останавливаясь, сутулясь, покашливая — болезнь давала себя знать — и заложив руки за фалды черного своего мундира.— Кто все же командует солдатами — я или ты?

— Симон, опять; не сердись.— Ее голос мигом стал полным, грудным и мягким (а не крикливым, не резким, как треск цикад); и сами ее лосины и женственная фигура в грубом мужском костюме вдруг обрели особую прелесть.— Ты видишь, он с ней пошел? Мне все равно, но лошади понесут, а мы своих верховых плохо привязали к оглобле.

Она объясняла то, что не следовало объяснять; при начале своей речи она помнила это, и тон ее был извиняющимся и низким; но после она, увлекшись в своей деловитости, представив умчавшихся лошадей, снова зазвенела голосом.

— Но довольно,— с гримаской сказал Боливар, поняв, что она так и не усвоила его основную мысль — что не ее это дело: орать и отдавать приказы солдатам, где им быть с девками.— Ты много кричишь. Кто это? Кондор?

— Ты мрачен, Симон. Хорошо, я не буду командовать твоими солдатами. Но кто-то же должен делать это.

Он мрачно, исподлобья посмотрел, думая — взбеситься или презреть; но она говорила естественно, деловито и без издевки, и он решил пренебречь.

— Откуда у тебя этот зверь? — спросил он, оглядываясь на маленькую пуму, неуклюже, но с упорством ковылявшую по камням за Мануэлитой... за ними.

— Принес один самбо.

— Подарок?

— Нет, продал за три песо.

— Ты бы уж отвалила десяток.

— Мне жаль, Симон. Помнишь, ты был веселым.

Они вздохнули.

Он покосился на эту пуму и вдруг смущенно спросил:

— Так ты... не беременна?

Она отвернулась, вздохнула с фальшивым и вместе искренним легкомыслием,— как-то она умела этак, напоминая ему его самого, молодого и прежнего,— и сказала, глядя на горы и белое небо вдали:

— Нет.

Они помолчали.

— Так ты говоришь — «как Морильо».

— Да, я говорю. Но что такое, не понимаю, Симон: ты всерьез обращаешь на это внимание? Мало ли что делают газеты? Они боятся тебя, они и не такое скажут: сравнят тебя с Бонапартом, сбежавшим с Эльбы или вернувшимся из Египта, да мало ли. Они боятся, они думают, что ты пустишь им кровь. Да и не мешало бы.

— Молчи!!! Что ты за женщина!! — вырвалось у него болезненно.

Она промолчала и прислонилась щекой к его шее. Он помолчал.

— Что? И это пишут? — спросил он незначащим голосом несколько погодя.

— Что?

— О Бонапарте.

— Пишут. Но если ты будешь перебирать, лучше сразу уйти в отставку. Я не узнаю тебя.

— Не твое дело.

— Быть может. Но надо решать.

— Что решать?

— И ты спрашиваешь? ты сам знаешь: многое.

— И что ты все говоришь, мешаешь? — с неожиданно злобным раздражением возопил Боливар.— Ну что?

— Извини, Боливар. Я женщина,— тихо сказала Мануэлита.— Я хочу помочь. Для меня зло — все то, что для тебя зло. Большего я не понимаю.

— Вот и прекрасно, и занимайся своими заботами, а уж мне предоставь мои,— успокаиваясь, отходя, покашливая, заворчал Боливар.

Он тихо, прищуренно смотрел в одну точку куда-то в далекий рассыпанный камень. Он поседел, лицо его изменили глубокие морщины.

* *
*

Небеса были кобальтово-синие, с просветлениями к тому месту, где за черными дымными тучами скрывалась луна. Боливар посмотрел и тотчас отвлекся взором на землю. Они бежали не быстро, но споро, по-военному; Боливар держал в левой пистолет со взведенным курком, в правой — обнаженную толстую шпагу с хорошей «чашкой» на рукояти: славно, что эта попалась, не подведет; Родриго, тяжело дышащий сзади, тоже был наспех вооружен. В городе повсюду катились гортанные клики, стукали резкие выстрелы. Они миновали последний, размыто светлеющий ряд домов с одинокими пальмами у стен и стали по тропке спускаться к реке; внизу было темно, надрывно трещали цикады, в далекой еще воде изредка хлопало, хлюпало: эти звуки позволяли ориентироваться, когда они очутились в темной чаще на склоне к пойме. В ветвях, вверху шуршали, вероятно, вампиры, в кустах тоже время от времени шелестело, трещало, шарахалось. Наконец они выбрались в сочные, мощные, мокрые травы и пошли налево, к мосту через Боготу — Фунсху, соединявшему обе половины города и пролегшему от дамбы к дамбе над этой долиной и над рекой.

Они подошли под каменные быки; время года (сентябрь) было промежуточное, вода стояла не очень высоко, но все же между быком и темной, бур-

ливой ее поверхностью было мало места. Они постояли в задумчивости. Взбираться наверх, на дамбу? Нет: сразу в лапы. Конечно же, те будут все время шнырять по этим местам, боясь, что Боливар скроется в правобережной части города.

— Надо идти назад,— сказал Боливар.— Пересидим на склоне, в... среди деревьев.

Он, разумеется, хотел сказать «в кустах», но уж больно это некрасиво звучало бы. Освободитель, скрывающийся в кустах. Родриго молча посопел.

Они вернулись и стали взбираться по тропке — снова среди шуршания, тьмы и сырости,— как вдруг услышали, что кто-то торопливо и тяжко спускается к ним навстречу. Явственно грохали по плотному краснозему армейские сапоги человека, не ожидающего встречи с кем бы то ни было и как бы спешащего сделать дело и возвратиться. Боливар и Родриго остановились рядом на маленькой горизонтальной площадке и приготовили шпаги.

Солдат с ружьем, в светлых штанах, натянутых поверх сапог, в светлом мундире и кивере (мелькнула его метелка на фоне клочка серебристо-синего неба), вывернулся из чащи и быстро зашагал прямо на них; крутизна склона отяжеляла его шаги. Они оба хорошо стояли на фоне темной чащи и темного луга, бывшего сзади внизу, и он не должен был видеть их до последнего мгновения; к тому же он не готовился к встрече и больше поглядывал под ноги — тропинка неладная,— чем вперед. Наконец он заметил их, двоих, неподвижно молчащих в позе атаки, и оторопело остановился. Он не нашел ничего лучшего, чем сказать:

— Кто идет?

— Идешь ты. Не ори. Чего надо? — сказал Боливар.

— А вы кто? — спросил солдат, медленно поднимая в их сторону штык. Родриго шагнул, но Боливар остановил.

— Отвечай ты.

— Я ищу президента Боливара, мне приказано.

— Что-то ты плохо ищешь.

— Я не думал. Я думаю: вот дурак мой капрал, с какой стати этот пойдет к реке.

— А оказалось, дурак — не он, а ты. Я Боливар.

— Вы... господин президент... мне приказано арестовать вас.

— Так что? выполняй.

— Я-а... не...

Родриго снова шагнул, но Боливар попридержал его снова.

— Что же? какого черта?

— Я-а... не...

Невыразимое бешенство вдруг запело в груди Боливара; он толкнул в сторону рвавшегося вперед Родриго, поднял шпагу на уровень живота и бросился на солдата:

— Ну? Крути штыком! Какого черта! Тебе приказано — выполни хотя бы приказ!

Солдат, кое-как встав в позицию штыкового боя — нетвердое колено вперед,— два раза махнул своим ружьем направо-налево, хотя Боливар еще не сделал выпада и отбивать было нечего; во всей размазанной фигуре солдата не было и намека на то, чтобы самому пытаться атаковать. Все это усилило прилив, как бы накатило новый, более мощный вал бешенства, злобы; Боливар еще сильнее — всем корпусом в правую сторону — подался назад, чтобы вернее всадить сталь в дрожащее пузо этого дурака, этого свиньи, камня, пня, этого... этого... какого дьявола! свергать — ну,

свергать. Но они даже этого — даже этого не могут. Что за страна! что за люди! что за олух, свинья!

Рука задержалась на мгновение, ибо тело не ощутило того привычного, что сопровождает выпад, удар: не ощутило, незримо и точно, сопротивления, увертки, противоборства соперника. Солдат стоял, расставив ноги, держа свое ружье обеими руками наискось — вверх штыком, и тупо смотрел на мерцающую в шаге от его брюха крутую полосу стали. Боливар невольно задержал удар, солдат же застыл, как в гипнозе. Вдруг вся суть ситуации дошла до его сознания, он бросил ружье, завизжал, упал в траву и закрыл руками свой кивер — свою ненаглядную голову. Боливар остановился, опустил клинок и смотрел на него.

Родриго подошел и, все так же молча, занес над лежащим шпагу, держа ее острием прямо вниз.

— Не надо,— угрюмо сказал Боливар.

— Я убью его. Он приведет тех,— тоном, не терпящим возражения, сурово сказал Родриго.

— Не надо, я говорю! — повысил голос Боливар.— Что вы за олухи! Ну что с вами делать! вы ни на что не годитесь. Вы даже приказов не выполняете, вы сами не знаете, чего вам надо. Вы сами не знаете, чего вам надо, вот что я вам скажу. Убить, не убить, арестовать, не арестовать. Выбрал своего капрала — так забирай Боливара. Выбрал Боливара, не слушай капрала! А это — червяк, слизь, дрянь. Он сам не знает. Он не понимает, он ничего не может решить своим разумом, своею душой. Он — смола. На него нельзя опереться.

— Сейчас я убью его.

— Да стой ты, болван! Одного мало, ты еще!

— Но его надо убить. И вы сами говорите, что он дрянь.

— Стой! Отойди! Ты не можешь понять, нет, ты не можешь понять. Отойди. А ты — ты слушай.

Боливар помолчал, собираясь что-то сказать притихшему солдату; потом махнул рукой и пошел назад, к речке. Родриго поплелся за ним, оглядываясь и грозя клинком.

Они вновь прошли по траве и вскоре стояли перед быками моста. Боливар первый вошел под мост и уселся на крупный камень, уперев локти в колени и опустив в ладони свои бакенбарды. Родриго уселся прямо на траву, проросшую между камешками и молча сидел, время от времени поглядывая на своего господина. Родриго был немного скуласт, кудряв; он был в серой рубашке и коротких штанах: не успел напялить военную форму. Боливар был в полузастегнутом мундире, одетом на голое тело, в парадных брюках и сапогах: перед тем как прыгать в окно, он схватил от Мануэлиты в охапку что было, а напяливал уж не глядя.

Они молчали.

— Зря отпустили,— сказал наконец Родриго, плюя между колен, сцепленных руками, и со вниманием глядя вниз, в направлении плевка на камешек.

— Черт с ним.

— Застукают.

Боливар смолчал.

Остекленелым взором смотрел он на воду, черно и тоскливо бурлящую в полутора шагах, на какой-то мангровый куст, приютившийся у воды, на агаву, на серые, белые, темные, ребристые и покатые камешки, на чернеющий шагах в двадцати, в воде, второй бык моста, на чернеющий воздух — здесь, под мостом, темно, лишь виднеются туманно-серебряные разводы там, вдалеке, на открытой воде,— на травы, метелки, колосья, пробившиеся сквозь камень, мок-

рые от ночной сырости, близости воды и извечной тени тут, под мостом, касающиеся нескладной его одежды и увлажняющие ее. Было тут тихо (лишь в стороне пилили цикады), пахло тиной и прелью, и вечным запахом близкой влаги — могучей и древней матери.

Он смотрел, прислушивался к себе, к травам, воде и ночи, и тихие думы, как бы отстаиваясь в стакане души после кипения, мути и завихрений — ночного скандала, бунта, бегства, погони, нелепой драки с солдатом,— вновь начинали прозрачно стыть, серебриться в душе.

— Ты понимаешь, Родриго,— задумчиво проговорил Боливар, глядя на черную воду,— я понимаю тебя. Я понимаю и Сантандера, и Сукре, и Мануэлиту, и Урданету, и разных Морильо — я всех понимаю.

— Ага,— озадаченно просипел Родриго, впрочем, не очень волнуясь и, наклонившись к своей ноге, ковыряя отошедшую подошву своего плетеного башмака.

— «Ага». Надо слушать, когда говорят.

— Я слушаю, Освободитель.

— Ты понимаешь, я их всех не то что знаю и понимаю, а чувствую.

— Угу.

— И в то же время сам я — другой.

— Это само собой.

— Что само собой?

— Ну, понятно, вы им не чета. Что они за птицы?

— Ты льстишь мне, но не понимаешь, о чем речь.

— Нет, я понимаю.

— Ч т о ты понимаешь?

 — Вы — другой, чем они. Это понятно. Куда им!

— Нет, ты послушай. Что это? кто-то идет к мосту?

Они подождали; бурлила вода, всплескивала рыба, поскрипывали стропила, пилили там, в стороне, цикады.

— Да, идут.

— Помолчим.

На минуту он испытал нестерпимый стыд, что он сидит под мостом, ведет разговор с тупым денщиком и вот — замолкает, когда подходит кто-то. Он, президент Боливар. Он знал, что сейчас в душе — устало и тихо; но что после, после — если он останется жив — стыд разрастется ветвистой и ноющей опухолью. Он — человек испанской крови, военный; он — президент, он — Освободитель Америки, он... но пока — пока в душе устало и тихо. Как только что полученная рана: надрез уже вот он, а крови, а боли нет. Будет после...

— Что ж? Выйти навстречу? — вдруг встрепенулся Боливар.

— Что вы,— сказал Родриго спокойно, не принимая всерьез этого чуть картинного порыва своего господина. Боливар и правда даже не шевельнулся при этих словах.

По мосту пошли двое горожан (два голоса), застучали копыта коров. Наверно, скоро рассвет.

— Две арробы,— это немного,— послышалась фраза.— Если три песо...

Дальнейшее было невнятно.

Они испытали странное неудобство людей, схвативших душой кусок жизни, для них не назначенный.

Те прошли, утихли грохот в тиши и трепетанье железных и деревянных сцеплений.

— Ты знаешь, у меня нет чувства, что мне сегодня конец. Я не готов к этому.

— Вот еще. В городе много верных людей, бунтовщиков скрутят. Раз они сразу не захватили вас, теперь не страшно.

— Нет, я не об этом. Сколько раз смерть глядела в лицо мне, а никогда я не чувствовал, не почувствовал до конца, что вот, сейчас я могу умереть.

Родриго, усвоив раз и навсегда, что Боливар — не его ума дело,— любые речи президента воспринимал как должное; но сейчас он впервые посмотрел па Боливара с каким-то удивлением. Какой-то он странный все-таки!

— И сегодня у меня есть чувство, что этим еще не кончится. Может, я ошибаюсь? Но даже если ждет смерть, это ничего не докажет. Я прав в своем чувстве.

— Ну да,— неуверенно подтвердил Родриго, снизу вверх глядя на Боливара, сидящего на камне.

— Кто я такой? Я все понимаю, и я ничего не могу. Мои собственные слова и действия глупы сравнительно с тем, что я ощущаю в душе. Мое понимание, свет в душе не проявляются в моей жизни. Стоит мне сказать слово или совершить поступок, как сам я вижу: нет, это другое, хотел я совсем не то.

— Но вы же не господь бог,— ляпнул Родриго.

— Гм,— покосился Боливар.— Да, это так. Но зачем же свет? знанье в душе?

— У каждого свет. Да не каждый идет по этому свету. Ох, вовсе не каждый, а даже наоборот.

— А я? — с интересом спросил Боливар; ему любопытно было взглянуть, как выкрутится Родриго.

— Вы? ну, вы, вы, я не знаю. Не понимаю я вас. Знаю, что почитаю вас, а не понимаю,— честно признался Родриго.

— Ты молодец. В тебе живет честь,— похвалил Боливар.

— Я-то? ну да, конечно,— спокойно ответил Родриго.

Они посидели в тиши. С железной гайки моста на камень капала капля; стоило им раз заметить эти ее тихие стуки, как они не уходили из слуха.

— Я сам не знаю природы тех сил, того холодного огня, который скрыт у меня в душе,— сказал Боливар.— Вам хорошо: «Господин президент, Освободитель все знает». А он, господин президент,— может, и знает; но только сам не знает, что же он знает. Теперь-то я это особенно хорошо почувствовал,— говорил Боливар, при этом думая: «И что это я разговорился? Воистину ночь вопросов».

Послышался топот сапог; к мосту приближались явно армейские ноги. Свои или те?

— Нет его,— раздалось вверху, шагах в сорока.

— Пардьез!

— Нет так нет.

— И Карлос пропал. Сбежал?

— Наверно, сбежал. Не желает путаться.

— Дело и верно мутное.

— Долго топчемся.

— Пойдем на ту сторону.

Сапоги прогрохотали по железу и дереву, утихли на том берегу; Родриго осторожно выглянул. Солдаты как солдаты, родные голубые мундиры; углубляются в дальнюю улицу там, на той стороне.

— Дьявол. Вернутся, наверно. Уже светает.

— Светает, да. Я и то вижу,— отозвался Боливар.

— А наш-то, вот испугался. Небось, на всю жизнь.

— Да-а.

Послышались вновь шаги; приближались жители, судя по разговору, идущие в горы за шкурами.

— Перед вторым седлом придется через лиановый мост.

— Плохо.

— Да, там по одному, и то плохо.

— А как же назад? Со шкурами?

— Так и назад,— говорили они.

Шаги зазвучали над головой и начали удаляться.

— Что ж это ночью в городе? — спросил кто-то.

— Опять чего-то солдаты. Сказали, Боливара скинули; ищут.

— Да ну-у-у? — удивленно запели два-три прохожих.

— Ну да.

— Да, давно уже что-то неладно. Боливар весь запутался.

— Уж разберутся.

— Это конечно.

— Твоя Мария сегодня что же...

— ... бараны... был ветер...

— ... плохие... но что же...

— ... Боливар... куда...

— ... луга... ту агаву...

Голоса вскоре затихли; когда люди свернули, уже с той стороны, с гребня холма, приятный утренний ветер снова донес их гортанный и четкий говор — но слов было не разобрать; и вскоре все успокоилось вновь.

— Да, солдаты могут вернуться,— и будет хуже,— сказал Родриго.— Ведь уже утро.

— Да, да,— рассеянно отвечал Боливар, а сам все еще вслушивался в душе в эти четкие утренние голоса.

В них не было очевидного равнодушия, лени, когда они говорили о нем, Боливаре.

Но поэтому в них было — еще более горькое для него.

Что?

Не все в этом мире имеет свое название.

Рассказывает Сукре

...Лишь войны за свободу
Достойны благородного народа!

Байрон

Дела шли неважно. Мы побеждали повстанцев, но было тяжело на душе, и успехи не радовали. Боливар все втягивал меня в политическую карьеру и даже сделал диктатором, президентом этого государства Болнвар; но я испытывал отвращение к чиновничьим должностям, к этим распрям. Еле мне удалось договориться, чтоб президентство было два года, а не всю жизнь; последнее было бы ужасно. Я генерал и солдат свободы, а не правитель.

Став президентом, я все равно не имел ни минуты покоя. Бунт вспыхивал вслед за бунтом, мятеж — вслед за мятежом. Чем больше мы подавляли, тем, как обычно, чаще это случалось. Дошло до того, что в собственной моей «вотчине» произошло восстание, и сержант Хосе Герра провозгласил присоединение Горного Перу к Лиме, к Перу. Я поспешил в Ла-Пас и навел порядок, но все это было крайне неприятно; на сердце был камень.

Вскоре началось и в самом Перу. Этот их Ла-Мар собрал солидную армию, у меня было вполовину

меньше. Они были уверены в победе, заранее праздновали ее в Лиме, вели себя весело и беспечно; но я был зол и со зла вдвойне смел и умен, солдаты мои — тоже, и мы, как и подобает, разбили их наголову. Тогда эти люди без чести, без совести, перуанские торгаши, тут же свергли своего любимца Ла-Мара и как ни в чем не бывало, будто нашкодившие семинаристы, объявили Эквадор, который было прибрали к рукам, колумбийским; стали благодарить меня за освобождение от тирана и запросили мирного договора. В Боливии моей снова творилось бог знает что, меня забыли, президенты однажды переменились трое за два дня, из них двое ценою жизни. Кито роптал и шипел, как вулкан перед большим извержением, Гуаякиль волновался. Конца этому не было видно.

Тяжелей всего было то, что приходилось воевать с прежними сотоварищами по битвам. Повторялась история Пиара. Так, генерал Кордова, с честью бившийся под моей командой при Аякучо, ныне поднял мятеж «против узурпатора», то есть Освободителя; О'Лири разбил его, самого захватил, и англичанин Руперт Ганд со зла на месте снес непокорному голову. В одном из авангардных боев в Перу мои испугались неожиданной атаки их гренадер из-за кустов с холма и бросились врассыпную. Шедший следом отряд, видя такое положение, тоже заколебался: всегда плохо вдруг оказаться лицом к лицу с неприятелем, не будучи передовой группой. Люди душевно не готовились к бою, не прикидывали на себя возможность первого дела. Я ехал в отряде, следующем за вторым; пришлось не теряя времени спешиться, взять с собою первых трех-четырех офицеров, попавшихся под руку, и выйти во второй отряд. Увидев

 меня, гренадеры приободрились в задних рядах, бы-

стро стали заряжать и выставили штыки. Мы образовали сносное каре, нападавшие тотчас же приостановились; нельзя было терять ни минуты. Я вынул шпагу, крикнул «за мной» и пошел на холм; мимо уха провизжали одна-две пули, но делать было нечего. Мы шли, перуанцы повернули и побежали на холм, скрываясь за его гребнем; однако их командир оставался на месте и, кругами вертя над головой палаш, звал своих обратно. Кое-кто из них опять повернулся лицом, а я быстро сблизился с офицером.

Я обыкновенно участвую в рукопашных боях, но давно не было так, чтобы я первым вошел в соприкосновение с противником, притом командир лицом к командиру. Это был Хорхе, мой старый товарищ по школе. Мы молча взглянули в глаза друг другу и завязали бой. Его палаш был тяжел, и отбивать было трудно. Пришлось применить мой старый прием: не ждать его замаха, а беспрерывно и скоро тыкать шпагой туда-сюда, заставляя его все время думать об обороне и не давая времени нанести рубящий удар. Надо было все время владеть инициативой, грозить уколом, только в этом было спасение: здесь преимущество легкой, колющей шпаги. Я знал слабости Хорхе (его некоторую неповоротливость) еще по школе. Он был малый выносливый и, весь вспотев, все же успевал за моими уколами. Мы долго бились. Наконец я проткнул его и не глядя пошел дальше. На сердце был камень.

Мы встретились с Освободителем в Эквадоре. Он был мрачен. В то время он решительно собрался в отставку и предложил мне пост президента Великой Колумбии. Я немедленно и свирепо от этого отказался.

Я думал, что наш Симон, наш Боливар, вселит в меня, как обычно при встрече, уверенность, крепость

духа, разбудит уменье и силы. Но вместо этого между нами произошел напоследок такой разговор.

Я, сидя в палатке, как это часто бывало теперь со мною, смотрел в одну точку и ни о чем не думал, или думал отрывочно, грустно и принужденно; вошел Боливар и, остановившись передо мною, спросил:

— Ты что, Сукре? Невесело?

Я отвечал, что веселиться, конечно, особенно нечему, но что в данное мгновение я особенно ни о чем не думал, и он просто переносит общее положение дел и свои собственные тайные чувства на мой обыкновенный, хотя и усталый вид. Далее я хотел добавить, что нет у него надежней друзей и слуг, чем я, грешный, и что напрасно он в последние месяцы и на меня поглядывает с каким-то подозрением: история с покушением не должна его озлоблять. Но он нетерпеливо перебил меня; он сел, спрашивая:

— Все думаешь о потерях?

— Нет, я сейчас об этом не думал, Симон,— сказал я.

— Ты, может, считаешь, что мы идем против мировой гармонии? Что мы вообразили себя людьми, способными исправить высшие порядки, и терпим за это? — спросил вдруг Боливар, свинцово и тяжко ввинчиваясь в меня прищуренным взглядом; его ресницы дрожали, худое и желтоватое, дрябло-морщинистое лицо подергивалось у скул и в углах губ. Не дожидаясь ответа, он резко выговорил, почти крикнул: — Я же по-прежнему, как и Вольтер, считаю, что церковь — гадина, что некая высшая сила, если и дала природе первотолчок, то в том и исчерпала себя; я отвергаю ее.

Он говорил, как в семинарии на уроке.

Я почувствовал, что не время изображать усталость и уходить от ответов.

Я отвечал, что, конечно, война — нечистое дело, но что не до́лжно терпеть несправедливости на земле. Что человек имеет право ответить насилием на насилие, угнетение. Пусть помнят об этом те, кто первые решаются на насилие. Кто же спасает душу, ни в чем не участвуя и только готовя себя к восприятию песен рая, кто болтает о боге, но не борется с ложью и рабством на этой земле средствами, доступными его силе и пониманию, одобренными его сердцем,— тот отвратительно лицемерит перед собой и другими. Я отвечал также, что война за свободу — угодное богу дело и что бог, если он только есть на небе, не накажет народ, который борется за свободу, и простит ему любовь и уважение к человеческому достоинству и свободе. Быть может, он накажет нас, руководителей; все в его воле, и это будет справедливо. Ведь мы берем на себя ответственность за людскую кровь, проливаемую в борьбе за свободу, и мы должны за нее ответить. Но я готов стать мучеником ада на веки вечные — да, я готов к этому! — только бы мой народ обрел человеческое достоинство, и стал свободен, и объединился бы в любви к своим людям и к другим народам. А судьба, быть может, смилостивится и надо мной за мою любовь к родине, свободе и людям, к тебе, Симон, как олицетворению всего этого. А нет — не надо, я, повторяю, готов принять грехи на себя. Если людям дано чувство свободы и духовного своего величия и они обречены на то, чтобы быть на земле рабами и не бороться за главное, за большое в себе,— значит, тут что-то неладно... В заключение я сказал, что, быть может, нам уже нет спасения, нас неотвратимо ждут муки ада; но что все равно мы должны вести себя так, как будто спасение еще возможно, и господь поймет наши муки. Мы, у которых в руках силы мести и зла, должны упот-

реблять эти силы лишь в случае необходимости и невозможности мира с врагом. Что я и делаю, и тут меня не поколебать. Если друг служит тьме и убийству — я убиваю друга, таков жестокий закон. Пусть первые вспомнят его насильники и смутьяны, а вовсе не те, кто борется за свободу близких людей и родины. Я, конечно, могу не противиться злу насилием, когда дело касается меня одного. Моя жизнь давно не дорога мне. А когда речь идет о других? О любимых мною людях, о родине? Могу я не выбить из рук убийцы ружье, направленное в грудь моей матери? Могу я забыть девочку, свою сестру, покончившую с собою в руках у головорезов Бовеса? Могу ли? Смирение — не борьба, а содействие, соучастие злу. Из двух зол я выбираю меньшее: воспротивиться злу насилием, а не потакать ему. Если же убивающий мою мать и я, ударивший его по руке, равны перед богом как насильники,— тут что-то опять не так.

— Ты веришь ли в бога? Веришь ли так, как предписано? Я никогда с тобою не говорил об этом. Сам я, грешный сын восемнадцатого столетия, я считаю... да не надо об этом,— как-то потусторонне, задумчиво прервал себя Боливар и тихо махнул рукой.

Я сказал, что не разделяю уверенности господ Дидро, Ламеттри и других в отсутствии высшей силы и в том, что «человек — машина».

— Вольтер не следовал этой точке зрения,— так же задумчиво и будто в трансе прервал Боливар.— Он полагал, что бог есть, но только обленился и позабыл.

— Кроме того,— твердо продолжал я, решив закончить свою мысль, раз уж он спрашивает,— мои родители были добрыми католиками, и это не помешало им быть достойными, добрыми и простыми

людьми. Однако я ничего не могу сказать о боге, ибо это не дано моему разуму. Я знаю одно: человек родится свободным, это мое глубокое знание. Смею полагать, что оно от высшего. Достоинство, уважение к себе и любовь к свободе, по моему глубокому убеждению, не могут быть грехами, и если все это нарушено, то что-то не так с людьми, и с этим надо бороться, чего бы это ни стоило. И я борюсь, чего бы мне это ни стоило — пусть даже райских снов и покоя.

Когда он ушел, я долго думал над его вопросами, над его словами. Впервые воочию дошли до меня отголоски, отблески бурь, штурмующих в последнее время его беспокойное и больное сердце. Я чувствовал это давно, и мне, человеку духовно зависимому от него, и не столь просвещенному, и не столь смелому в отношении к высшей силе, было неуютно в сердце. Но он молчал, и все шло как шло. Я устал и хотел покоя, но я воевал, побеждал и делал дела. Я был благодарен ему за то, что он молчал. И вот — разговор. Он ничего определенного не сказал, но я как-то обессилел на миг. Зачем он бередит мне душу?

Я не виноват, что земля несовершенна. Не мне, с моим слабым разумением, судить об этом. Не мне судить о такой душе, как Боливар. Но мой долг — борьба за свободу. Человек рожден для свободы и долга, достоинства, так говорит мне моя душа.

Завтра я снова пойду в бой за свободу, а вскоре, наверно, приму смерть — я чувствую это; и не узнаю о том надрывном, пестром, суетном и больном, во что входит моя земля после ясной и славной победы над боевым противником.

Не по мне эти трудности.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1

Итак, 15 января 1830 года Освободитель Боливар-и-Паласиос, как обычно, въезжал в Боготу.

Да, все было как обычно. Гвардейцы построились, они тронулись, промелькнул Фонтибон с его стенами вокруг патио, белыми глинобитными и каменными домами в один этаж, как бы расползающимися вширь по неровной земле. Невдалеке от города, как всегда, его встретила Мануэла; он походил с ней, поспрашивал, она искоса взглядывала на него, отвечала и наконец сказала:

— Хватит, Симон. Поезжай скорее. Тебе надо отдохнуть.

Он действительно очень устал; он на сей раз возвращался из Эквадора после очередных мятежей, знакомые горы Кито разбередили его сердце и утомили его больное тело. Опять эти перевалы, засады за скалами.

Кто знает, быть может, с них-то и началась эта последняя душевная дорога, по которой он идет второй раз в течение жизни, но иначе, чем прежде. Может быть, с них-то и началась. Он вспомнил тот белый, восторженный, розовый день в сияющем Кито,

он вспомнил раннюю юность и детство, мечты и женевца, и мощь великой природы, всегда производившей на него благое, спокойное и смутное действие.

Вчерашнее посещение могучей и праздничной Текендамы вновь подстегнуло его размышление; и вот... он снова прошел в душе свою жизнь.

Он знал, что все кончено, и все справедливо. Он знал, что его музыка отзвучала, и все справедливо.

Конечно, и ныне он тот, кем он был, и был он — тот, кто он есть сегодня. Он был и есть тот и другой. Но всему свое время. Поэтому люди не понимали его, а он понимал людей. Они видели тот бок, которым он был повернут к миру; и были правы. Ибо человек — то, что он совершает, а вовсе не то, что он думает о себе и о прочем (вечное заблуждение честолюбцев). И о нем думали то, что он совершал. И они были правы, но одновременно он был и тем — другим. Другим.

Все эти дни он знал, что нынешний путь его будет нерадостен, и готовился к этому. Поэтому он прошел в душе свою жизнь.

Уже давно его возвращения в Боготу были смутны, невеселы, но сегодня — особенный день.

Сегодня — особенный день, ибо в душе совершилось нечто.

До этого он чего-то не понимал, метался и обвинял весь мир, сегодня же — все спокойно, штиль на море, и задумчиво и загадочно, тихо и вечно стоят ледяные вершины.

Он, Боливар, будет еще идти и клубиться в потоке событий, еще предвидятся суета, несчастья, победы и праздники; но — спокойствие, тишина. Музыка отзвучала.

К тому же он болен; болезнь появилась вовремя.

Для таких, как он, все приходит неукоснительно в свой черед; все стройно, и ясно, и строго.

Для тех, кто в тот день собрался встречать Освободителя на улицах Боготы — а собрались огромные толпы, все будто ждали чего-то,— для них предстало печальное и величественное зрелище.

Все было как обычно. Плескались толпы, палили пушки, звонили колокола столичного города.

Но этим колоколам не суждено было возвещать победу и ликование. Они возвещали всеобщую похоронную песнь.

Больной и с потухшим стоячим взором, безвольно направленным поверх крыш, весь ушедший в глубины своей души и закрытый для солнца, для света, для улиц, худой — будто усыхающий, исчезающий на глазах,— сутулый и с бледным, ровно-пергаментным, желто-зеленым лицом, неловко и медленно ехал сорокашестилетний Освободитель Симон Боливар-и-Паласиос на белом покорном коне по запруженным толпами улицам; и вид его угнетал окружающих, толпу. Все пришедшие из-за спин соседей бранить его, выкрикивать ругательства, вопить «Хватит воевать за свободу, дай хлеба и земли людям», кидать остроты из бойких газет, издаваемых журналистами Сантандера, невольно и хмуро молчали и провожали понурого всадника на белом коне во главе молчаливых и пестрых гвардейцев задумчивым и упорным взглядом. Многие женщины откровенно рыдали, сморкаясь в косынки, и рукава, и праздничные платки. Досужие ребята, привыкшие орать «Лонганисо!» («свиная колбаса») и резво прыгать в ближайшую подворотню, молчали и грызли ногти, сбитые с толку странным видом прежде веселого, гордого президента и подзатыльниками родителей, последовавшими за первыми робкими пробами крика. Задумчиво, мерно и глухо

звучал колокольный звон в непривычной для встречи тиши, будто возвещая не гордое шествие победителя, а вынос покойника; тягостно били пушки. Зараженные общим настроением, сникли пестрые, ало-оранжевые гвардейцы; и даже сам лебединошеий, пружинящий белый конь, не чувствуя энергичных и смелых поводьев, не грыз удила, ничему не противился — нечему было — и шел как-то боком, скромно и робко.

Въезжал Боливар.

Все было как обычно. И было иначе. Это почувствовали все, все.

Он проехал, сошел с коня и вошел в кабинет.

— Говорят, что господин Сантандер..,— вкрадчиво и негромко начал ординарец.

Боливар смотрел в одну точку; но при этом имени вдруг весь вспыхнул, по бледному и больному лицу зашагал неловкий, неровный румянец.

— Что? Сантандер? — вдруг сказал он своим обычным, прежним и тихо властным голосом.— Сантандер?

Адъютанты и генералы, оранжево, желто, черно и ало пестрящие в полукольце за плечом, задумчиво и сурово потупились.

— Сантандер,— разяще и четко повторил Освободитель Боливар.— Этот человек, ожидающий, пока я убью зверя. Все, я убил. Он будет есть мясо и говорить, что не он убил. Что он не убивал никого.

Все молчали подавленно.

В этот краткий, пронзающий миг они все понимали, что он, Боливар, жестоко прав.

Как понимали и то, что отвечает за всю охоту все-таки тот, кто убил.

Он молча смотрел в пространство, не удостаивая взглядом молчащих — не желая убедиться, что все они медленно и подавленно смотрят в землю.

Через минуту взгляд его снова потух и остановился; он подошел к окну, распахнул его.

Слышался медленный похоронный звон, грохали залпы салюта; народ еще густо толпился на площади и на улице, было много шуму; но так и не раздалось ни единого крика — «Вива Освободитель».

Кричали что попадется и кто что мог.

— Я ухожу; я у х о ж у,— внятно, но только для самого себя промолвил Боливар.

* *
*

Франсиско де Паула Сантандер сидел за столом и смотрел газеты. За окнами слышался шум потревоженного, уныло гудящего города. Звонили колокола, бухали артиллерийские залпы. Правда, все клики и шум толпы были как-то особенно приглушены и подавлены; что такое? Для Сантандера не было секретом, что город давно не любит Боливара и что «железный диктатор», несмотря на свою диктатуру, позволяет довольно свободные выражения неприязни к себе: позволяет ругань в газетах, крики в толпе. Сказывалась мантуанская спесь Боливара — презираю, мол, пусть орут, раз так чувствуют! — и особая его щепетильность, не допускавшая требовать неискренних изъявлений восторга. Однако нынче было не слышно воплей насмешки и раздражения; народ в общем и целом вел себя как-то тише, чем все последние пышные въезды Освободителя. Когда они проехали, шум толпы стал сильнее; а ехали — были видны отсюда мелькавшие между домами султаны и яркие мундиры гвардейцев,— ну, прямо похоронное шествие. Однако черт с ними. Ему уже до этого нет дела. Он, отстраненный правитель Новой Гранады, участник заговора против Освободителя, случайно

лишь не подвергшийся участи Пиара, Падильи, Арисменди, Кордовы и многих, многих, он лишь просматривает газеты и думает о том, как бы не донесли, что он еще не отбыл в Европу — в изгнание.

Он поглядел на страницы; рябили строчки: «Боливар дезертировал из Венесуэлы», «Боливар ни разу не был под пулями», «Боливар не выиграл ни одного сражения», «Объявив войну насмерть, Боливар подтвердил только свою кровожадность», «Освободить Колумбию от Освободителя!», «Боливар из зависти к славе Пиара убил его». Это были разные газеты за несколько дней; букет был полный. Он тихо задумался. Его большое, костистое, красивое и мужественное лицо со слегка нависшими скулами приняло суровое и спокойное выражение. Он поглаживал пальцем висок и смотрел в газету, не видя ни строк, ни слов.

Все это была откровенная клевета и гнусность. Газетчики, как обычно, перестарались, он не учил их этому. Если бы журналисты всегда писали лишь то, что надо, а не чуть больше, мир жил бы иначе. И заговор его против Боливара — тоже ложь. Он не устраивал заговора, он просто знал о нем и ему не препятствовал. И, морщась, даже кое в чем помог заговорщикам: давал деньги, называл даты. Он сам не знал, почему он морщился: ведь он уже отдал себе полный отчет во всем, он был уверен, что продолжение власти Боливара смерти подобно и для республики, и для самого Боливара. Он не хотел Боливару смерти, не знал всех планов этих бандитов и лишь не выразил никакого сомнения, что Боливара надо сместить. Однако вышло нелепо, глупо и стыдно. Что о нем думает сам Боливар? Нет, надо уезжать. После позовут — хорошо, не позовут — не надо. Он на деле не виноват — почти! — но он никому не позволит и думать, что он виноват. Нет, надо уехать. Если и пра-

бить, то начинать в таком положении нельзя. Тут требуется другое.

Он встал, походил.

Все ясно; необходимо как можно быстрее уехать, а после — конечно же, будущее за ним.

Зачем же он медлит?

Зачем же?

Боливар, Боливар.

Он тихо поймал себя на мысли, что он хотел бы объясниться с Боливаром и что просто ему любопытно, какой он ныне, Боливар, что происходит с этим человеком.

В нем что-то новое. Или старое? Нет до конца покоя душе, пока он не раскусил Боливара, не понял его загадки, которая, несомненно, есть. Он и раньше это подозревал, а теперь видит.

Он, спокойно и твердо готовящийся когда-нибудь править своей страной, не мог уехать, не объяснив, не поняв Боливара и, таким образом, не поняв до конца своей земли. Он был уверен теперь, что это связано.

Он — последний из крупных противников их Боливара, их Освободителя. Он — противник и сотоварищ одновременно. Он нанес ему сильный удар — ведь нанес же все же? нанес, нанес — в тот момент, когда издыхающий лев бывает особенно дик и свиреп.

Отчего же Освободитель пощадил Сантандера? Зачем пощадил того, кто был ныне главным, кошмарным его сновидением?

И эти газеты, их безнаказанные вопли.

Каков он, Боливар? Кто он?

Я не могу уехать, не поняв это.

Не могу?

Нет, могу.

 Не следует рисковать через меру.

Риск неизбежен, но никакой игры.

Никакой игры.

Приходит время его, Сантандера.

Надо уехать, а после — вернуться.

Не следует без нужды рисковать и дразнить Боливара. Пусть он с миром уйдет.

В эти годы стране никто не поможет, кроме него — Франсиско де Паула Сантандера.

Довольно рефлексии; надо еще проверить почту. Газеты следует прочитать по порядку и внимательно. Не следует забывать, что свобода печати, неловкая для властителей, имеет и свои преимущества; он должен освоить реальное положение здесь и в провинциях. К черту новости из Перу, Эквадора, Венесуэлы; нет, не до вас. Разбирайтесь там сами: Паэсы и прочие. Кстати, Паэс верховодит в Венесуэле; но черт с ним. Нет, не до вас. Меня занимает Новая Гранада, моя земля. Я назову ее просто Колумбией. Нет, пусть пока будет Новой Гранадой. А после уж назовут Колумбией. К черту ныне пышные имена, даже без слова «Великая»; нет, нам пока не до этого. Так, понятно. Врут они и при свободе печати; но все же за строчками ясно, что́ там на самом деле.

О боже, все же чрезмерно они шумят.

Эти отвратительные ставни, когда их делали?

* *
*

Сопровождаемый двумя спутниками, бездумно глядящий под ноги, желтый, все время покашливающий и жестоко сутулый, весь ссохшийся и ушедший в землю, брел по дороге, обросшей с обеих сторон кустами можжевельника и альпийской розы, Освободитель Симон Боливар.

Изгнанный конгрессами из Венесуэлы, Перу,

Эквадора, из Боготы, он имел возможность двинуть преданные ему армии — солдаты и многие генералы по-прежнему поклонялись ему — на эти мятежные города, презирающие и топчущие свободу; он мог оказать давление на конгресс Боготы, в котором па данный момент председательствовал верный и преданный Освободителю Сукре (именно он был одним из двоих, понуро шагавших по каменистой дороге вслед за своим кумиром, президентом и генералом); он мог дождаться, пока твердокаменный Урданета все подготовит с новым переворотом в новогранадском конгрессе и вновь предложит своему господу богу, Боливару, власть президента; он все это мог.

Но он ничего не сделал, и он уезжал из страны, из континентальной Америки, из своих владений; куда? и сам не знал.

Все не очень заботились о последнем обстоятельстве, ибо считали, что сохранение жизни и тихое бегство, изгнание — вовсе не худшая участь для такого цепкого ягуара, тигра, как «наш Боливар»; никто не сомневался, что за войну он скопил изрядное состояние.

На деле он не имел ничего, но никому не сказал об этом. Колумбийский конгресс, чтобы соблюсти приличия, назначил ему какую-то пенсию; на нее он и собирался жить (хотя конгресс не подозревал об этом, а Сукре с Мануэлитой — это она была третьей — были уверены, что пенсию не отдадут. Но даже они не знали, что у Боливара нет ни гроша).

Он начал войну молодым наследником богатейшего состояния мантуанской Венесуэлы; он двадцать лет возглавлял войну за свободу, и на двадцатый год он не имел ничего — кроме своей свободы.

Он шел, а Мануэлита и Сукре брели за ним, глядя в землю; вслед за Мануэлитой невозмутимо шагала

маленькая пятнистая пума, обнюхивая колючки и камешки. Та выросла и ушла; эта новая. Сзади тащился возок, лошади Сукре и Мануэлы, привязанные к оглобле.

— Вам надо идти,— сказал, останавливаясь и обращаясь к ним, печальный Боливар.

Они образовали тесный и молчаливый кружок; все смотрели в землю.

— Симон, может, не нужно?

— Нет, нет,— быстро возразил он, и прежняя решительность, властность появилась в нем.— Нет, нет. Мы все обсудили. Ты после приедешь, иначе я останусь и дам себя заколоть этим, местным.

— Ну хорошо. Как хочешь,— испуганным и упавшим голосом сказала Мануэлита; и в скорбной и быстрой ее манере сквозило одно: как хочешь, лишь бы не рвалась незримая нить.

— Да и не хватит денег,— пробормотал он в сторону; они не расслышали, Мануэлита заторопилась:

— Что? Что?

— Ничего,— отвечал Боливар.— Не в этом дело, не в этом главное дело.

Они стояли; пора было прощаться. Сукре тоже сутулился, глядя в землю. Он чуть поглядывал в сторону, кривил рот, все молчал.

— Мне кажется, все мы видим друг друга в последний раз. Так, втроем,— задумчиво и спокойно проговорил Боливар. Никто не ответил. Они стояли; подъехал возок, возница на козлах молчал, похрапывали три лошади.

— Еще бы последнее усилие,— вдруг сказал Боливар, глядя куда-то в дымную даль кустов и окрестных скал.— Да, еще последнее и одно усилие. Я его сделаю,— вдруг закончил он пасмурно и решительно, и Мануэлита и Сукре одновременно слегка поежи-

лись, поглядев на него: было в его лице, в его взоре что-то особо-тоскливое и зовущее, и молчаливо-безумное.

— Я вновь отправляюсь вдаль. Вновь я один и свободен,— тем же потусторонним, задумчивым и загадочным голосом бормотал Боливар.

Они снова стояли, смотрели по сторонам, и никто не в силах был преступить черту. Чуть сопели кони.

Звереныш пумы вдруг начал хмуро и неуклюже тереться о ноги Мануэлиты.

Она подняла его на руки и, задумчиво гладя, незначаще и светло запела:

— Ах ты мой родненький. Ты мой миленький. Молочка захотел? Соскучился? Глазки сонные. Ах ты козявка...

— Молчи! Перестань! — вдруг пронзительно, резко, скрипуче и больно вскрикнул Боливар; лицо его исказилось, мускул у искривившегося большого рта вибрировал, дергался и пульсировал.— Замолчи!!! — крикнул он снова — и вновь потух; опустился и весь обмяк в своем хилом теле.

Он исподлобья взглянул на подавленно замолчавшую Мануэлу с угрюмым зверем в позе младенца на смуглых руках, посмотрел на Сукре, вновь на нее, подошел и поцеловал их обоих — бесчувственно-горестных и почти не двинувшихся; Сукре был бледен и смотрел гораздо отчаяннее, чем можно было ожидать, что-то особенное было в его лице.

— Идите домой,— обыденным тоном сказал Боливар.— А у меня, как обычно,— нет и не будет дома. Я рожден был для мира,— криво усмехнулся он, влезая в коляску, усаживаясь и уже как-то отрешенно взирая вдаль.

Из всех троих он в это мгновение один сохранял необходимое мужество. Все же он был — Боливар.

Коляска тронулась, он высунулся, оглянулся и слабо помахал рукой; две одинокие, отрешенные от мира и друг от друга, неподвижные и как бы приопущенные в землю фигуры — одна в мундире, другая в платье, руки держат зверька — удалялись и таяли вдалеке, на дороге, среди ветвистых кустов; сзади них понурились верховые лошади.

* *
*

Он шел по белой улице Картахены, безмысленно глядя по сторонам — пальмы с утолщениями вверху ствола, крыши, резные балконы, площадь и море вдали,— механически вспоминая свои триумфы и беды на этих улицах, по простой и обычной ассоциации воспроизводя перед глазами и темно-зеленые берега Магдалены с ее лесами, с ее скалистыми понго, порогами и зеленой водой, с ее попугаями у лиан и кайманами; с ее Теперифе, вновь промелькнувшим на том берегу. Он ныне плыл в Картахену по той, по той Магдалене, на сочных, зеленых и молодых берегах которой он начал тогда кампанию, впоследствии названную «славной». «Славной кампанией». Странно, что он забыл. Он был молод, у него было двести смельчаков против огромной армии. Да... Антонио. О, Антонио.

Он вновь механически перемалывал в памяти это письмо об убийстве, о смерти Сукре. Его убили из-за угла. Убили на службе, на его боевом посту. Останься о н в Боготе, его бы тоже зарезали, застрелили. И надо было остаться. Он неприлично долго живет. Воистину сказано: от великого до смешного — один шаг. Не следует быть смешным, надо вовремя, вовремя умирать. Надо прислушиваться к судьбе. Сукре, Антонио его, дитя его, Сукре — он сын судьбы. А он? Какой это вздор, вздор. Родриго, денщик,

устроился на тихое место — сторожем при монастыре кармелиток. Перу и О'Лири хотят домой, что-то пишут в тетради. Паэс стал диктатором и помещиком, Сублетте, Ансоатеги канули в неизвестность, Урданета остался в Боготе. Надо идти домой. Домой — ко всем тем, кто его приютил. Впрочем, погуляю.

Неожиданно стало светлеть в мозгу; он вдруг твердо увидел себя в Картахене, среди боковой, тихой улицы невдалеке от моря. Камень, камень и камень, серый и беловатый; силуэт замка де Сан-Фелипе невдалеке. Что было? Что сталось... а, крики. Какие-то крики вывели его из полузабвения.

Он пошел на крики; люди в сомбреро, в пончо, в рубахах, в этих своих одеялах; спины. Он подошел и, проталкиваясь, попал в первый ряд.

Здесь, под пальмой, в сторонке от пешеходного тротуара, лежал на боку, протянув неподвижные ноги, соловый вихрастый конь; он только что сдох, блестящая желтая шерсть и мохнатая белесая грива еще не успели потускнеть, но по спокойно остекленевшему темному глазу уже ползли две мухи. Он еще не оскалился, не был неприятен и страшен; казалось, задумчиво, добродушно и крепко он смотрит в какую-то корку иль лист внизу пальмы, и думает странную думу. Что-то знакомое было в его вихрастой холке и желтых, серо-песочных, немного впавших боках. Боливар бездумно смотрел, народ гомонил:

— Чего он?

— А кто его знает.

— Какой-то мор.

— Может, накормили не тем? Хозяин где?

— Да вон.

— Да, этот мог и не тем.

— Он откуда?

 — С Апуре.

— Издалека.

— Да, здешняя пища — ее надо осторожно. Степные кони — они выносливые, но нашей гнили и сырости и плодов из сельвы не любят.

— У них там не суше.

— Да, так, а все же другое.

— Да что он? Окостенел, что ли? Ну, сдохла лошадь — не сын.

— Эй! Проснись! Есть хотя бы одно песо? Стерву надо убрать, иначе полиция...

— Да! А где полиция?

— Надо позвать. Этот Лопес — он вечно дрыхнет!

— Да ты проснись, приятель!

Боливар испытывал смутное беспокойство; он наконец — как бы сообразив — посмотрел в ту сторону, в которую обращались все говорившие о хозяине... и увидел Фернандо.

Фернандо сидел под соседней пальмой, в тени, прислонившись спиной к стволу и вытянув разведенные в стороны ноги, и прямо смотрел на Боливара круглыми черными зрачками в больших и белых белках. Их полубезумные взоры встретились и слепяще слились.

— Фернандо,— пробормотал наконец Боливар.— Смерть... смерть, смерть.

Он потупился и, стыдливо покашливая и горбясь, начал выбираться из этой толпы.

— Фернандо,— шептал он под нос.— Я понимаю, Фернандо. Ну что же, убей меня. Отомсти мне, Фернандо.— Он шел, придерживаясь за грудь, заползая пальцами за белевшее полотно рубашки, и тихо шептал себе под нос.

— Боливар! Мой господин! — услышал он за спиной. Он остановился и тупо думал о том, что, когда он повернется, Фернандо вонзит в него свой мачете; он

честный льянеро и не ударит в спину. Ну что же. Что надо вспомнить?

Он повернулся; Фернандо стоял, болезненно щурясь, бледный, заросший, с краснеющими глазами, переминался по гладкому тротуару и говорил:

— Вы не думайте, господин Боливар. Я ведь понимаю. Вот, умер мой Соловый. Но вы знаете, вы ведь мне — свет в душе. Свет в душе, да. Вы мне вроде нашего господа бога, спасителя нашего, прости меня грешного.— Он быстро перекрестился, видя по лицу Боливара, что тот может уйти, и спеша сказать.— Вы мне свет. Я теперь другой. Я знаю, у вас несчастье. Но что же, вы вроде святого. Пусть, пусть они побеждают — звери, сволочи. А я понял. Вот еду на Гаити. Хотел увезти Солового — семью-то мою всю порезали,— да вот, сдох он. Поеду уж я один. Чего это он? Наверно, не вынесло его сердце, что на чужбину. Он ведь льянеро, мой Соловый. Хороший конь, да вот, умер. А я — еду. Один тут не могу. Только болен — доеду ли? Я ведь другой. Я грамоте стал учиться. Вы мне — свет в душе. Бовес был смелый человек, но шакал, а вы... вы ведь... я вот еду, еду я, да. А куда? Не знаю.

Все смутное, горькое и больное, что было в душе Боливара это время, вдруг прорвалось наружу; он ничего не мог поделать с собой. Он был готов ко всему, душа была насторожена и все заранее принимала, и только ежилась и молчаливо болела; но он не ожидал, не ожидал он встречи с Фернандо.

Больные слезы живым потоком хлынули из потухших глаз Симона Боливара; он, как мальчишка, громко зарыдал, повернулся и быстро пошел от Фернандо. Тот не догнал его; и Боливар так и не видел его лица после этих своих постыдных и грубых слез.

 Добродушные картахенцы с недоумением вгляды-

вались в его лицо; когда он заметил это, он завернул в парк, обшлагом рубашки вытерся и присел на скамейку.

Новое потрясение освежило его, привело в бодрое сознание, трезвость и некую крепость; он посидел на скамейке, глядя перед собой, горько подумал о том, что даже Фернандо — еще один верный человек — не получил от его, Боливара, души ничего, кроме беспокойства, несчастия, одиночества и изгнания,— встал и пошел «домой».

Еще не кончен бал.

Его надо кончить — достойно.

Рассказывает Мануэлита

Где он теперь? Что с ним? Вот что волнует меня — одно.

Как я могла его отпустить? Такое ожесточение было в его стремлении к одиночеству, так ясно я видела, что он ныне хочет остаться один — сильный, пламенный человек,— что я в каком-то ослеплении отпустила его, несмотря на его болезнь и страдания.

И теперь, сидя в тишине, я не могу излечиться от этой муки — думать, видеть и представлять все эти последние ужасные дни, когда они затравили его, как одинокого волка.

Я призывала его к сопротивлению и мужеству. Я — сильный человек, полюбивший сильного,— не могла смотреть, как он добровольно сдается этим гиенам, шакалам и грязным псам, как они травят его, загоняют в яму. В последнее время я поняла,— впрочем, я инстинктивно чувствовала это и в самом начале,— что он, Боливар, ищет во мне не столько помощницы и сподвижницы в этих своих военных и пре-

зидентских делах, сколько покоя, мира и отдыха. Раньше я хотя и чувствовала, но не понимала этого. Я отравила Боливару много минут его жизни. Я не понимала, что он узнал, что он нашел меня не потому и не для того, чтобы иметь еще одного помощника — для этого у него была куча адъютантов, генералов, секретарей, но и они ему были в сущности не нужны, так он одинок был в своем горении, пламени, в своем гордом духе, в своем небрежении тем, что есть главное для всего и для всякого человека,— да, не для того и не потому он нашел меня, а нашел потому, что устал и жаждал в душе покоя, видя гибель, бессмысленность своего дела, дальнейшей борьбы. Да, не пришло еще время для таких душ, для такой борьбы. Поэтому, появившись на свет, они приносят одни несчастия. Он ничего не делал для себя, но он никого не сделал счастливым. Он не рожден был для этого мира. В конце он все это понял. Я ничего не могла ему доказать, не могла вселить в него «мужества»; мужества у него было достаточно, но он понял. Собственно, понял он то, что сидело в нем от рождения,— иначе бы это был другой человек. И все же он был — Боливар, Боливар, он уже не мог быть другим, иным человеком — не мог он быть не Боливаром. В этом была вся трагедия в то последнее, в то ужасное время.

Я тормошила его, не давала ему покоя. Я говорила:

— Ты видишь? иди. Или ты погиб.

Но он отпустил Сантандера, он позволил этим клопам из парламента гнусно глумиться над ним, он потворствовал этим газетам, бесстыдно, бессовестно клеветавшим, позорившим его подвиги, его трудную, фантастическую, его небывалую жизнь.

Я помню ту страшную ночь, когда он, не выдержав тьмы и призраков прошлого, ада и смерти,— позвал

меня: ему было плохо. Болезнь не давала покоя; и, кроме того, он что-то предчувствовал. Я мгновенно навела порядок, устроила ванну, дала лекарство и заставила его спать. Уснула и я сама, но вдруг проснулась, как будто и не спала. В доме было полутемно, раздавались обычные шорохи ночи; вдруг — выстрел. Я все поняла пронзительно и мгновенно, схватила его одежду; он уже сидел на постели и спрашивал вялым голосом:

— Что такое?

— Тебя хотят убить. Оденься. Не думаешь же ты драться за жизнь в ночной рубашке?

Я удивилась своему голосу: будто кто-то другой говорил за меня со стороны — спокойно, с усмешкой и веско.

Он молча оделся, взял пистолет и шпагу и прыгнул в окно навстречу шуму и выстрелам. Я не знала, что с ним, и сидела на смятой постели. В прихожей ударили выстрел, второй и вбежали какие-то офицеры с оружием; они заорали:

— Где Боливар?

Холодно и с усмешкой я отвечала, что его вовсе не было нынче ночью; они загремели дальше. Много часов я не знала, что с ним. Наконец он явился, пристыженный, мокрый, униженный; их со слугой — тот присоединился к нему — атаковала большая ватага мятежников, они отбивались, а после должны были скрыться — бежать и сидеть под мостом. Боливар, Освободитель, сидел под мостом, в траве у воды, спасаясь от рук своих преданных подчиненных, своих людей! Одна я знала, какой это удар, какая рана ему: хуже, чем шпага, хуже, чем эта его болезнь, чахотка. Его адъютант, Вильям Фергусон, был убит в прихожей. Но верные Симону солдаты все-таки взяли верх, и мятеж был разгромлен.

Пятнадцать главарей пошли под военный суд, которым руководил Урданета. Он требовал казни. Боливар, который в иные времена не задумался бы об этой мере, теперь колебался и втихомолку, вроде бы виновато упрашивал непреклонного Урданету помиловать эту шайку. Однако же Урданета их расстрелял, всех, кроме Сантандера, за которого Боливар — на свою голову, я уверена! — просил военный суд персонально. Уж я бы этого Сантандера...

И дальше — так же. Все так же. Я понимала его — но понимала и то, что он губит себя. Он губит себя, губит!

Он губит себя не как президента, не как вождя, героя — на это мне теперь наплевать; он губит себя без всяких иносказаний, он в грош не ставит свою — дорогую мне — жизнь, он в грош не ставит свое больное и уже старое тело. Старое в 46 лет. Себя, свою жизнь, свое тело...

Как я отпустила его?

Где он теперь, о боже?

Куда мне деваться?

Где отыскать его, что мне делать?

Где он...

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Сан-Педро Алехандрино

Боливар умирал достойно, невозмутимо и со знанием дела. Казалось, он вновь обрел душевное равновесие, ибо нашел наконец себе дело по силам и по душе, нашел свое назначение в этой жизни. Оно состояло в том, чтобы умереть достойно, невозмутимо и величаво.

Он тихо лежал в гамаке и таял почти на глазах. Было слишком очевидно, что он умирает,— очевидно и всем, и ему самому; болезнь его, вышедшая из недр его тела, души,— эта чахотка — была такая, что часто больные ею не знали о своей близкой смерти; Боливар знал. Ему давно уже все было ясно, он представлял примерно тот день, когда он покинет мир; что он думал при этом? Что думал, когда молчал, чуть дремал или улыбался покойно, сложив свои прозрачные руки на одеяле? Что думал, слушая дифирамбы и утешения этих солдат, офицеров — изгнанников из Венесуэлы, сновавших в окрестностях Картахены и поспешивших к его последнему ложу?

Он ни о чем не думал. Он думал о многом, делал и говорил он многое, и все же он ни о чем не думал.

Как тут сказать?

То, что было в душе его, не выразить словом «думал».

Он иногда вставал, выходил на свет — к небу, к зелени; кончалось время дождей, близился ясный декабрь — он знал, что где-то посередине этого декабря все будет кончено,— и селение стояло тихое и простое. Он долго смотрел на небо — любимое, давнее это его занятие,— вспоминал старый дом, и камин, и щипцы, и тенистые уголки, память о которых хранилась во всем этом свете только в его душе и исчезнет, сотрется навеки с нею,— ибо загадочный океан мирового духа, к которому присоединится эфирная часть его существа, не нуждается в памяти о тенистых углах их старого патио, и конюшни, и сада, и пестрых аллей, в памяти о тускнеющем золоте корешков Руссо и Вольтера, о черном и милом, тревожащем сердце нагаре каминных щипцов, о брате, о стенах. И вспоминал он свои мечты о всемирной свободе, и видел Шатобриана с его «Ха-ха» — беспокойным для юного сердца; Шатобриана, который следил за его отчаянной, безнадежной борьбой в Америке,— и был миг, когда даже этот старый аскет, ненавистник земной, материальной земли, не верящий в их, американцев, победу, заговорил: «Если Новый Свет сделается весь республиканским, погибнут монархии и старого континента». Давно это было... давно это позади. И снова он вспоминал, вспоминал старый дом, ныне не существующий в мире — живущий лишь в сердце его и в памяти, которые скоро и сами исчезнут, сотрутся с этой громадной классной доски — земной жизни,— и вспоминал Марию, ее доброту, скорбь и кротость, и милый образ ее, который мешался ныне с иным — более милым, живым и больным для сердца; и помнил ее глаза, обращенные внутрь души и внутрь мира, и слышал голос: «Зачем же... зачем?»

И снова, снова и снова он видел тот детский дом — без людей, без хождений, без голосов, просто дом и его загадочные углы, которые исчезнут с ним вместе, и приходила вдруг мысль: «Да не сон ли? Да не приснились ли мне и жизнь, и походы, и кровь, и Фернандо, и Сукре, и милая, верная Мануэла? Да не приснилось ли? Может, я просто заснул в своем грустном и теплом, туманном детстве, и снится сон — драки, кровь, войны?»

Он тихо спроваживал эти мысли — и все ходил, все ходил по зеленому, белому, голубому саду.

Как-то он встал, остановился около куста палевых и розовых роз — они тихо и нежно цвели меж своими нарядными, жесткими, с этими рубцами, листиками, колючками,— он остановился около одного нежно-бело-розового, влажно распустившегося цветка, и начал смотреть на розу. Он думал, нет, не думал, а всем существом своим чувствовал — раньше ведь было некогда,— как безусловно, невозмутимо и важно он совершенен, этот цветок, как ясны и полны детской пыльцы и утренней нежной краски его лепестки, как безукоризнен аромат, гармонична, тонка вся его многоступенчатая, совершенная чашечка с гнутыми и угольными линиями сочленений. Как несомненна и независима его жизнь, его истина. Он взглянул на небо. Оно было чисто-голубое, густое, глубокое, в редких белеющих и слегка синеющих облаках,— и оно вновь и вновь, особо и значаще, чутко поразило его, как и этот цветок, несомненностью, силой и красотой своего достоинства и спокойствия, независимых от его души, а лишь явленных, данных ей от мира.

Он отошел, растроганно посмотрел куда-то в пространство; в душе была некая горечь — как будто душа его была почему-то не вправе соединиться с

этим цветком и небом, и недостойна их; и снова с огромной силой он вдруг почувствовал, что небо и эта роза — сами по себе, спокойны и тихи в своей первозданной и свежей силе; они — сами по себе, и они — вечно и неизменно, всегда и всюду. А он?

Он отошел от цветов и вернулся в «опочивальню», в гамак; доктор Реверенд, его опекун, колдовал над своими склянками; и Леандро, сын старика Миранды, не помнящий зла и восторженно чтящий Освободителя, тотчас же ожидающе приподнялся с кресла.

— Нет, ничего,— задумчиво, как бы в полусне чуть проговорил Боливар.— Я лягу. И — знаете? — я — Боливар. И я жив, жив.

В те дни он составил свой манифест, посвященный делам своей жизни. Он диктовал его, думая о словах и, однако же, понимая, что тайный смысл, стоящий за ними, останется лишь в его душе.

«Колумбийцы!

Вы свидетели моих усилий обеспечить свободу там, где господствовал деспотизм. Я трудился самоотверженно, не щадя своего имущества и спокойствия. Я оставил власть, когда убедился, что вы сомневаетесь в моем бескорыстии. Мои враги использовали вашу доверчивость и растоптали все самое святое для меня: мое доброе имя, любовь к свободе. Я — жертва моих преследователей, они загнали меня на край могилы. Но я их прощаю. В час расставания любовь к вам обязывает меня высказать последнее пожелание. У меня нет другой славы, кроме укрепления Колумбии. Все должны трудиться на благо единства: народы, подчиняясь нынешнему правительству, дабы избежать анархии; священники, вознося молитвы к небу; военные, используя свою шпагу в защиту социальных завоеваний. Колумбийцы! В предсмертный час я думаю о благе родины. Если моя смерть будет

способствовать прекращению раздоров и укреплению единства, я без ропота сойду в могилу.

Усадьба Сан-Педро в Санта-Марта...

Симон Боливар».

— Это мое последнее усилие,— улыбаясь, невозмутимо проговорил Боливар; он был похож на Боливара первых дней, только не лицом, не весельем, а решительным, знающим видом.

Его хотели примирить с богом; в последние месяцы священники часто бывали его гостями, и ныне они уверены были в победе. Но он отказался от этой, церковной исповеди, хотя и не отрицал звучавших речей о боге; казалось, он что-то знал, знал больше, чем можно было представить.

Он улыбался и отдавал распоряжения; он говорил о шпаге любимого Сукре, о золотой медали Боливии — Города Солнца. Он трогал ладонью любимую книжку — «Общественный договор» Жан-Жака Руссо, женевца.

Однажды запыхавшийся его эскулап, Реверенд, француз, вбежал с газетой в руках и сказал, что во Франции — революция, что прекрасная и свободная его родина вновь идет на тиранов; он говорил и смотрел, и читал строки песни, которую пели повстанцы, идущие на штурм неверной Парижской ратуши:

Святой огонь республик
Озаряет Боливара,
И скалы двух Америк
Охраняют народы.

Боливар молчал, глядел в потолок, светлел, улыбался и то ли сказал, то ли всем послышалось — так это было тихо, невнятно:

— Поверьте, исчезнет все обо мне... и останется лишь одно: он шел на борьбу за свободу. Свободным

рожден этот мир, этот человек. Розы и небо, они прекрасны, они полны всегдашней свободы. Человек должен п р о й т и, чтобы понять это. Я прошел. Леандро, не плачь; ты сын Франсиско Миранды.

В тускнеющем зареве его разума слышались клики и трубы, он шел... как странно: всю жизнь он провел на коне; но тут ему мерещились сапоги, ботфорты, тысячи, сотни, тысячи, миллионы тяжелых сапог, тяжелых и грузных шагов.

Они тяжки, они идут, идут, идут и идут; и тяжко гремят по камням, по этой земле.

Эпилог

Высокий и совершенно седой старик с суковатой палкой приблизился к дому, долго глядел в какую-то бумажку, потом на крышу, стены, окно, видимо сличая приметы; потом постучал напористо.

Они долго смотрели в глаза друг другу, и после Мануэлита — весьма поседевшая и с потухшим спокойным взглядом — сказала:

— Входите.

— Давно ли в Паите? — невозмутимо спросила она собеседника, усадив за стол и усевшись напротив, покойно и трудовито сложив на голых досках сцепленные руки, как некогда делал Боливар.

— Нет, я проездом. Все время разъезжаю, продаю свой товар,— отвечал престарелый Симон Родригес, учитель Симона Боливара, воспитатель его природных тираноборческих чувств и свирепейший проповедник Руссо.

— Чем же вы торгуете нынче? — со сдержанной улыбкой спросила Мануэлита, как бы приглашая мысленно добавить, что прежде он торговал товаром мыслей, стремлений и вдохновений.

— Увы! Я делаю свечи. Вот, разъезжаю и продаю. И еще иногда — уроки.

— В вашем-то возрасте? Вам ведь за восемьдесят, наверно?

— Да, именно так.

Они разглядывали друг друга; они не жаловались — эти дети испанской крови, сдержанные креолы с железом в душе. Слова их звучали как некий обмен известиями, как нечто «само собой». Родригес глядел и глядел на Мануэлиту; да, она постарела, погасла, ее иссиня-черные с белым волосы были собраны в тугой узел и гладко обозначали некогда бесшабашную и косматую голову. Сам же Родригес был весь согбен, морщинист и бел как снег.

— А ты как живешь? А, Мануэлита?

Она, не разжимая ладоней, слегка повела плечом под накинутой шалью — мол, все тут ясно, зачем вопросы; потом изобразила на лице деловитость и некоторую заученность и — жестом остановив разъяснения вопроса и дав понять, что она знает, что речь идет не об этих, сегодняшних днях, а обо всем *этом* времени,— скупо сказала:

— Тогда меня выгнали, я уехала на Ямайку. Потом вернулась в свой Эквадор, но оттуда меня прогнал враг Боливара Флорес. Явилась в Перу, на родину моего первого мужа. Живу вот в Паите, продаю варенье — сама его делаю. Тоже, видите, стала торговать.

— А что же твой муж? Он жив?

— Нет, умер не так давно. Он присылал деньги, звал. Завещал мне большое наследство.

Родригес, прищурившись, посмотрел на нее, помолчал и хотел ничего не спрашивать, но не удержался:

 — Куда же ты все деваешь?

— Я от всего отказалась.

Они помолчали.

— А вы ничего не пишете?

— Как же. Все эти годы я сочиняю трактаты и складываю в сундук.

Они опять помолчали.

— Но вы предлагали издателям?

— Предлагал. Но сейчас — не восемнадцатый век.

— Ничего; это ничего. Я не люблю, когда душу вытаскивают на свет. Я не расстаюсь с письмами Симона и все их сожгу на смертном моем одре. Зачем? Кому это надо, кроме меня? Этим клопам, собакам? И я умру — могилы моей не найдут. Кому надо, кроме Симона; его же здесь нет. Так и вы: возьмите свое заветное с собою в могилу.

— Так поступил и Боливар. Он унес свою душу, загадочную, как кратер Каямбе.

Мануэлита вся подтянулась; она ожидала слов о любимом имени и наконец дождалась, но старалась не выдать своего напряжения.

— Да. Так поступил и Боливар. Но он забыл — меня.

— Это так. Ты права, Мануэла. Вам следовало умереть вместе, но все — в веленьях природы. Она судила иначе, и ты не можешь бороться с нею.

— Природа?

— А как же иначе?

— Не знаю, какое-то неудачное слово.

— Что делать, Мануэлита. Я сын восемнадцатого столетия. И Боливара вырастил — так же.

— Боливара?

— Да, конечно.

— Вы думаете, он сын восемнадцатого столетия? Да, к новому веку ему уж было семнадцать лет. Но что это значит?

— А это значит, Мануэлита,— торжественно подняв палец, торжественным голосом заговорил согбенный и жалкий старик,— а это значит — Вольтер, Руссо, революция, разум! Природа, и разум, и вера в естественные законы.

— Природа, разум,— как бы оценивая, задумчиво пробормотала Мануэлита.— Природа! — повторила она, и глаза ее за все время впервые сверкнули молодо; было заметно, что она вся жива лишь памятью — только ею,— и что-то сияюще белое, древнее, голубое явилось в ее по-прежнему золотистых глазах.— Природа! — сказала она опять.— Да, он любил ее. Он любил небо, вулканы в снегу. Но вы все это говорите как-то иначе,— добавила она, потускнев.— У вас слово «природа» какое-то скучное. Ну, а разум... Боливар — разум — и это все?

— Нет, не все. Но как бы это сказать...

— Вот то-то. Вам не сказать,— возразила Мануэлита несколько резко.— Симон — восемнадцатое столетие,— пробормотала она уже про себя, с презрением.— Вы скажите! Паэс! Сантандер! Кордова!

Родригес вздрогнул; но в комнате появились всего лишь лохматые и смешные собаки. Мануэлита нагнулась и бросила им по кусочку тасахо, которое перед этим она начала разрезать на деревянной подставке.— А где же Паэс? А, это ты, Ла-Мар.

Сначала две, потом три, потом и четыре собачки ловили куски, грызлись между собой; аппетитно хрустели жилками.

— К Сантандеру вы все же несправедливы,— раздельно сказал Родригес, задумчиво наблюдая, как прыгают, суетятся дворняжки.

— Быть может,— холодно сказала Мануэлита; она прищурилась, блеснула глазами.— Но я жен-
 щина. Женщина и креольская кровь; у меня своя па-

мять и счеты — свои. Пусть он там навел благоденствие и распространил ваше просвещение — этот восемнадцатый век; все это не мое дело. Эти собаки, они ничего. У меня была пума, потом вторая, да пришлось отпустить, стала велика. Пошла на свободу.

Она прекрасно произносила это слово — «свобода».

Они помолчали.

— Да, ты осталась... я тебя поздравляю, Мануэлита. Ты достойна его,— сказал Родригес.

Она молчала, доставая стаканы.

— Да, мой Симон,— затянул Родригес угрюмо.— Если бы он не сплоховал в конце...

— Что? Что? — вдруг выпрямилась неукротимая Мануэла.

— Я говорю... если бы он им не поддался в конце,— с неожиданной робостью молвил старик, с опаской поглядывая на полуседую женщину. Но она уже обрела свою силу, невозмутимость.

— Вы ничего не поняли в нем, в Освободителе, хотя и его учитель,— спокойно сказала Мануэлита, наливая вино и изящным еще движением придвигая кувшин с водой.— Восемнадцатое столетие! Разум! Природа! Ну да, и восемнадцатое, и природа, и разум. И вы — учитель. И этот Руссо. И все-таки вы ничего не поняли. Он жил в другое время, в другой стране, и он был — Б о л и в а р.

— Конечно, Мануэлита,— кивал, исподлобья глядя, старик.— Если бы, как Устарис...

— Устарис! Устарис ваш умер, не выходя из своего дома. Герой! Вот это — ваше столетие, ваше Просвещение. Боливар же был другой. И, если хотите, его величие было — в его конце. Во всем, что было в конце. Но вам это не понять, я вижу. Я и сама — глупа, но я ведь знаю его и чувствую. Он живет для меня, как жил, я узнаю его все сильнее, все лучше.

Глаза ее и тепло, и надрывно глядели куда-то мимо окна.

Старик неожиданно посерьезнел, заважничал и облокотился на стол, подпирая седую голову.

— Вся его жизнь, все это, и этот конец, и жизнь... ты это хочешь сказать? — спросил он, глядя тяжелым и проницательным взором.

— Да, это,— ответила пожилая женщина, хотя, казалось, сам дьявол не понял бы, что там пробормотал суровый старик.

— Он ничего для себя не делал,— сказал Родригес.

— Да. Он ничего для себя не делал... не сделал,— глухо, как эхо, сказала Мануэлита.

И старый вольтерьянец угрюмо и тяжело задумался.

Оба смотрели в прошлое, видели между собой, за столом, знакомого человека — каждый по-своему.

И ничего не хотели сказать.

Оглавление

Гусев Владимир Иванович.

Г96 ГОРИЗОНТЫ СВОБОДЫ. Повесть о Симоне Боливаре. М., Политиздат, 1972.

383 с. с илл. (Пламенные революционеры).

Р2+9(М)31

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *Н. Б. Чунакова*

Художник *Б. А. Малахов*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

Сдано в набор 22 ноября 1971 г. Подписано в печать 4 февраля 1972 г. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 17,41. Учетно-изд. л. 15,61. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А00027. Заказ № 967. Цена 74 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

